С. Н. Терпигорев
(С. Атава)

ОСКУДЕНИЕ

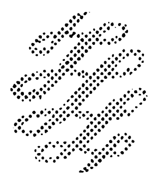
ОСКУДЕНИЕ

2

С. Н. Терпигорев
(С. Атава)

ОСКУДЕНИЕ

В ДВУХ ТОМАХ



ТОМ
II

*Государственное
Издательство
Художественной
Литературы
Москва
1958*

Подготовка текста и примечания
Н. И. Соколова

Иллюстрации художника
Н. В. Кузьмина

Оформление художника
Ю. П. Меверницкого

„БЛАГОРОДНЫЕ“

Часть вторая

МАТЕРИ

I

БАБУШКА

1

Хотя дедушка-покойник, будучи избран на второе трехлетие предводителем, и рассказывал у себя на обеде, данном по этому случаю, владыке, тут присутствовавшему, что род его происходит от какого-то принца, но это неправда. Во-первых, и самая фамилия его — Лейбкомпанцев — и потом, герб с изображением лосиных штанов, рассыпанной пудры и сального огарка — принадлежностей прадедушкина туалета — равно как и девиз: «Наша взяла!» — ясно показывают, в чем дело.

Дедушка был «под Данцигом». До Парижа он не дошел. Никаких вредных идей из-за границы с собой не принес. Все воспоминания о походе для него сводились к тому, как однажды он был на ординарцах у немецкого фельдмаршала князя Шварценберга, и приехавший к нему, то есть не к дедушке, а к Шварценбергу, австрийский император Франц, подойдя к нему, то есть теперь уж к дедушке, потрепал его по плечу и затем, обратившись к Шварценбергу, вынул из кармана табакерку и вместе с князем стал нюхать табак. О чем они говорили, дедушка, за незнанием немецкого языка, не мог разобрать. Другой рассказ о «кампании» был несколько более игривого свойства. Сюжетом была какая-то немка Августа, которую дедушка-покойник пленил своим молодцеватым видом и с которой, в качестве квартермистра своего полка, очень коротко познакомился, к крайнему неудовольствию ее

мужа — булочника. Рассказ этот всегда необыкновенно оживлял его, он входил в самые масляные подробности, но тут почти всякий раз «на самом интересном месте» неожиданное появление бабушки портило все дело.

Нрава покойник был самого крутого. Он сек без милосердия не только крепостных Филек, Степок, Дашек и Машек, но с таким же успехом производил эти операции и над дьячками и над проезжими, не снявшими шапки мещанами, конечно и не подозревая, что это всё дедушки теперешних «Сладкопевцевых» и «Подугольниковых». Винить его, впрочем, за это не за что, ибо, в самом деле, мог ли он вообразить даже, что приплод этих последних пожрет со временем его потомков, подобно тому как поступили в таком же случае семь тощих египетских коров с семью толстыми. Он не виноват. Никаких сновидений на эту тему он не видал, да если бы и видел, можно ли с уверенностью сказать, что непременно нашелся бы Иосиф, который ему, да и всем «нам», предсказал наше будущее. Можно идти даже дальше. Можно положительно утверждать, что если бы тогда такой Иосиф и нашелся, ему все равно никто бы не поверил...

Развлечения и игры у него были всё самые грубые: псовая охота, травля пойманных волков, травля мимоидущих. Раз он травил собаками даже дьякона, который в испуге убежал и скрылся в конопляник, но там был осажден (конопляник был большой — десятин пять) два дня и две ночи дворней под личным предводительством покойника, и когда, наконец, изнуренный голодом, жаждой и бессонницей, вышел оттуда и пал на колени, прося пощады, покойник наградил его, подарив рыжую кривую кобылу, носившую название попадьи.

— На ней ты всегда и езди ко мне, — сказал покойник, отпуская дьякона, причем остался доволен как охотой, так и каламбуром...

В рассуждении женского пола был неразборчив и подобен бессмысленной скотине, не понимающей, что такое стыд. Бабушка-покойница ловила его везде: и в кабинете, и на чердаке, и в саду. Раз застала его даже в своей собственной спальне. Само собой разумеется, что пойманных баб и горничных, соучастниц шалостей покойника, нещадно секли, стригли и вообще подвергали разным исправительным и карательным мерам, но это все на него ни-

сколько не действовало и его не исправляло. Наконец, один раз, когда покойница уезжала на богомолье в Воронеж, он совершенно неожиданно для нее сошелся, в ее отсутствие, с овдовевшей недавно соседкой, полковницей Предковой. Возвратившись с богомолья, покойница очень скоро, конечно, все «эти шашни» его узнала, но какие меры ни принимала, чтобы положить конец «этой срамоте» и «позору», все равно ничего не добилась. А впоследствии дело дошло до того, что эта полковница переехала на постоянное житье к ним в дом под тем предлогом, что дедушка согласился быть ее опекуном. Удар для покойницы бабушки был страшный, но она тем не менее перенесла его довольно благополучно, сосредоточивши, однако, все свое внимание и внимание своих бесчисленных ключниц, экономок и горничных на том, что делается в «апартаментах» этой «бесстыжей».

— Матушка барыня, «они» изволили «туда» пройти, — докладывает неслышно, на цыпочках, сняв башмаки, появляющаяся откуда-то сбоку горничная.

— Прошел? Сейчас?

— Сейчас-с.

— А ты, подлая, точно рада этому, — вдруг накидывается она на доносчицу.

— Сударыня, да ведь я...

— Нечего, сударыня! Знаю я вас. Пошла, послушай потихоньку, что они там...

Горничная уходит и минут через пять или десять опять является.

— Ну что?

— Изволят смеяться...

Бабушка произошла от брака нашего же помещика, татарского происхождения, князя Кундашева с дочерью его бывшего полкового командира, генерала фон Шпице. Происхождение, по крайней мере по ее понятиям, было самое аристократическое, и она этого никогда не забывала и забыть даже не могла. Тем не менее однако ж, вспоминая победы над кавалерами в дни своей юности, она иногда употребляла такое выражение: «хотя я и княжевого рода, но в моих кровях азият». Это, впрочем, должно было свидетельствовать о том, какая она была в этих делах «отчаянная».

Как и надо было ожидать, с первого же года своего супружества дедушка с бабушкой начали плодиться, и наплодили мне бесчисленное количество тетенек и дяденек. В нашей стороне это свойство, впрочем, довольно общее: скука в деревнях ведь ужасная... В живых, разумеется, не все остались: умерло их тоже множество, но более чем достаточно осталось и в живых. Воспитание «у домашнего очага» все они получили, конечно, одинаковое, но зато в дальнейшей их судьбе и карьерах произошло удивительное, можно сказать, разнообразие, так что иногда, когда я смотрю на них и задумаюсь об них, то дедушка с бабушкой представляются мне сеятелями, которые, взяв в руки по горсти семени самого смешанного, развеяли его по ветру. Действительно, когда вся эта коллекция собирается вместе, то своим разнообразием производит удивительное впечатление. Такое разнообразие встречается только в наших дворянских семействах. Нигде ничего подобного даже невозможно увидать и встретить. В купеческом семействе — будь хоть десять сыновей — все они более или менее одного покроя и одного уровня. То же самое и у духовных. Про мужиков уж и говорить нечего. Но у «нас» — о! какое всегда разнообразие.

Почему это?

А очень просто. Купец своих сыновей готовит к торговле. Поп своих детей готовит себе и себе подобным в заместители. Мужик своих приучает «к сохе», то есть опять-таки к своему делу. А к чему, к какому делу мы будем приучать своих детей, когда, положа руку на сердце, ни один из нас не ответит по совести на вопрос: какое наше дело? То есть, положим, ответить-то мы всегда готовы, и такой ответ у нас всегда на языке: «бескорыстное служение престолу и отечеству»; но, во-первых, что́ это за специальность, и потом, так ли это было и есть на самом деле?

Вопрос, что делать с детьми, неотвязный, и он стоял одинаковой загадкой как для покойников дедушки с бабушкой, так точно стоит до сих пор и перед нами. Не знаю, задумался ли кто-нибудь над ним и как его разрешали другие, но я по крайней мере много думал о нем и пришел к тому заключению, что этот вопрос-загадка так-таки до скончания дней «наших» останется для нашего сознания неразрешенной загадкой. Но об этом речь впереди.

2

Когда бабушка народила достаточное уже количество дяденек и тетенек и они стали не только ходить и бегать, но даже и баловать, для обуздания их была откуда-то добыта самого жалкого вида немка Каролина Карловна. Еще немного погодя был точно так же неизвестно откуда приобретен француз мусье Шампо, один из тех несчастных, что пришли с Наполеоном в Москву и уж никогда потом не возвращались на родину. В своем полку Шампо был барабанщиком, а прежде у себя в деревне — садовником. По-русски он говорил очень скоро, но ужасно плохо. Покойница его не любила, но зато дедушка любил очень. Во-первых, Шампо был ужасный «шалун» и в этом качестве постоянно споспешествовал покойнику, и потом, отлично выбивал трели на барабане. Этот нехитрый инструмент был для него нарочно куплен, и покойник заставлял его иногда по целым часам «бить» разные «походы», «отступления», «атаки» и т. п. В длинные осенние и зимние вечера эти концерты устраивались обыкновенно в зале или в гостиной, к ужасу покойницы, «княжеские» нервы которой не выносили этого инструмента. Шампо «бил» все эти сигналы сперва «по-французски», а потом «по-русски». Почти каждый вечер у него с покойником после такого концерта начинался спор о том, какой однозначащий сигнал лучше — французский или русский? Соседи, бывавшие при этом, также вмешивались в прения, спор разгорался еще более, и если Шампо при этом увлекался и «забывался», то его тут же, вечером, с фонарями отправляли на конюшню, где и секли.

Каролину Карловну, сколько мне известно, не секли. Она была любимицей бабушки и главной надзирательницей за шалостями покойника и его все же друга Шампо. Оба они, то есть и дедушка и Шампо, весьма естественно, терпеть ее не могли за это, но все же она как-то ухитрялась спасаться от них. Ей, впрочем, однажды угрожала серьезная опасность. Дедушка решил выдать ее замуж за Шампо. Она была в отчаянии. Зная решительный нрав покойника, не терпевшего никаких возражений, особенно в подобных предприятиях, она в канун свадьбы, ночью, неизвестно куда сбежала. Все самые тщательные розыски не привели ни к чему, и только после полугодового

скрывательства у кого-то из помещиков другого уезда, уступая чувству любви к бабушке и получив нечто вроде охранной грамоты от дедушки, возвратилась к своим занятиям, то есть к воспитанию дяденек и тетенек и выслеживанию шалостей покойника и Шампо.

Кроме этой «гувернантки» и этого «гувернера», в воспитании детей участвовали еще двое: сумасшедший (в тихом помешательстве) немец Федор Иваныч, удивительно игравший на фортепиано и обучавший детей этому искусству, и дьяконский брат семинарист, по какой-то неизвестной причине не принявший никакого священного чина. Он был крив на один глаз, ряб, ходил в нанковом «пальтончике» и сам в горшке тер для себя нюхательный табак. Сечен бывал несколько раз.

Вся эта компания, то есть, разумеется, кроме немки, помещалась наверху, в мезонине, там же, где было отведено помещение и для пойманных молодых лисят и волчат. Понятно, грязь и вонь были там невообразимые.

Преуспевая и совершенствуясь в науках и поведении, дяденьки и тетеньки между тем всё росли, и старший дяденька дорос, наконец, до того, что начал не только понимать вкус в походах дедушки и Шампо и весьма им сочувствовать, но и подражать. Желая, вероятно, образумить его, бабушка прибегла к мерам строгости: несколько горничных и кружевниц были за него высечены и острижены, но мера эта и в настоящем случае ни к чему не привела. Наконец бабушка решилась переговорить обо всем этом с дедушкой.

— Молодца-то нашего пора, я думаю, куда-нибудь и спровадить, — начала она.

— А что?

— Да так. Из девичьей его не выгонишь.

— Да-а? — удивился дедушка и велел его позвать.

На семейный суд предстал дышащий здоровьем, краснощекий, широкоплечий шестнадцатилетний герой.

— Ты, братец, говорят, того... — начал дедушка и повторил бабушкины обвинения.

— Я, папенька, к коверщицам за шерстью ходил.

— За шерстью? А зачем тебе шерсть нужна?

— Для счастья...

Тут покойник, производя следствие, вступил в такие подробности и вообще дал такое направление допросу, что

бабушка в ужасе обратилась в бегство... Тем не менее, однако ж, дядя Яша вскоре был отправлен в какой-то уланский полк и ему дан в дядьки старик лакей Иван Петров. Отпуская сына, дедушка сделал такое распоряжение: «Ты, — сказал он Ивану Петрову, — смотри за барином как за своим глазом: ты, если, избави боже, что случится, ответишь мне. А ты, Яков, держи его строго, не балуй: если что такое — сейчас пиши и присылай его. У меня с ним расправа коротка». Недели через три дедушка получил от сына письмо, что он принят в полк. «Бескорыстное служение престолу и отечеству» началось...

3

Осенью этого же года дедушка, без всякой видимой причины, вдруг ни с того ни с сего начал «таять», то есть худёл и худел. Сделался такой смирный, тихий. Все свои «эти мерзости» оставил. Даже полковницу Предкову отправил обратно в ее имение, чем, конечно, возвратил к себе любовь и вообще нежные чувства бабушки.

— Не до нее мне теперь, Машенька.

— А если, бог даст, поправишься, опять за нее примешься?

— Нет, где уж мне поправиться.

— На бога, мой друг, уповай: все он.

— Уповаю, конечно, да... нет, уж не поправлюсь, чувствую это.

— Тоже вот и этого козла-то отправил бы ты. Зачем он тебе? Только срамота одна.

— Это ты про Шампошку?

— Да, мой друг.

— А дети-то как же без французского языка останутся?

— Гувернантку возьмем. А то он, подлый, намедни во время урока вдруг у Сонечки руку начал ни с того ни с сего (вранье) целовать.

— Да-а?

— Разве я, мой друг, тебе солгу?

— Ну, к черту его.

Таким образом, еще за несколько месяцев до дедушкиной кончины она взяла во всем такую силу, что, можно

сказать, его в это время как бы уж не существовало. Все дела по хозяйству вершила уж она одна. На дедушку нашел какой-то особенно нежный «стих».

— Трудно тебе, Машенька, с этими подлыми?

— Что ж, мой друг, делать. На все господня воля.

— Так-то так, а не взять ли нам управляющего?

— Только одно лишнее воровство будет. Из своих такого человека нет, а с воли взять — что с ним поделаешь? Ни наказать, ничего такого с ним сделать нельзя...

— Ну, это-то пустяки. Если чтó — так отдеру... Вот если бы бог дал поправиться... Да нет... нет...

И в самом деле, с каждым днем «таяние» не только не прекращалось, но видимо усиливалось. Недели за две до кончины он совсем затих. Доктора начали говорить, что все бог.

— Не встать ему? — спрашивала бабушка.

— То есть... оно, конечно...

— Надежды нет?

— Весьма слабая...

Бабушка решила выписать своего брата, князя Кундашева, которого дедушка терпеть не мог, но на призвание которого теперь, конечно, согласился.

— Все-таки мужчина, — говорила бабушка.

— Оберет он тебя.

— Ну, пожалуйста! Отскочит...

— А вот что с детьми нам делать?

— Скажи, мой друг, я так и распоряжусь.

— По-моему, так надо: Васеньку — в морской корпус, Сереженьку — в училище статских юнкеров: камер-юнкером будет, Феденьку — в гусары... Девочек — в институт — в Смольный монастырь.

— Как хочешь, мой друг. Вот только насчет морского корпуса...

— А что?

— Боюсь я, мой друг. Вот брат, князь Иван, тоже ведь в море служил, так без рому ни на шаг. Утром — пунш, и целый день все пунш. Маменьке-покойнице ведь чтó он огорчений принес чрез это...

Дедушка сказал, что этого нечего бояться, спиться везде можно. Спросил карандаш, бумаги и, чтобы она не перепутала, кого из детей куда отдать, все это ей записал.



Так обыкновенно всегда поступали, распределяя, кого из дворовых мальчиков в какое отдавать ученье: кого в столяры, кого в сапожники, кого в музыканты, кого в живописцы. Так поступал он теперь и с своими собственными детьми. Так точно «мы» поступаем, впрочем, и до сих пор...

Наконец дедушка скончался. Горничные обмыли его, домашние столяры и обойщики соорудили гроб, из «губернии» привезли архиерейских певчих, съехалось пол-уезда на похороны; похоронили, помянули. Бабушка сделалась опекуншей чуть ли не над целой дюжиной детей и владычицей восьмисот душ рабов.

Прошло три года. Всех детей, согласно записке, рассовали по разным заведениям. Она осталась одна в громадном пустом доме.

4

Скука смертная. Конец сентября. Идут бесконечные дожди. Только пообедала она с Каролиной Карловной, и уж смеркается. Легла отдохнуть. Отдохнула. Все еще рано.

— Филька, ставь самовар! А что это от детей писем давно нет? Каролина Карловна, вы бы, матушка, хоть пасьянсик разложили...

Каролина Карловна начинает раскладывать пасьянс. Приходит лакей и докладывает, что «начальники» пришли, то есть бурмистр, староста, конюший, коновал, скотник, ключник и проч.

— Позвать их.

В гостиную, стараясь осторожнее стучать сапогами, входят начальники, кланяются и, заложив руки назад, рядком выстраиваются вдоль стены.

— Ну что, все благополучно?

— Слава богу-с, — хором отвечают все.

— Караул у тебя плох, — обращается она к бурмистру. — Совсем ночью не слышу я, чтобы в доски он стучал.

— Разве погреться в людскую заходят когда, а то всю ночь.

— Нечего греться. Скучно, холодно — могут жен с собой брать... Виноватых сегодня много у тебя?

— Человек с пяток было.

— Наказал?

— Наказал-с.

— Покров скоро. Невесты есть?

— Не хватит-с. Девки три надо будет прикупить али так у соседей призанять до будущего года. Лета выйдут — отдадим.

— Конечно, занять. Это еще что — покупать. Съезди к Ивану Петровичу — займи сколько нужно.

— У Ивана Петровича какие уж девки — одна дрянь. Если прикажете к Михаилу Васильевичу, — у них — приказчик их сказывал — нынче урожай на девок. Мы бы, говорит, дали взаймы.

— Все равно, к Михаилу Васильевичу съезди.

— Слушаю-с.

— Да ты смотри, чтобы хорошим ребятам хорошие девки достались. А то, я знаю, у вас ведь это все зря делается.

— Помилуйте, матушка, как можно зря.

— Ну-ну! Все я знаю... А у тебя что: все благополучно на конюшне?

— Слава богу-с, — отвечает, несколько выдвигаясь вперед, конюший.

Тщательно, с полным знанием и вниманием, читается и разбирается проект лошадиных браков. Наконец и этот вопрос исчерпывается. Она переходит к ключнику, от ключника к садовнику, и т. д., и т. д.

— Ну, с богом.

«Начальники» кланяются и идут гуськом, один за другим, через зал в переднюю.

— Самовар куда прикажете подавать? — спрашивает Филька, появляясь в дверях.

— Куда? болван, разве не знаешь куда? В чайную. Иль нет — в угольную... Ну что, сошлось? — обращается она к Каролине Карловне.

— Нет.

— Уж я чувствую, что кто-нибудь из них нездоров. Материнское сердце не обманет. Надо в город на почту завтра послать. Эй, Филька!

— Чего изволите?

— Верни-ка поскорей бурмистра. Ушел он?

— Никак нет-с. Еще в передней.

— Ты завтра пораньше кого-нибудь на почту пошли, — говорит она бурмистру. — От молодых господ давно писем что-то нет. Овса почтмейстеру пошли. Маслица фунтов тридцать. Вели сказать, что как птицу будем бить — опять ему пришлем. Ну, только. Пошел.

В угольной, освещенной двумя нагоревшими сальными свечами, шипит и дуется самовар. Каролина Карловна разливает чай. Стоят банки с вареньем, разные домашние печенья, крендельки и проч.

— Что это Прасковьюшка не идет? Прасковьюшка!

В дверях показывается высокая худая женщина лет пятидесяти, с необыкновенно маленькой головой и каким-то мертвенно-скопческим выражением лица.

— Чего изволите?

— Ну что у тебя?

— Слава богу-с.

— А Дуняшка еще не опросталась?

— Нет еще-с.

— Как опростается, мало-мало оправится, наказать ее, подлую.

— Да уж и Дашку, сударыня, заодно бы.

— А что?

— Тоже-с.

— Это еще что такое? Это от кого?

— Не сказывает, запирается, а уж я вижу, что готово... Так надо полагать, что от Филиппа Иваныча.

— От какого это Филиппа Иваныча?

— От лакея-с.

— От Фильки?.. Филька!

Появляется Филька.

— Чего изволите?

— Это, голубчик, твое дело?

— Какое-с?

— Дашка...

— Матушка барыня, вот как перед богом...

— Ах, бессовестный, ах, бессовестный! — всплескивая руками, восклицает Прасковьюшка. — Еще запирается! Ты бы в ножки к барыне, а он запирается. Что ж, ты думаешь, я не знаю ваших шуров-муров?.. Я еще летом, сударыня, их замечала, да все не хотела вас беспокоить. Авось, думаю, образумятся. А они знай свое, и в ус не дуют.

— Вот как перед богом!..
— Ах, ах, бессовестный!..

После такого дознания на другой день, разумеется, — следствие. Покойница ужасно любила такие дела. И позже, когда она была уж совсем старуха, она все-таки любила их. Виновных, конечно, она наказывала, но это делалось как-то без злобы. Это было удовлетворение какого-то особого чувства, имеющего свои начала в сладострастии... Когда умер покойник дедушка, ей было не более сорока семи лет и она была еще в полном, как говорится, соку. Поэтому, мне кажется, что подобные следствия имели для нее ту же прелесть, какую имели частые исповеди в грехах молодости для бабы в известном анекдоте...

5

Кроме вечерних докладов Прасковьюшки о состоянии нравственности горничных, кружевниц и коверщиц, бабушка-покойница и сама, чрез личные и довольно частые посещения флигеля, где жили и работали все эти Фимки, Дашки и проч., знакомилась с положением любимого вопроса и иногда делала, благодаря своей опытности и наблюдательности, поразительные открытия, приводившие в изумление даже такую неусыпную и бдительную женщину, как Прасковьюшка.

Обходит она, положим, кружевниц, смотрит и поверяет их работы. Вдруг остановилась.

— Ну-ка, встань-ка.

Девка встает.

— Пройдись-ка. Не спрячешь от меня. Ах ты подлая!..
— Матушка барыня!.. Ей-богу-с...
— Еще божится! а!

И редко-редко случалось, чтобы она ошибалась. Но горничные знали, что за эти преступления наказания, сравнительно говоря, были не особенно строги, и потому беременели без конца, доставляя постоянный и обильный материал для следствий.

Большое хозяйство, то есть то, что составляло предмет ведения покойника: посев, лес, конный завод и проч., пришло, разумеется, в некоторый упадок, хотя о расстройстве, конечно, не могло быть и речи. Летом она очень даже

любила выезжать в поле. Запрягут коляску, и она с Каролиной Карловной, а иногда возьмет с собой и Прасковьюшку, едут на сенокос, на жнитву, на пахоту. Но эти поездки она всегда делала так, чтобы они были неожиданны для бурмистра, старосты и проч. И тут от зоркого и опытного глаза ее редко что могло укрыться.

Кроме Покровского, главного имения, было еще две пустоши и деревня Вахровка. И пустоши и деревня были верстах в тридцати от Покровского. Она совершала туда ежегодно по крайней мере две-три и даже четыре поездки, тоже, разумеется, весной, летом или осенью. Это были уже целые экспедиции, к которым готовились дня по два, которые за дождем откладывались и которые сохранить в тайне от «начальников», конечно, невозможно было.

Для сношений с «судейскими» у нее был в городе заведен подьячий, за которым, в случае надобности, и посылалась подвода «на паре». Это, разумеется, был какой-то, выгнанный за пьянство и уж невозможное и по тогдашнему даже времени взяточничество, заседатель земского или уездного суда. Он ведал все ее дела и за это получал натурой: ему присылали овса, крупы, муки, битой птицы, масла... Раз она подарила ему лошадь, разумеется дрянь. Ему же «для услуги» были даны какой-то «завалящий» дворовый и дворовая же девка, ставшая ей ненавистной после того, как она поймала ее на чердаке с покойником.

Так правила она и — надо отдать ей справедливость — не только не разорила имения, но скопила порядочную-таки сумму денег. Она прятала их, но иногда и ростовщичала. Терпеть не могла только давать в долг соседям. У нее было «в городе» несколько знакомых купцов, которые всегда почти без отказа получали сколько им нужно. Но это почему-то обставлялось всегда величайшим секретом.

— Денис Парфеныч приехал.

— Позови.

Купец подходил «к ручке» и после нескольких приказаний сесть (времена-то какие были!), наконец, садился на кончик стула.

— Ну, спасибо, что заехал, вспомнил старуху. Что у вас в городе слышно?

Купец рассказывает новости. Говорит, что привез гостинцев ей: белорыбицу, икры и т. п.

— Спасибо за память, только кому у нас есть-то это? Едоков у нас нет. Живем мы с Каролиной Карловной как в монастыре: ни мы никуда, ни к нам никто.

Она, конечно, знает, в чем дело, то есть знает, что он приехал за тем, чтобы или отдать долг, или просить «на перехватку». Тем не менее ни за что в тот же день не даст ему денег и не примет их от него, если он их ей привез, а оставит ночевать и только на другой уж день после обеда запрется с ним в дедушкином кабинете и там с глазу на глаз «сделает дело».

— Ну, прощай. Увидишь Василья Ермолыча, кланяйся.

— К нам бы в город когда собрались.

— Где уж мне, старухе.

— Что за года ваши. У меня сестра в ваших годах за второго мужа вышла, еще двоих детей ему принесла.

— Нашел с кем равнять! Разве у нас такое здоровье, как у вас?

— Равнять, матушка Марья Дмитриевна, не смею, а только что ж это за года?

— Ах, Денисушка, наши заботы не ваши. Вы думаете только о деньгах, а нам и о детях надо подумать. Надо их в люди вывести. За всех-то ведь я девять тысяч в год плачу. А потом, как выйдут, мало им разве потребуется? Да вот и старшему-то в полк разве мало перешлешь в год. Ведь не из жалованья же благородному дворянину служить.

— Так-то так, — соглашается купец и думает, как бы ему поскорей уехать.

Уедет такой случайный и неожиданный гость, и они опять одни-одинешеньки с Каролиной Карловной, вечно раскладывающей пасьянс за пасьянсом, или с Прасковьюшкой. У соседей она пользовалась уважением, как богатая помещица, но и только. Она ни с кем почти не водила знакомства. К ней ездили разве только по делу, а так никто, и она ни к кому. Покойник был «беспутный», самодур, но все же хлебосол, хоть и «отдавало» чем-то холуйским это его хлебосольство. К нему все-таки ездили, и с грехом пополам он даже дважды был избран в предводители. С его смертью все перестали ездить. Только по праздникам являлись обычные гости: попы из своего села

да поп из соседнего села, где прежде, до постройки своей церкви, был приход. Попы приезжали, разумеется, с женами и дочерями, а на Рождество и на Крещение и с сыновьями, которые произносили при этом «речи» и получали за это по новенькому четвертаку. Чем-то жестким, холодным, бездушным веяло от этой женщины, и все сторонились от нее. Ни кошек, ни собачек, ничего у нее не было. Не любила она и сада. А все у нее было, и при случае она очень любила показать себя и задать, что называется, тону. Раз как-то в глухую осень, поздно вечером, когда было уж совсем темно, как ночью, в проливной дождь, на двор к ней въехал сбившийся с пути предводитель. На дворе начался собачий лай, поднялась суматоха; она узнала, в чем дело, и послала просить его зайти «обсушиться». Хоть и ехал он в карете и был совсем, разумеется, сухой, но, сообразив вероятно, что продолжать путешествие не совсем удобно, согласился и велел подъехать к дому. Предводитель был богач, князь, с громкой фамилией, служил в гвардии и только недавно вышел в отставку, приехал в имение и поселился в нем. Она все это знала, разумеется, и вот ей захотелось вдруг показать себя: мы, дескать, тоже не мелкотравчатые какие, тоже княжеского рода. И сделала ему такой прием, угостила его таким ужином, таким рейнвейном, что он потом всему уезду об этом рассказывал.

Разумеется, этот ночной визит предводителя был событием и для нее и для всего дома, кажется, на целый год. И было бы это событие совсем светлым воспоминанием, если бы не омрачило его одно маленькое обстоятельство, которое открылось на другой же день почти вслед за его отъездом. У горничной Фимки Прасковьюшка увидала золотой, который та показывала какой-то другой горничной.

— Откуда он у тебя?

Та туда-сюда, наконец созналась:

— Предводитель подарил.

— Когда?

— Я им воду подавала, когда они почивать ложились...

Было, разумеется, доложено, произведено строжайшее следствие, которое раскрыло такие обстоятельства, которые не имеют ничего общего с водой. Оказалось, что здесь замешан один из лакеев, и т. д., и т. д. Когда действи-

тельность была обнаружена и не оставалось никаких сомнений, за что именно Фимка получила от предводителя червонец (тогда они еще были у «нас»), она была не только оскорблена этим, но, можно сказать, даже потрясена.

— И это за то, что я его обсушила, обогрела и так приняла!..

Разумеется, эту Фимку сейчас же остригли, высекли, сослали на скотный двор, лакея Никанорку тоже куда-то упекли; но оскорбление «дому» в ее глазах и осталось несмытым...

6

А «дети» между тем росли. Летом на каникулы она их к себе из Петербурга не брала.

— Нечего им тут делать. Одно только баловство. Кончат ученье, тогда и приедут.

Сами они тоже к ней не ездили. Один только старший сын — улан Яша, за все время после «папенькиной кончины» приезжал к ней раза два или три и все-таки уезжал «солоно не хлебавши».

«Что? Отскочил?» — про себя говорила она, смотря в окно за отъезжавшим его экипажем.

А Яша в то время был еще послушный и почтительный сын. По какой-то странной и необыкновенной случайности он вначале долго, лет пять, не пил, ни в карты не играл, ни долгов не делал. Каждое письмо от него, каждый приезд его пугал ее. Ей именно казалось, что или в письме его она прочитает, или лично от него услышит просьбу заплатить его долги, хотя данных у нее на это никаких не было. Одно только предчувствие. Приедет он, поживет с недельку, и она уж ждет не дождется, когда он уедет.

— Ну, и господь с ним. Что ему тут делать? Человек еще молодой — ему служить еще надо, — говорила она. — Об имении им заботиться нечего, пока я жива: все цело. Я умру — ничего с собой не возьму.

Предчувствие, однако, сбылось, хотя гром грянул и не из той тучки, из которой она ждала его скорее всего. Первое огорчение ей в этом вкусе нанес Сережа, воспитывавшийся в училище статских юнкеров. Раз как-то весной

она получила от него очень красноречивое и очень разумно написанное письмо, в котором тот извещал, что имел несчастие заболеть и что хотя и вылечен докторами, но для окончательного изгнания болезни ему необходимо ехать лечиться на Кавказ, и для этой поездки он покорнейше просит ее прислать ему немедленно три тысячи рублей. «В противном случае, маменька, я могу остаться несчастным на целую жизнь», — писал он в заключение... Затем шло обычное уверение в сыновней любви и несчетное целование ручек... Прочитала она это письмо, и так у нее руки и опустились. Важны были тут не три тысячи, а прецедент. Она это отлично понимала, и он-то ее и напугал...

— Что ж это за ним не смотрят? За что же это я деньги плачу? Заболел, мерзавец, и не стыдится даже матери своей об этом писать!

Она решила ничего ему не отвечать на письмо. Как хочет, так пусть и выворачивается. Но Сережа был мальчик с ноготком. Отделаться от него было не так легко, как она думала. Он подождал недельки две и прислал второе письмо. Это было написано еще почтительнее, но и еще рассудительнее. Он писал ей, что, по всей вероятности, она по каким-либо причинам первого его письма не получала, а потому он повторяет его содержание. Затем шло еще более подробное рассуждение о необходимости изгнать болезнь радикально, еще подробнее и картиннее рисовалась перспектива ужасного будущего, в случае, если изгнание болезни не совершится немедленно. Потом следовало извещение о том, что он твердо решился изгнать ее и не остановится ни перед чем, чтобы это сделать. Еще далее он писал, что, в случае отказа денег с ее стороны, он вынужден будет обратиться с просьбой об них к предводителю, как председателю дворянской опеки. В заключение, перед целованием ручек, он делал очень ловкий намек, что через два года исполнится его совершеннолетие... Первое письмо ее возмутило, огорчило, расстроило, породило целый ряд сомнений и предчувствий; это, второе, было уж прямо ударом. Она это отлично поняла. Однако что же делать? По первому впечатлению она хотела его сейчас же, тут же, проклясть. Потом что-то сообразила, и мысли ее начали работать в другом направлении. Послать разве за подьячим? Узнать у него, какие

у нее права на «него», что она может сделать с ним «по закону»? Уничтожить его, отсечь этот вредный член, не дать пример соблазна другим детям? Но она и эту мысль скоро бросила. Она вспомнила, что еще годом позже исполнится совершеннолетие и третьему сыну, что́ в морском корпусе, и в это время почему-то вдруг вспомнила о пунше... А что, если он, мерзавец, и не болен совсем? Так только, один предлог выдумал? Ведь этак, если они все начнут требовать денег, — на них не напасешься, ведь их целая орава, а она одна. И что она им за казначей такой? Отказать... А если он и в самом деле к предводителю напишет?.. Ну, и пусть напишет. Что ж, я разве боюсь его?.. Она промучилась, протерзалась всеми этими соображениями и вопросами весь день, всю ночь, по в конце концов он победил ее. Она хотела писать ему что-то такое и даже садилась и начинала писать, но сама понимала, что у нее выходит вздор какой-то. Еще смеяться надо мной будет. Наконец решила просто отправить эти деньги «ему» без всякого письма и велела позвать бурмистра. Там, в кабинете, где денежные дела, произошла и эта первая ее капитуляция в начинающейся войне с детьми.

— Поедешь в город. Молодому барину Сергею Григорьевичу отправишь деньги. Квитанцию от почтмейстера возьмешь. Считай.

Бурмистр начал считать пачки, а она облокотилась и смотрела на его волосы, свесившиеся с нагнутой головы, на его корявые руки.

— Стало быть, они сюда едут? — спросил он, пряча деньги за пазуху.

— Пишет, что болен...

— Господи Иисусе...

Но она в этот момент менее всего была расположена к рассуждениям и излияниям. Ничего не ответила, строго-настрого приказала никому не говорить о том, что отправляет куда-то деньги, встала и пошла, еще раз напомнив о квитанции, точно она думала, что с получением этой квитанции она получит на «него» какие-то особенные права, и тогда она покажет ему...

Получив деньги, Сережа тотчас же написал ей необыкновенно ласковое (за три тысячи-то!) письмо, где говорил, что его больше всего удивило и огорчило то обстоятельство,

что при деньгах не было ее письма. «Здоровы ли вы, мой друг, маменька, — писал он. — Это меня ужасно тревожит. По окончании курса лечения заеду проведать вас...»

— Ведь еще смеется, мерзавец! Попробуй-ка, заезжай. Этак они все, пожалуй, съедутся... А что, они переписываются между собою? Ну как в самом деле спишутся, возьмут да и съедутся...

7

Но такая опасность, хотя, разумеется, приближалась с каждым днем, все же не была уж так близка, как это ей казалось. Дети были разных возрастов, и до их общего совершеннолетия оставалось еще лет пять. А все это время имение должно было оставаться в опеке, и делить его нельзя было. А вдруг если «старшие» начнут с ней кляузный процесс? От них — теперь уж видно, что за птицы, — всего можно ожидать..

Прошел еще год — и новый сюрприз. Васенька, который был в морском корпусе, прислал письмо, и тоже с просьбой о куше: «Мы едем, милый друг, маменька, — писал он, — в пробное плаванье, и потому я уверен, что вы мне не откажете в такой ничтожной сумме, как какие-нибудь пятьсот рублей...»

— Ничтожная сумма — пятьсот рублей! Что они, грибы, что ль?

Но тут же сосчитала, что ведь это, во-первых, не три тысячи, а потом сообразила, что ведь и этот тоже будет скоро совершеннолетний. Надо послать. Утонет еще, пожалуй, и опять вспомнила про пунш... Послала ему пятьсот рублей и даже написала письмо с увещанием быть в море осторожней, чаще молиться богу и поменьше пить пунш. Она была глубоко убеждена, что их еще в корпусе приучают к пуншу, как к какому-нибудь морскому артикулу. Таким образом, уже трое сыновей ее огорчили: Яша — своими посещениями, Сережа — тремя тысячами и Вася — пятью стами. Молчали пока лишь два младших: Володя, будущий гусар, учившийся еще в каком-то таком заведении, где все науки читаются и слушаются верхом, и гимназист-пансионер Петя. Но она приготовилась уж получать и от них подобные же сюрпризы.

В этих заботах и опасениях она почти совсем было забыла про дочерей — Сонечку и Наденьку, что были в Смольном и которые тоже скоро должны были там кончить курс, и их приходилось брать оттуда. Но они ее как-то не беспокоили. Эти бунтовать не станут. Они могли быть ей опасны разве после замужества, когда у нее вдобавок к пяти родным сыновьям явятся еще два в виде зятьев. Но это еще длинная и долгая песня. Она так мало заботилась о них и думала, что сбилась даже в счете, сколько лет им осталось еще пробыть в институте, и ошиблась на целый год. Оказалось, что они выйдут на будущий год. Ну, за ними надо будет Каролину Карловну послать. Она их и привезет. А все-таки с ними что́ возни-то будет!..

Все эти письма, думы и сомнения удручали и угнетали ее сильнее и сильнее. Прежде у нее были хоть изредка светлые минуты, когда она бывала и весела и разговорчива, даже шутила. Потом они стали приходить всё реже и реже, и, наконец, теперь уж совсем она их не знала. И всё дети. Кроме старшего, Яши — улана, она вот уже восемь лет ни одного из них не видала. Посылала она им сущие пустяки. Писала редко. За исключением вышеупомянутых случаев, они за деньгами к ней не приставали. Все письма их были написаны ласково-почтительно; но тем не менее она чувствовала всем своим существом, что это не дети, а волчата, которые там где-то живут, растут и лишь только почувствуют, что они могут сами бегать и кусаться, соберутся в одну стаю и, голодные, немилосердно накинутся на нее. Она никому не высказывала этих мыслей, но они и на минуту, кажется, не покидали ее. И в уме и в душе она готовилась встретить их. Готовилась, и все-таки не приготовилась.

Наконец настал год, в который Сережа должен был окончить курс в училище статских юнкеров.

— Это какой год-то будет, високосный? — спросила она на крещение батюшку, бывшего у нее с крестом и святой водой.

— Високосный. — И, заметив в ее взоре некоторое беспокойство, присовокупил: — Это одни пустяки, примета: у бога все года и дни равны.

— У бога так, а у нас грешных иначе: у нас год на год не приходится.

— Это точно, что год на год не приходится, — согласился батюшка.

«Спросить, что я с «ними» могу сделать, если они окажутся...» — подумала она, но почему-то удержалась и не спросила. Она была, однако, убеждена, что права у нее на них большие, и, в случае чего, она может с «ними», как мать, сделать что угодно. Но что́ именно — не знала доподлинно. Во всяком случае она мать, и должны же у нее быть средства для защиты от «них».

А время все приближалось. Настала уж и весна.

— Что «он» ничего не пишет? Окончит курс, ведь, чай, надо ему будет и платье и все прочее.

Но он так-таки ничего не писал. Это молчание и тишина казались ей зловещими, и, по-своему, она не ошиблась.

— А может, экзамена не выдержит и не кончит в этом году?..

Но Сережа экзамен выдержал, кончил и явился в Покровское как снег на голову, отлично экипированный, с двумя или тремя чемоданами, полными всяких вещей и принадлежностей туалета. Он приехал как раз в то время, когда она только что пообедала и легла отдохнуть.

— Что, маменька здорова, дома? — спрашивал он у окружавшей его прислуги и дворни.

— Слава богу-с. Почивают. Разбудить прикажете?

— Нет, нет, как можно беспокоить.

8

Известие о приезде сына ей сообщила Каролина Карловна. Это было в дверях, и она едва-едва удержалась на ногах, ухватившись за притолку.

— Приехал?.. Один?

— Красавец какой, матушка, — докладывала Прасковьюшка, вдруг откуда-то появляясь тут же. — Прикажете сюда их позвать?

— Нет, не нужно. Как бы воды...

Подали воды. Она отпила несколько глотков, и немного легче стало ей. Между тем Сереженьке уж доложили, что «маменька» изволила проснуться, и он уже стоял у дверей, тихонько их приотворяя и заглядывая к ней

в спальню. Наконец он распахнул двери и кинулся к ней:

— Маменька!

Она сидела в кресле, слабая, как только что выздоравливающая больная после тяжкой болезни, и смотрела на него какими-то странными, недоумевающими глазами, смотрела, как он, стоя на коленях, целовал ей руки, плечи, шею. Он несколько раз поцеловал ее даже в щеку, но почему-то ни разу не поцеловал в губы. Она тоже не целовала его, а только как-то касалась лицом то его лица, то волос. Волоса на темени и на макушке были редки, и плешь уже сквозила. Она это заметила.

— Здоровы вы, мой друг маменька?

— Здорова. Живу.

— Вы бы меня не узнали? Очень я переменился?

— Ты совсем... Тут будешь жить?..

— Поживу у вас... если позволите...

— Живи. Кто ж тебя может гнать. Имение «ваше»...

— Маменька, маменька! Что вы говорите...

— Ничего не говорю. Живите... А «те» скоро приедут?

— Вы, маменька, это про братьев?

— Ну, конечно.

— Вася и Володя на будущий год кончают... Сестры в июне.

— Знаю и без тебя.

Она тяжело перевела дух и протянула руку к стакану с водой. Он подал ей его.

— А пока вы, маменька, почивали, я уж весь дом обошел и в саду побывал, — начал он.

— Все цело. Не беспокойся.

— Маменька!

— А что ты, здоров? — вдруг спросила она.

— Слава богу. А что?

— Нет, от этой мерзости-то вылечился?

— О да... — как бы что-то припоминая, ответил он.

— Иль, может, совсем и болен не был?

— Ах, маменька, маменька!.. Какая вы стали... странная, раздражительная.

— Поневоле станешь.

И в то же время она почувствовала, что силы для борьбы с «ними», или покамест с «ним», к ней возвращаются. Вечером, когда подали самовар, он начал

говорить ей, как бы хорошо было, если бы она послала Васе и Володе денег и позволила бы им приехать к ней на лето. Как бы они здесь поправились, поздоровели.

— Может, и эти тоже заразились?

— Ах, маменька, маменька!

— Что это ты все: маменька, маменька! Я знаю, что я вам мать.

Все-таки она согласилась послать им денег: пусть приедут, своими глазами увидят, что все цело.

— А откуда ты-то денег взял на все это? — спросила она наконец, указывая головой на его платье.

— В кредит, — улыбаясь, отвечал он. — У нас в училище всегда так. Осенью отдам, как приеду из деревни.

— А осенью откуда же ты возьмешь?

Он опять рассмеялся, взял ее руку и несколько раз поцеловал ее.

Деньги триста рублей на проезд Васеньке и Володеньке были отправлены на другой же день. А через две недели уехала Каролина Карловна за Сонечкой и Наденькой. Но она все это делала и соглашалась на все это точно в чаду каком-то. Вопросы и решения следовали друг за другом с такой быстротой, что она не успевала даже одуматься, сколько-нибудь собраться с мыслями.

Сереженька между тем начал устраиваться.

— Папенькин кабинет ведь весь пустой, маменька, стоит.

— А что?

— Я там и устроюсь.

— Устраивайся. Хозяину нужен кабинет.

Но он очень скоро привык к этим шпилькам и перестал обращать на них внимание. Просто замолчит, и только, а что нужно, то и делает.

— Что ж ты, служить разве не поедешь?

— Как так? Непременно.

— Осенью?

— Да, так в октябре, в конце сентября. Теперь ведь Петербург совсем пустой.

— И где же это ты служить будешь?

— В сенате, маменька. Там все мы служим сначала.

— Ты мать-то свою там, смотри, не засуди когда-нибудь... А где же это вас камер-юнкерами-то делают?

— Это, маменька, при дворе.

— И ты будешь?

— Надеюсь. А вы хотите, чтобы я был камер-юнкером?

В душе она была бы довольна. Это единственный реванш, который она могла бы получить от него. Но когда она посмотрела на него, почти плешивого и порядочно таки изношенного, в ней шевельнулось какое-то полупрезрительное сомнение: неужели и этакая дрянь там годится?

9

И Васенька и Володенька не заставили себя долго ожидать. В один прекрасный вечер и они прилетели. Это были здоровые, краснощекие молодые люди, лет по семнадцати, по восемнадцати, с заметно пробивающимся пушком на усах и щеках. Особенно мужествен и пышущ здоровьем был Володенька, воспитывавшийся в школе, где все науки читались и слушались верхом на лошадках. Вася-моряк был несколько вял и задумчив. Молодцеватость Володеньки бабушке пришлась по вкусу, и она почему-то вдруг почувствовала к нему даже какое-то нежное чувство.

Эта пара поселилась тоже в отдельной комнате, и именно в той, в которой некогда, при покойнике, жила вдова-полковница Предкова, принесшая столько огорчений бабушке. Комната эта все время была заперта, но теперь ее отворили, проветрили, и они ее заняли. Они были дружны между собой и постоянно, куда ни шли, всё вдвоем. Идут они, а она на них смотрит и думает: «Эк их, какие лоботрясы. Сколько я их, однако, нарожала...»

Так прошло недели три, даже больше. Она начала даже привыкать к ним. Денег не просят, едят что попало, в хозяйство не мешаются, отчета не спрашивают. Почтительны. Дома целый день нет. Пропадают черт знает где. Подозрительнее всех, конечно, был Сережа. Этот все что-то в записную книжку заносил.

— Что это ты все записываешь?

— Так, маменька, для памяти.

— Опись, что ли, делаешь?

Но он так весело рассмеется, хоть и сухим смехом, и сейчас возьмет и поцелует ручку. Одно обстоятельство

ее и смущало и приводило в недоумение. Этакие молодцы, и никаких шуров-муров!

— Ничего не замечаешь? — спрашивала она у Прасковьюшки.

— Пока, матушка барыня, ничего. Намедни только Владимир Григорьевич с Васильем Григорьевичем идут этак по саду, да увидали Варюшку черную и погнались было за ней, но она в калитку — они и отстали.

— А зачем она в сад шляется? Что ей там делать?

— Это уж я, матушка, виновата. За смородиновым листом ее посылала.

— Не понимаю, не понимаю, — твердила она, — этакие лоботрясы... А за Сергей Григорьевичем не замечала? Этот хитрый. Этот где-нибудь на стороне себе сударку-то заведет. Тихоня.

— Вот они-с... уж вы, матушка, не прогневайтесь...

— Говори, говори.

— Сергей Григорьевич себе выбрали...

— Какую?

— Дуняшку-с. Ходили это они по хозяйству, зашли к коверщицам, увидели ее... и с тех пор-с.

— И ты молчишь? И как же это ты смела мне не сказать?

— Виновата, сударыня. Они и меня тоже позвали и говорят: «Ты, Прасковьюшка, если что и заметишь, маменьке не говори, не огорчай ее. Сама понимаешь, я человек молодой...»

Известие было немаловажное. С одной стороны, конечно, хорошо, что он ее не хочет огорчать, а с другой — все-таки ведь это распоряжение, приказание Прасковьюшке не говорить ей. Она подумала и сказала:

— Ну, уж что ж с ним делать. Ты Дуняшке только скажи, чтоб она перед другими не хвасталась этим, а то у меня ведь живо! Я не посмотрю, что она... у меня.

— Ни боже мой, матушка. Она девка смиренница. Придет, как ни в чем не бывало. Сядет себе за ковер, и в глазу ничего нет. Только мне скажет: «завтра, говорит, в таком-то часу велели приходить...» А Владимир и Василий Григорьевичи так, я думаю, надо полагать, всё в поле на работах промышляют. Намедни Ефимка, форейтор, хвастался: «мы, говорит, с молодыми господами двух та-

ких краль заполонили...» и пьян был, должно быть они ему пожаловали за это...

Она осталась даже довольна этими сведениями. Во всяком случае они все трое, значит, опасаются ее. Она почему-то ожидала, что они будут такие же в этом случае бесстыжие, как и «их отец». Вообще она с каждым днем становилась более и более спокойной: «И чего это я их так боялась?»

10

Так прошло сколько-то времени, и по расчету надо было уж вернуться и Каролине Карловне с барышнями. Однажды после ужина, когда бабушка только что собиралась идти к себе в спальню почивать, на дворе послышались колокольчики и бубенчики. Кто бы это мог быть? И — предчувствие-то — сердце так как-то сжалось. Прасковьюшка, посланная узнать, что́ эти бубенчики означают, принесла новый сюрприз: приехал Яков Григорьевич.

— Ну вот: его только и недоставало!

Она не пожелала его видеть и легла спать. На его вопрос: «почивает ли маменька?» ему ответили, что уж изволила започивать. Он поздоровался, лучше сказать, познакомился с братьями, и те сразу как-то отшатнулись от него: он им представился невозможным. И в самом деле он был таким. В грязном, засаленном, старом мундире, с грязными руками, загорелый, с отеком на лице, с щетинистыми усами, давно не бритыми щеками и бородой, с запахом лука из рта, с икотой — словом, это был тот именно тип, всякого общения с которым больше всего боятся люди, воспитанные в петербургских аристократических заведениях.

— Ну что ж, выпьем? — спрашивал он их, когда ему подали ужин.

— Мы не пьем, — почти в один голос ответили ему Сережа и кавалерист Володя.

— А ты? — обратился он к моряку.

— Я не пью водки.

— Так учись. Выпей, попробуй.

— Что же пробовать?

— Ну, для меня.

Вася налил рюмку и выпил.

Но он этим не удовольствовался и стал опять приставать с повторением. Вася отказался наотрез.

— Хороши братья, нечего сказать. Восемь лет не видались, и выпить вместе не хотят. — И он принялся один хватать рюмку за рюмкой.

Сережа посидел немного и, убедившись, что без скандала дело не обойдется, незаметно улизнул к себе в комнату. Володя и Вася остались наблюдать его. Наконец он совсем захмелел и начал шуметь. Солдат-денщик, привезенный им с собой из полка, чем-то не угодил ему, и он начал его заушать. Отдаленный шум в столовой, где происходило все это, донесся до спальни бабушки, она позвонила и спросила, в чем дело. Прасковьюшка ей все объяснила.

— Как? пьян?

— На ногах еле стоят-с.

Это был уж сюрприз совершенно непредвиденный и неожиданный. С трезвыми, какие «они» ни на есть, можно еще ладить, но что она станет делать с пьяным? Положение действительно неудобное. Но как из него выйти? Она продумала всю ночь, и все-таки ничего не придумала. Утром к чаю он явился, однако, совершенно трезвый и как ни в чем не бывало прямо к ней, к руке. Она руку отдернула молча. Он точно удивился:

— Что вы, маменька?

— Ты куда, в кабак приехал?

— А-а-а, — протянул он, — понимаю, понимаю: я приехал к себе в имение. Хе-хе-хе! — Он встал перед ней в ярыжно-казарменную позу и, нагло глядя ей прямо в глаза, стал крутить усы. Она была бледна как мертвец. Неизвестно, чем бы кончилась эта сцена, если б не вывел на этот раз ее из затруднения Сережа. Он подошел к брату и кротко сказал ему, что у него есть что-то сказать ему.

— Мне? Что такое? — звякнул Яша шпорами и, сделав в сторону несколько шагов, повторил вопрос.

— Тут неудобно. Пойдем в другую комнату.

— Ах, ты спасаешь от меня маменьку... почтительный и воспитанный сын!..

Володя и Вася взяли его под руки и повели в спальню. Часа через два или три он опять нарезался и устроил на

этот раз скандал уж с Прасковьюшкой, выглядывавшей на него из коридора.

— Тебе что нужно? За мной подсматриваешь? Да?

И взяв ее за шиворот, тряхнул и дал ей коленкой такого пинка, что она пролетела весь коридор и так и вскочила в горничную. Вслед за ней и он туда явился. Но девки, побросав работу и какая куда попало, разбежались. Он постоял, что-то такое опрокинул, уронил и, шатаясь, прошел к себе в комнату, выпил чего-то еще и уснул.

В спальне между тем происходил семейный совет. Сережа был возмущен всем этим не менее «маменьки». Он не находил слов для порицания поступков брата. Володя с Васей тоже находили, что это черт знает что. Однако что же делать?

— А вот что: брошу я всех вас и уеду отсюда: делайте и живите как знаете.

— Маменька, друг мой, но ведь это скандал будет, — стал упрашивать ее Сережа.

— Что ж, мне от вас дождаться, чтобы и мне таких же пинков вы надавали, как Прасковьюшке?

Прасковьюшка стояла тут же и всхлипывала.

— Да мы-то, маменька, тут при чем? — спросил Вася-моряк.

— Это, маменька, несправедливо, нет, бог с вами, за что вы нас обижаете? — говорил Сережа.

Володя-кавалерист ничего не говорил: он смотрел в окно в сад, где проходила в это время одна из горничных, и, глядя на нее, думал: «какая славная», и чуть-чуть не позвал Прасковьюшку, чтобы спросить, как ее зовут. Однако вовремя опомнился и не сделал этого.

— По-моему, — начал Сереженька после некоторого размышления, — выход один. Дать ему денег, и чтобы он уезжал. Наверно, он за деньгами приехал.

— Да что я вам за казначей такой? Что я, обязана, что ли, мучиться для вас? Управляющего какого нашли!

— Но ведь на его долю, маменька, из доходов, а имение... — начал было Сережа, но встретился с ее холодным взором, злобно уставленным на него, и прикусил язычок. Губы у него дрожали.

— Это штуки-то, я вижу, голубчик, всё твои, — наконец выговорила она. — Это ты его выписал сюда. Сам-то

в маленьких хочешь пройти, а его, дурака-то, вперед пустил.

— Маменька!

— Нечего. Все я знаю. Насквозь тебя вижу.

Сережа, пожав плечами, взглянул на братьев и почтительно замолчал.

В это время в спальню с криками: «маменька, душка маменька!» вбежали, неслышно приехавшие, Сонечка и Наденька, и позади их показалась улыбающаяся Каролина Карловна, еще ничего не знавшая о происшедшем. Девушки целовали и «душили» maman, тоже, разумеется, и не подозревая, что́ за момент переживает она...

Это были очень милые девушки, вполне усвоившие себе и миросозерцание и манеры того учебного заведения, где они пробыли безвыездно восемь лет и где теперь кончили «курс наук». Они кричали, болтали, смеялись, тормошили старуху и приставали к ней с вопросами, отчего она такая скучная.

— Вы на нас, maman, сердитесь!

И Наденька или Сонечка, сделавшая этот вопрос, чуть не расплакалась. Очень скоро они, впрочем, узнали о причинах грусти maman.

Предложение Сережи откупиться от Яши было, конечно, унизительно, недостойно, но зато совершенно практично. Когда Яша проспался и Сереже доложили об этом, он пошел к нему.

— Брат, скажи, пожалуйста, — кротко начал он, усаживаясь против него, — для чего ты это делаешь?

— Тебе поручено это узнать?

— Нет, я сам хочу знать это для себя.

— Ну, так погоди несколько дней, тогда все поймешь.

— Значит, ты будешь продолжать эти скандалы?

— А то как же? Зачем же я приехал?

— Так это у тебя план?

— А ты что же думал?

— Чего же ты хочешь добиться?

— Денег.

Сережа вздохнул свободно.

— Это мы устроим, — сказал он. — Но так, как ты хочешь это делать, — не годится.

— Почему?

— Помилуй, на что ж это похоже? Сестры, соседи.

Яша объявил, что на все и на всех ему наплевать. Если она не даст ему денег и теперь, после скандалов, он начнет с ней дело в опеке. Деньги наши, потому что получает их с нашего имения. Она их прячет и не дает, точно будто имеет на это какое право. Ты вот ухаживай за ней и увидишь, что она тебе осенью пятьсот рублей даст!..

Как благовоспитанный мальчик, Сережа, разумеется, был враг всяких скандалов, но, с другой стороны, был прав и Яша. Сережа очень скоро сообразил это и нашел, что «надо воспользоваться случаем», то есть поставить и решить вопрос о деньгах кстати уж разом. Он не утаил этого от Яши, и тот не только одобрил его, но предложил тут же выпить с ним и произвести дебош сообща.

— Нет, уж ты один, а я пойду к ней и поговорю.

— Сходи.

11

Сережа, придя к маменьке, сел возле нее, взял и поцеловал ее руку. Она взглянула на него и тут же спросила, что ему нужно.

— Вы, маменька, свободны теперь?

— Ну?

— Можно поговорить с вами?

— Говори.

Он не скрыл от нее, что поведение брата Яши его глубоко огорчает, что это, конечно, общее их семейное несчастье, что он у них вышел такой, но что же с этим делать? Он очень много думал об этом и, окончательно придя к убеждению, что с ним необходимо разделаться во что бы то ни стало, решился даже прямо спросить его обо всем этом.

— Мои предположения, — сказал он, — оправдались: ему, маменька, нужны деньги...

— И дай ему.

Он пожал плечами, вздохнул и сказал:

— Маменька, будем говорить серьезно. Яша уж совершеннолетний, он знает, что имение приносит доход...

Дальше, однако, старуха не дала ему говорить. С сокрушенным сердцем Сережа выслушал весь ее «бред» и так

и отъехал ни с чем. Вечером Яша опять устроил скандал. Вспомнил про Шампошкин барабан, ему отыскали его где-то на чердаке, и он заставил играть на нем своего денщика, поставив его у дверей маменькиной комнаты. Сестры, бывшие в это время у нее и утешавшие ее в несчастии, вышли к брату и со слезами начали упрашивать его снять блокаду и прекратить музыку. Но он остался непреклонен. Тогда старуха собрала последние силы, дрожащая, бледная, показалась в дверях и глухим, пересохлым голосом, грозя кулаком, простонала: «Проклинаю!..» У денщика, бившего в барабан, руки с палочками опустились, но Яша тут же дал ему «в зубы», и барабан опять затрещал, совершенно заглушая ее слова. Сухие губы что-то шептали, подергиваясь, но чтó она говорила — этого никто не слыхал. Сережа, прибежавший на эту сцену из кабинета, хотел было увести ее, но она оттолкнула его от себя и, шатаясь, пошла в глубь комнаты. Кто-то затворил дверь и запер ее на ключ изнутри. Сережа с Яшей остались в коридоре. Наконец Сереже удалось упросить брата велеть денщику прекратить играть. Володя с Васей не были дома: они уж второй день проводили где-то на охоте. Перед рассветом Яша, пивший всю ночь, опять начал бушевать, и опять затрещал барабан.

— Уж я ее изведу, — похвалился он. — Теперь уж все равно — заодно.

Сережа заперся в кабинете и, конечно, находил, что это черт знает что за скандал, но входил в положение и брата, человека уж совершеннолетнего и могущего получать полностью доход со своей части имения, оставленного всем им «покойным папенькой». Они не знали, что в это время и «маменька» тоже была уже «покойницей»...

Утро было пасмурное, накрапывал дождик. Не спавший почти всю ночь, Сережа только что задремал. Он проснулся от какого-то стука в кабинетную дверь. Проснулся и стал прислушиваться. Кто-то, слышно, рыдал.

— Кто это? — спросил он.

— Это я, — отвечала Каролина Карловна. — Маменька скончалась.

— Что? — переспросил он.

— Маменька скончалась.

Этого уж он никак не ожидал. Дрожащими руками отпер дверь, накинул что-то на себя и опять спросил ее.

— Сконча-а-лась, — всхлипывала она.

Он поспешил туда, в спальню. В коридоре стоял усталый, несчастный денщик и ослабевшими руками продолжал выбивать дробь на барабане. Он насилу мог заставить его замолчать.

— Не могу ослушаться.

Сережа уж силой отнял у него палочки.

— Где же Яков?

Яков лежал на диване мертвецки пьяный, и разбудить его не было никакой возможности. Сережа бросил его и пошел в спальню. Ему было страшно туда взойти. Но ведь не он же все это наделал — успокаивал он себя и взошел туда. Маменька лежала на своей кровати в чепчике. Остановившиеся стеклянные глаза смотрели в потолок, нижняя губа отвалилась. Лицо было темно, и по нем начинали выступать еще более темные пятна. Кругом рыдали сестры, горничные и женщины разного звания, все более и более собиравшиеся откуда-то и наполнявшие комнату.

Разумеется, ее похоронили «с подобающей честью». Яша спился окончательно, но, будучи скуп, доставшуюся ему часть сберег и не промотал. Сережа уж давно получил камер-юнкерство. Вася «служит в море», Володя — «на коне». Все они поженились «на благородных», кроме Яши, который женился «на девке». Наденька с Сонечкой вышли замуж. Понятно, у всех дети, которые и получают «приличное образование»...

II
КУКУШКА

1

Весной прошлого года, по обыкновению, я поехал в деревню. Я езжу туда как можно раньше: чуть сойдет снег — я и еду. По-моему, это самое хорошее, самое веселое время в деревне: все пробуждается, все оживает, все зеленеет, все верят и надеются... Весной меня тянет в деревню еще и другая причина — я страстный ружейный охотник. Как только начнутся здесь, в Петербурге, «теплые» дни, как только запахнет весной, я уж хожу сам не свой; знаю, что там, «у нас», теперь еще «теплее», что скоро в поле покажутся проталинки, а может, уж и показались, посинеет река. Еще день-два, и она зашумит, разольется. Кучками соберется на берегах народ, придут из села мужики, бабы, ребятишки, и долго-долго будут стоять они и смотреть на быстро плывущие льдины, на воду. Отчего она такая синяя? От снега ли, который еще лежит на берегах и так оттеняет ее, или это так, с непривычки?.. В это время, если прийти на берег попозже вечером, несмотря на шум воды, над головой, там, где-то вверху, то и дело будет слышно посвистыванье какое-то: это летают утки. Они летят всегда над водой, вдоль реки. В это время они очень строги, держатся все вместе и если садятся на воду, то только посреди реки: к берегу ни за что не подплывают. Недели через две-три, когда после нескольких уже действительно теплых дней пройдет крупный, сильный дождик и все зазеленеет, — они будут уж не так строги. В это время прилетит и соберется у нас и вся другая наша дичь: гуси, дупеля, бекасы, вальдшнепы

и т. д. В это время, говорят, запрещено охотиться. Но у нас все охотятся, и в том числе, разумеется, и я.

Я терпеть не могу ходить на охоту так, как ходят обыкновенно все, то есть часа на три, на четыре. Если я отправляюсь на охоту, то это значит — я ухожу из дому на месяц, на полтора даже. Мне случалось уходить пешком за несколько сот верст от дому. Идешь себе не спеша, без плана, без дороги, идешь куда глаза глядят: засинело что-то направо — повернул направо. Захотелось почему-то налево повернуть — идешь налево. Куда, для чего, когда домой? Все это вопросы, которые и в голову не приходят.

Я хожу, однако, не один: у меня есть спутник. Это преинтересная личность. Зовут его Яшка Бердеба. Что это за название, я и сам не знаю.

— Кто это тебя прозвал так?

— А кто их знает.

— Да что такое Бердеба?

— Бердеба?

— Да.

— Слово такое.

— Разумеется, слово, но что оно означает?

— Ничего не означает: так, Бердеба, да и только.

Теперь Бердеба уж старик. Ему теперь лет под шестьдесят; но очень еще старик крепкий, сухой, бодрый, хоть и седой. Лицо у него красное, рябое, глаза белые и как-то вертятся в разные стороны. Говорит обыкновенно тихо, но когда смеется, то этот смех очень напоминает лошадиное ржание. Одевается он так, как одеваются у нас мещане, то есть на голове картуз с блестящим козырьком, синяя поддевка, высокие, выше колен, сапоги. Волосы подстрижены в кружок. В левом ухе серебряная серьга (это помогает от грыжи). Давно, меня еще тогда на свете не было, Бердеба ездил форейтором, когда покойница бабушка куда-нибудь выезжала. Потом он постепенно прошел должности буфетчика, садовника, повара, сапожника, конюха, охотника-борзятника, и т. д., и т. д., пока, наконец, новое положение не выкинуло его в качестве дворового человека на волю. Дворовым, как известно, не полагалось и не полагается земли, нет наделов. Жить и наслаждаться благами свободы ему предстояло, следовательно, при помощи личного заработка. Но ведь это легко сказать,

а попробуйте на деле. Бывший дворовый все знал, то есть путем ничего не знал. То же самое следует сказать, конечно, и про Бердебу. Припомнил он все свои профессии, роли и амплуа и ни на чем не остановился. А жить самому и содержать еще семью — жену и двух детей — нужно. Чем и как он перебивался первый год «воли» — я не знаю. Весной следующего года я приехал в деревню. Случилось это событие, разумеется, весной, самой ранней, как раз в полую воду. День был отличный, и я пошел по берегу к селу. Дорогой навстречу мне попался с двумя застреленными утками в руках Бердеба.

— А-а! прилетели уж!

— Только вчера проявились.

Слово за слово, дальше да больше, рассказал он мне свое горькое житье-бытье, и рассказал как-то так покорно, без проклятий, без желчи, точно так и должно было произойти с ним.

— Охоту изволите завести?

— Какую? Собачью — нет. И дорого, да и не люблю я ее. А вот с ружьем буду ходить.

— Так-то поблагородней будет. С ружьем и наш брат может охотиться.

Я улыбнулся.

— Ну вот и давай с тобой ходить!

— А я с удовольствием. Это теперь, сударь, первое мое удовольствие. И вот, если бы позволили остаться на том же месте да огородишко оставили бы (по закону дворовые обязаны были сселяться через два года), так я бы, кажется, целый день помирал бы на охоте...

С следующего дня началась наша первая с ним экспедиция. Мы пропали из дома утром, на рассвете, и вернулись хотя вечером, но не в тот же день, а через неделю, если не больше. И с тех пор (этому пошел уже двадцатый год), когда я приезжаю весной в деревню и уезжаю оттуда глубокой осенью, почти дня не бывает, в который мы не виделись бы с Бердебой. Мы уходим иногда с ним черт знает в какую даль. Есть у нас лошадь, приспособленная к охоте, то есть самая простая, пегая мужичка, лошадь из крепких, которая привыкла к выстрелам и их не боится. Мы запрягаем ее в телегу, и она сама, без всякого кучера, едет за нами, если мы идем по дороге, стоит у болота, если мы взошли в него и стреляем. Преумная ло-

шадь. Она возит наш сундучок, дичь, овес себе. Возит иногда и нас с Бердебой. Багаж наш, разумеется, не ахти какой. Одна перемена белья на себе, другая в сундучке. По дороге в любом селе любая баба вымоет нам его за пятак. Питаемся мы, конечно, хорошо. Во-первых, дичь у нас своя, а не купленная, — ешь сколько хочешь. Ветчина, яйца, масло, молоко, курятина — тоже не редкость какая. Водочка и самоварчик в телеге. Чай, сахар, баранки, ножи, ложки, полотенце — в сундучке.

Устали, пришли в деревню.

— Чья будет? — спрашивает Бердеба.

— Мосоловская, — отвечает баба.

— А что, тетка, отдохнуть-то у вас можно где-нибудь тут?

— Отчего же. Вы из каких будете?

— Такой-то.

— Господа, али так?

— Так. Господа именинники будут, так послали птичек настрелять...

— Так, так. Вот и намедни тоже охотники приходили. Все этих носастых (дупеля, бекаса) стреляли.

И так славно, крепко уснешь после закусочки где-нибудь в холодке, под навесом или просто под деревом.

— Ах, Бердеба, и райское только житье у вас, — скажешь иногда.

— Ну, супротив столицы-то, конечно, не выдержит, а так — ничего, жить можно.

— Чем же столица-то лучше?

— Как чем? Там и царская фамилия и все такое. Министры...

— Министры!.. Какое же тебе дело до них?

— Все-таки... Посмотреть приятно...

Очень у него доброе, но и очень в то же время туманное миросозерцание. Читает он с трудом, но все-таки читает. Как все бывшие дворовые люди нашей полосы — страстный охотник и любитель собак и лошадей. Собаки и лошади — это все, что когда-то наполняло нашу помещичью жизнь. Дворовые «ходили» за ними, и если их секли, били в зубы и «брили им лбы» за собак и лошадей, тем не менее, однако ж, они страстно любили и тех и других. Одно время, когда дедушка скончался, а бабушка

уехала на житье в Москву, Бердеба был «на оброке». Это продолжалось года три, и все это время он занимался конокрадством. Однажды его поймали мужики (это было, разумеется, не в нашем уезде, ни один конокрад в своем селе и кругом не ворует) и так били, что выломали ему обе ноги и левую руку. Все это со временем, впрочем, зажило, хотя он и остался на всю жизнь косолапым.

— А сильно били?

— Известно: смертным боем бьют.

— Потом в острог?

— Нет, уж тогда нельзя. Изломают, да так в поле и бросят. Оживешь — твое счастье, нет — божья воля.

Но бабушка вернулась опять в деревню, вспомнила про Бердебу, и он опять занял какую-то по-прежнему мирную должность в ее штабе. Удивительный тип. Теперь он с каждым годом встречается все реже и реже. Пройдет еще лет десять, много двадцать, и из старых настоящих дворовых никого не останется. Они вызывают во мне какое-то мучительное, больное чувство. Их как-то совестишься даже. Не за себя — я не отведывал крепостных прелестей, а так просто совестно. Ведь знаешь, что и они и предки их предков «служили» дедушкам, дядюшкам, тетушкам, и проч., и проч., и вот за все это их теперь выгнали «на ветер», объявив им в утешение, должно быть, что они вольные.

— Вольны! И ветер вольный, да голый он.

— Работайте.

— Работал, а уж теперь и стан не гнется, и зубки последние повывалились. Тоже ведь немало всего на своем веку-то приняли.

Когда я буду писать третий том «Оскудения» — мужичье оскудение, очерки мужичьего разорения, много порасскажу о них. Это какие-то бог знает почему и за что всеми обиженные и забытые люди: они вынесли на себе в сто раз сильнейший гнет крепостного права сравнительно с мужиками, и их-то и забыли...

Но, однако, все это пока между прочим. Я заговорил о Бердебе, потому что в этих очерках читателю придется с ним встречаться еще не один раз; так вот, чтобы он знал, что за птица Бердеба, — я и познакомил с ним его.

2

Встали мы рано, чуть свет, умылись, подтянулись, закурили папироски, сели в телегу и по мягкой полевой дорожке, чуть-чуть просохшей от стаявшего снега, поехали туда в поле, к Горелой Окладине. С нее я всегда каждый год начинаю свои экскурсии.

— Обросла?

— Третьего дня был — еще не совсем обросла. Кусты-то зеленеют уж, подойти можно...

От «Горелой» к «Рыбной», от «Рыбной» к «Чистой», от «Чистой» к «Братской» — глядь, уж и верст двадцать от дому. Кое-что настреляно и лежит в телеге. Виднеется село.

— Это ведь Сосновка?

— Сосновка.

Смотрю я на давно и хорошо знакомую мне усадьбу — недалеко до нее, а никак не могу признать.

— Да где же сад?

— Зимой еще вырубили.

— А дом?

— Все продано. Только дом-то еще не ломали. Отсюда его не видать только, а он еще стоит.

— Кто же купил? Опять Подугольников?

— «Племянники» его купили.

— И землю?

— Нет, еще земля не продана...

— Что же там, в усадьбе-то, живет кто-нибудь?

— «Племянники».

Меня потянуло пойти туда и посмотреть, что теперь на этом знакомом месте растет и делается. Был полдень, во рту еще ничего у нас с самого утра не было; захотелось закусить, отдохнуть часок-другой, попить чайку. Еще далеко, почти за версту до усадьбы, немного в стороне от дороги, почти параллельно с ней, тянется мочежина, которая оканчивается прудом с мельницей и плотиной. Ваську мы пустили по дороге, а сами пошли бережком: может, что и попадется.

Не помню уж конечно, попались ли нам тут бекасы или дупеля, но помню, что когда мы подошли к плотине, навстречу нам «попались» на беговых дорожках два «молодца» в картузиках, в длиннополых мещанских «городских»

сюртуках, в атласных зеленых с разводами жилетах, с блестящими пуговками, худощавые, почтительные, со взглядом то острым и быстрым, то несколько задумчивым и меланхолическим. У всех «племянников» Подугольникова я заметил именно этот «взгляд». Когда они приготовляют к «ампутации» свою жертву, то есть ведут беседу с продавцом и рассказывают ему про «трудные» времена, у них всегда вот этот меланхолический взгляд; но он тотчас же заменяется быстрым, бегающим, как только дело сделано, то есть «карась пойман»...

«Племянники» ехали шагом, и, поравнявшись со мной, оба очень почтительно раскланялись.

— Эти и есть? — спросил я Бердебу.

— Самые.

Не успели мы пройти всю плотину, как они зачем-то опять повернули назад, догнали нас и поехали рядом. Мы с Бердебой шли пешком. Наконец они не выдержали. Тот, который правил, откашлялся, высморкался, обтер запачканные пальцы о подкладку сюртука и милым, любезным голосом обратился ко мне:

— Изволили охотой заниматься?

— Да-с, вот как видите.

— Пречудесное занятие-с, кто не боится.

— Чего ж тут бояться?

— Оно конечно-с. Одно обращение... Только дяденька Иван Федулыч не любят-с.

— Ах, значит, у вас здесь нельзя стрелять?

— Нет-с, не про то-с. Это сделайте ваше одолжение, а собственно в рассуждении нас «они» это так постановили, чтоб мы эфтим удовольствием не пользовались.

Когда кончилась плотина и дорога пошла на две стороны: одна на село, другая на усадьбу, племянник стал звать зайти к ним отдохнуть и чайку попить.

— Хоша дом и ломают сегодня, однако же флигель еще цел.

Есть очень странные чувства, и их очень трудно объяснить и назвать. Когда я, например, вижу разорение «наших» дворянских гнезд, меня всегда так и тянет смотреть эту картину. Это ужасно больное, томящее, ноющее чувство, но тем не менее я не в силах противиться ему и смотрю молча, весь поглощенный таким созерцанием...

— Ломают? — спросил я.

— Крышу уж сломали. Сейчас народ пообедает — стены начнут ломать.

Когда мы въехали на двор, картина разорения представилась действительно самая уж полная. Во-первых, вся усадьба была «голая», то есть ни одного деревца — все было уж вырублено. От громадного сада с вековыми липами, кленами, дубами ничего не осталось кроме пеньков, да и из них некоторые были уж выкопаны, вытащены и лежали корнями вверх, точно воздымая к небу длинные черные руки. Конюшни, овчарни, амбары, людские — все это было уж сломано, куда-то свезено. На том месте, где стояло все это, валялся мусор, гнилые щепки, битый кирпич, солома, бумажки... И, окруженный таким гарниром, на самой середине двора стоял обезглавленный дом. Крыша была снята, разобрана, стропила тоже сняты, так что над стенами изнутри комнат высились три безобразных кирпичных трубы. Рамы, двери — все уж было вынуто.

— А вот-с сюда, сюда пожалуйте. Ты, малый, «подверни»-ка лошадку-то сюда, к флигелю, — говорил «племянник», обращаясь к Бердебе.

Флигель, то есть изба в три комнаты, в которой прежде помещалась контора и жил конторщик с женой, была пощажена пока и оставлена «для приезда». Теперь там жили «племянники», производившие разорение гнезда. Мы подъехали и остановились. Бердеба отпряг Ваську, привязал к телеге, которую некуда было поставить и которая так и осталась тут же, у крыльца, засыпал лошади овса и закурил папиросу. Я тоже что-то закурил в ожидании закуски и сел на крыльце.

— Сейчас самоварчик поставят. Эй, тетенька, самовар скорей ставь, — командовал «племянник».

В дверях сеней, выходящих на крыльцо, показалась толстая, рыхлая баба лет сорока, с сонными глазами, в грязной розовой ситцевой рубашке и в синем, с цветами, тоже ситцевом сарафане.

— Еще рано... о-ох.

— Это, тетенька, не ваше дело-с; вы этих делов с вашим разумом не понимаете-с...

— Это ваша тетушка? — спросил я.

— Тетенькой приходится. То есть, изволите видеть, собственно-с, по правде говоря, из одной жалости ее держим. Она и теткой-то нам не настоящей приходится. У дяденьки Иван Федулыча был братец, пришел он чрез свое легкомыслие в упадок, потом начал пить-с и пил до самой своей смерти. Так вот это их супруга-с. Из жалости больше-с, а то какая же это работница!.. Тетенька, а вы поворачивайтесь. Тут не ваше место.

— Вы когда же прикажете начать ломать? — спросил я. — Мне хотелось посмотреть.

— Теперь, сейчас-с. Действительно, это презанятно-с. Крыс, мышей сколько. Крышу ломали, так и то на чердаке что́ этой дряни нашли.

— Что ж вы с этим домом будете делать, как сломаете его? В город перевезете и там поставите?

— Беспременно-с. Лес старый, бревна в стенах всё дубовые, совсем как железные. Они еще лет сто простоят. Такого леса теперь уж нет-с, за денежки не купишь.

Между тем Бердеба принес из нашего сундучка разных закусок, водочки, хлеба, салфетки, ножи, все это разложил и расставил, и мы принялись за еду.

— Вы не выпьете ли с нами рюмочку? — спросил я «племянников».

— Не употребляем-с. А вот насчет чая — это сколько угодно-с. Поверите ли, иной раз — конечно, не здесь, а в городе — раз сорок в день сходишь в трактир, потому при нашем деле без этого невозможно, а водки еще не разрешил.

— А какое же ваше занятие?

— Всем занимаемся. И яйцом и пшеном. Щетину, воск, также шкуры покупаем. Просо сеем; бакчи держим.

— Сады снимаете?

— Это было-с. Теперь уж какие же сады снимать, когда они почитай что у всех уж вырублены.

«Тетенька» принесла грязный, позеленелый самовар, чашки с отбитыми ручками, с щербатыми краями — все невозможно грязное, сальное, и поставила на стол. Бердеба все перемыл, перетер, заварил «своего» чая. Куда-то исчезавший другой «племянник» вернулся и тоже присел к нам и вступил в беседу. Мне, наконец, надоели они, и стало скучно. Я опять спросил, скоро ли начнут ломать дом.

— Сейчас, сейчас, — успокаивал «племянник». — С нашим народом, сами изволите знать, разве добром что поделаешь? Отпустил обедать — они у нас на своих харчах, — а они пообедали да небось дрыхнуть завалились.

Вскоре, однако, один за другим, по два, по три, начали собираться и приходить из деревни мужики. Пришло несколько человек и бывших дворовых. Я знал их раньше и теперь узнал, конечно. Вот этот был, помнится, доезжачим. Этот, кажется, садовник...

— Что они теперь делают?

— Да ничего-с. Самый пустой, я вам скажу, народ. Ни к какому делу не приучены: ни коммерции, ничего не знают. Так вот берешь на поденщину.

— Где же они живут?

— Тут же. Барин их не гонит, они и сидят на прежних местах. Да уж это теперь недолго. Как кто купит землю — сейчас и житью их конец. Нынче землица-то ведь, сами изволите знать, кусается. А ведь под ними-то десятин пять под всеми будет, а то и больше, пожалуй...

Бердеба, все время молча закусывавший и пивший чай, не выдержал и сказал:

— А тебе и чужого-то добра жаль? Завидущие ваши глаза.

— Чужого мне, милый человек, не жаль, а говорю я это по справедливости. Одно от них, от дворовых, помещикам только и было это разорение.

— А службы, по-твоему, никакой?

— Какая ж служба?

— Какая! Ты бы пожил в этой шкуре-то — понял бы. А то что придумал: разорение. Какое это такое разорение?

— Разорение известное какое. Помещики оттого и разорились, что дворню держали.

— Оттого, что вам поддались, вам доверились, а не от дворовых...

Спор стал принимать такую острую форму, что я счел за лучшее прекратить его. Бердеба заворчал и пошел куда-то за угол.

— Что ж, разве неправду я говорю, отчего господа помещики в упадок против прежнего пришли? — спросил меня «племянник».

— Много-с причин...

Собиравшийся народ толпился вокруг дома, некоторые входили в него, что-то там отдирали, потому что слышался треск; потом опять выходили.

— Кажется, народ уж собрался? Пойдемте туда, — сказал я.

— Пыльно будет. И потом ушибиться можно.

— Ничего.

Мне хотелось пройти по комнатам, посмотреть их в последний раз. Ведь я так часто когда-то бывал здесь. Помню, сюда нас, детей, свозили чуть не со всего уезда, и мы обучались танцам под руководством какого-то m-r Ришара или Гишара, теперь уж забыл. Я обошел весь дом. Потолка уж не было. Оттуда, сверху, смотрело ясное, голубое, веселее небо. Я уж давно, лет восемь, не был здесь, но обои на стенах были всё еще те же, знакомые... Начали, наконец, обдирать наружную тесовую обшивку. Народ полез на стены, начал разбирать бревна. Посыпалась глина, пакля. Надо было выходить...

— Извольте-ка посмотреть, — весело говорил мне «племянник», — какое дерево-то! — И он постукивал в действительно прекрасно сохранившиеся толстые дубовые бревна. — Железо-с, а не дерево.

— Ваше счастье. Выгодно купили.

Работа шла живо. Бревна одно за другим снимались с дома и, запыленные, валились на землю. Их откатывали и клали в ярусы.

— Вам кто же это все продал? Леонид Николаевич сам приезжал или поверенный какой?

— Поверенный-с. Они сами как малый ребенок теперь стали...

Кто-то из бывших дворовых узнал меня и подошел.

— Ну что? каково живете? — спросил я.

— Какое уж, сударь, житье нынче.

— Все прахом пошло?

— Изволите сами видеть. Этакое сокровище за двести рублей отдать.

— Да, «Кукушка» не отдала бы.

— Да и никто бы не отдал. Только одна земля теперь и осталась. Осенью, говорят, с аукциона и ее продавать будут: в трех руках заложена.

Я постоял, посмотрел еще с полчаса. Надо было, наконец, ехать, и я сказал Бердебе, чтоб он запрягал Ваську.

Когда все было готово и я, простившись с «племянниками», съезжал со двора, дом был почти уж разобран: на фундаменте оставались «венца» три-четыре, не более. Все кончено...

3

Сосновка, в усадьбе которой теперь вот так хозяйничают «племянники Подугольникова», прежде было большое помещичье село, принадлежавшее моему дяде, Сергею Павловичу Поваляшцеву. Если не ошибаюсь, в Сосновке было около тысячи душ крестьян и тысяч десять или двенадцать великолепнейшего чернозема. Уж на моей памяти там было тысяч пять десятин «ковылю», то есть настоящей степи, никогда не паханной. Такая никогда не паханная степь потому называется «ковылем», что ковыль-трава растет только на такой земле, которая никогда не была пахана: на залежах она не растет, так же точно как и клубника и еще две-три породы степных трав. Эта степь было целое море какое-то. Если въехать в середину ее и смотреть под ветер, особенно при закате солнца, так от ковыля она казалась совсем золотой. Лет двадцать пять назад, когда я был еще мальчиком и приезжал к дяде, прежде всего я просил, чтобы меня повезли смотреть «степь».

— Ты смотри, он у тебя поэт будет, — в шутку говорил дядя моей матушке, мечтавшей, конечно, видеть меня кирасиром, гусаром, но уж вовсе не поэтом.

— Ах, Сережа, это даже невежливо: приехал к деденьке и вместо того, чтобы посидеть с ним, поговорить, сейчас начинаешь приставать...

— Ничего; пускай съездит, посмотрит.

Мне запрягали беговые дрожки, на которых я и ехал смотреть степь, сопровождаемый кем-нибудь из дворовых.

Поэт из меня не вышел, но степь тем не менее нравилась мне тогда до того, что я часа по три, по четыре пробывал в ней, любуясь на действительно очаровательную картину.

— Изволили, сударь, налюбоваться?

— Погоди, Иван.

— Как бы маменька не стали гневаться. Небось теперь скоро уж и чай кушать пора.

Ему, провожатому, разумеется, было скучно сидеть на

дрожках и ждать, пока пройдет у барчонка блажь и захочется, наконец, домой. Когда мы ехали назад, я садился на дрожки позади Ивана или Семена спиной к его спине, лицом к степи, и мне, тогда нервному и впечатлительному мальчику, казалось, что не мы едем, а степь от нас медленно куда-то уходит, удаляется...

— Хорошо? — спрашивал меня по возвращении дядя.

— Хорошо!

— А вот ты, кажется, простудился? Дай-ка голову.

И матушка прикладывала мне руку ко лбу.

— Ну да, жар.

— Какой жар? Я совсем здоров.

— Ты бы его ватой обложила... — смеется дядя.

— Тебе смешно. Ты этого чувства не понимаешь.

— Что ж тут не понимать. Сделаете из мальчика, и без того слабого, уж окончательно больного.

— Ах, Наденька, не спорь, мой друг, с ним, — вступается сидящая тут же дядина «сестрица» Евпраксия Павловна. — Он «этого» чувства не понимает...

У «нас» был пруд большой, говорили — глубокий, но он весь зарос камышом, кугой, какими-то растениями, широкие листья которых плавали на его поверхности. В пруде было много карасей, линей, карпов и больше всего, кажется, лягушек. У дяди в Сосновке была река ясная, широкая, быстрая, с крутыми песчаными берегами, с белыми песчаными же отмелями. Перед домом, как раз на конце такой отмели, стояла купальня. Возле купальни, привязанные к сваям на воде, качались несколько лодок. У «нас» на пруде не было лодки, потому что ездить по пруду на лодке было невозможно, до того он зарос. То есть, собственно, лодка была, но она у берега наполовину затонула и так и догнивала в воде.

— Можно на лодке покататься?

— Отчего же. На то и лодка, — отвечает дядя. — Возьми с собой садовника Ефима, он тебя и покатает. Удочки возьми.

— Нет уж, ради бога! — в ужасе вскрикивает матушка, — еще утонет, пожалуй.

— Это что за глупости?

— Нет, пожалуйста.

— Да перестань, матушка, ведь он у тебя дурак дураком выйдет — всего бояться будет.

— Ну, пусть уж лучше и боится всего.

— Сергей, пойдем, если так, я сам с тобой поеду, — говорил выведенный, наконец, из терпения дядя, брал меня за руку и, не слушая никаких дальнейших рассуждений, вел меня к реке, мы садились с ним в лодку, он брал весла, сильно, ловко греб, и мы так и вылетали на самую середину реки. Тут он бросал весла, и лодку тихо-тихо несло по течению... А оттуда, из дому, с балкона смотрят на нас матушка и «тетенька» Евпраксия Павловна.

— Ты плавать не умеешь?

— Нет.

— А хочешь выучиться?

— Конечно.

— Ну так мы сейчас два дела разом сделаем: и плавать выучимся и их напугаем.

Я сидел, улыбался, и страшно мне было в то же время.

— Ну, снимай куртку.

— Для чего?

— Я тебя в воду брошу.

— Да ведь я не умею плавать.

— Учись... Снимай, снимай!

Нечего делать, я снял куртку.

— Вот здесь отмель. Тут тебе будет никак не больше как по горло. Утонуть ты, стало быть, не можешь, да и я здесь: если что — вытащу. Ты только не робей. Ну!

Он схватил меня поперек и, как котенка, швырнул в воду. Когда я вынырнул, весь мокрый, разумеется, и захлебывающийся водой, он протянул мне весло, я ухватился за него одной рукой и так проплыл сажени три-четыре. Но тут было уж глубоко, я не доставал ногами дна.

Я измучился и стал просить, чтобы он меня вытащил. Он вытащил.

— Хорошо? страшно?

— Хорошо.

— Ну, теперь поедем к берегу, домой. Тебе надо переодеться.

И матушка и «тетенька» были, разумеется, в ужасе от этого сюрприза, который они видели во всех подробностях с балкона. Меня, конечно, сейчас же повели переодеваться в сухое платье, в предупреждение простуды (дело было в самый полдень жаркого летнего дня), вытерли всего спир-

том и хотели, кажется, поить чем-то потогонным, и, вероятно, напоили бы, если бы не вмешательство дяди. Матушка даже рассердилась на него не на шутку.

— Я его больше никогда к тебе, Сергей Павлович, с собой брать не буду.

— Очень глупо будет.

— Ну, уж — глупо ли, умно ли — это мое дело. Это бог знает что. Ты так можешь испугать ребенка, и он на всю жизнь несчастным сделается.

Этому «ребенку», то есть мне, было тогда по крайней мере лет двенадцать.

4

Прежде, и не так еще давно, почти все помещики нашей губернии были коннозаводчиками. Это уж было каким-то исключением — помещик без конного завода и борзой охоты. Понятно, и у отца был завод и у дяди. У «нас», то есть у отца, завод был рысистый, у дяди верховой.

— Сергей, тебе который год? — спрашивает дядя.

— Двенадцать.

— И ты до сих пор не умеешь верхом ездить?

— Нет.

— А хочешь?

— Конечно, хочу...

— Ах, нет, ни за что, — вмешивается матушка. — Еще чтоб голову сломал — этого только недоставало.

— Почему же это он сломает? Все ездят — не ломают, а он как поедет, сейчас и сломает?

— Ну, сломает не сломает, а я прошу тебя, оставь, пожалуйста, эту затею: поступит в полк, тогда и выучится.

— Непременно в полк?

Матушка изумленно смотрит на него.

— А то куда же? Ведь он, кажется, дворянин. Фамилия...

— Ну, фамилию-то ты уж оставь: не к тому теперь время идет...

Тетенька Евпраксия Павловна (Кукушка) сидит, молчит и как-то улыбается, не разжимая губ. Ей кажется, должно быть, что это очень приятная улыбка!

— А к чему же, по-вашему? Это вы насчет эмансипации?

Тогда уж прошел отдаленный, глухой, крайне неопределенный слух о воле.

— А хоть бы и насчет эмансипации. Пора, кажется...

Тетенька вздыхает, матушка тоже. Дядя встряхивает головой и широко растопыренными пальцами зачесывает назад свои густые черно-седые волосы.

— Сергей, пойдем гулять...

— Только пожалуйста, чтобы он верхом не ездил.

— Да, братец, Наденька так беспокоится, — почему-то считает нужным и от себя вклеить «тетенька». И опять эта улыбка с сжатыми бледными губами.

— Гм! пойдем.

Так выучил он меня и плавать, и верхом ездить, и стрелять.

— Скажи пожалуйста, отец у тебя умный человек, образованный, почему же он не позволяет всего этого? Ведь твоя мамаша с тетенькой из тебя черт знает что сделают.

— Я не знаю почему, — отвечал я.

— Удивительно! Если ты попадешь не в гусары, а в гимназию, то там узнаешь одну очень умную латинскую пословицу «mens sana in corpore sano». По-русски это значит: «здоровая душа может быть только в здоровом теле». Во всяком случае ты запомни эту пословицу. Когда-нибудь потом вспомнишь меня и не раз скажешь спасибо.

Я запомнил и пословицу и дядин совет. Мне действительно не раз приходилось в жизни сказать ему за это спасибо. Железное надо было иметь здоровье и железную волю барчонку, выброшенному из барской холи и неги прямо в омут жизни, на «подножный корм»...

Сам он был олицетворением такого именно человека. Это был высокий, необыкновенно плотно и пропорционально сложенный мужчина. Я помню его уже с сильной проседью. И эти черно-седые волосы с пробором посредине удивительно как шли к нему. Темно-серые глаза смотрели или спокойно, или с едва заметной иронией. Говорил он очень мало. Почти не смеялся. Вот только глазами смеялся. Ходил он дома или в белой полотняной русской рубашке, или в красной кумачной; высокие сапоги, черные суконные штаны. Он никуда почти не ездил. Терпеть не мог, когда к нему приезжал кто из соседей.

Помню, я, бывало, все любовался на него.

— Что ты улыбаешься?

— Так, ничего. — Не сказать же, что я любуюсь.

— Ты меня любишь?

— Да, люблю...

И я его действительно горячо, фанатически любил. У детей всегда есть идеал. Большею частью у них такими идеалами бывают герои романов, исторические лица, вроде Киров, Александров Македонских, страшные разбойники, совершающие сказочные подвиги. Это все смотря по возрасту и по фантазии. У меня тоже, один за другим, было много таких обожаемых героев. Но живой, реальный — был только дядя...

Несколько лет назад, шатаясь с Бердебой по Рязанской губернии, я наткнулся на возвращавшуюся откуда-то по большой дороге плотничью артель. Рязанские плотники, как известно, одни из лучших мастеров своего дела. Они берут за работу дороже всех, живут хорошо. Народ — точно на подбор — всё молодцы, красавцы. В этой артели я увидел живой портрет дяди, как сохранился он в моей памяти. Мы с Бердебой подсели к ним (они «полдничали»), закурили и разговорились.

— А ведь похож? — спросил я Бердебу, указывая на сидевшего против меня мужика.

— На дяденьку?

— Ну, конечно.

— Копанный.

Мужик был действительно редкой красоты, степенный, важный. Кто-то из артели назвал его в разговоре по имени, и оказалось, что и его зовут так же, как и дядю, — Сергеем.

— И имя то же!

— Чудно, подумаешь, — заключил Бердеба.

Я порядочно рисую, и тут же карандашом сделал для себя набросок.

5

Выше я сказал, что Сосновка было огромное, богатое село. Дядя, владелец его, считался у нас одним из самых крупных помещиков не только в уезде, но и во всей губернии. Если бы он захотел, он, конечно, был бы бессменным предводителем, но он упорно и постоянно отказывался.

Он вел жизнь совершенно не похожую на ту, которою все тогда жили. Ни оргий, ни кутежей, ни карт, ни шатаний по полям и деревням с собачьими охотами. Ни в чем этом он не участвовал. Так же оригинально, не похоже на то, как у других, был устроен у него и дом. Сам он занимал три комнаты. Затем, все остальное было под библиотекой, токарной, столярной, резной. Тут же в доме был устроен зимний сад, тир для стрельбы, биллиард и еще какие-то гимнастические приспособления. Лакеев у него ни одного не было. Кушанья к обеду приносили и всё убирали в доме две женщины: Марьюшка и Дарьюшка, одна — жена садовника Ефима, другая — жена одного из токарей. В комнате, смежной с его спальней, жил громадный медведь Федя, необыкновенно добродушный. Оба, и дядя и медведь, рано ложились спать и рано, чуть свет, вставали. Если кто просыпал урочный час, того другой будил. Замечательно, что медведь этот, воспитанный дядей, отроду не пробовал мяса. Зимой он ел овсянку, хлеб; летом, когда наливался и поспевал в поле молодой овес, он ужасно любил его: возьмет в лапу горсть овсяного колоса и жует, сосет его. Медведь этот тоже был предметом немалых опасений и огорчений для матушки, когда она приезжала со мной к дяде.

— Пожалуйста, ты не беспокойся. Не сумасшедший же я, чтобы дикого зверя на народ выпускать. Уж если он живет здесь и никого никогда не тронул, — значит, может и дальше жить.

— Как это ты легко говоришь. Почем ты знаешь, что у него на уме?

— У кого? У медведя-то? Уверяю тебя, у него на уме гораздо меньше всяких гадостей, чем у людей. Сергей, пора спать, пойдем...

Я спал всегда вместе с ним. Придем, разденемся, ляжем.

— Сапоги поставь за дверь. Их тебе завтра вычистят. Ты сам, наверно, не умеешь?

— Нет.

— Очень скверно. Надо все уметь. Ну, спи с богом...

Сам я тогда, конечно, не понимал его отношений к мужикам, да эти отношения и не могли быть для меня, двенадцатилетнего мальчика, интересным и живым

вопросом. Я знаю о них из позднейших рассказов тех же мужиков, и наших и его дворовых. Много этих рассказов.

Наделов, например, не было у него. Всякий мужик мог пахать и засевать столько земли, сколько хотел и на какое количество у него хватало силы. Было только одно условие: чтобы не было работников-батраков наемных, а так сей и паши своими силами, при помощи своей семьи.

Лес тоже был к их услугам: руби сколько хочешь на постройки, только не на продажу. Всю оставшуюся от своих мужиков землю он сдавал внаймы соседним мужикам, только ни за что купцам и мещанам. У него точно предчувствие было, что со временем народятся из них все эти Колупаевы, Разуваевы. Ненавидел он их, мещан, купцов.

— И всякие воля́ были... — рассказывает старик какой-нибудь из дворовых. — Первые мужики были в губернии. Не избы — дома у всех были: с садами, не только с огородами. Пчельники у всех были. А лошадей таких — хоть бы на заводах найти.

— Любил его народ?

— Страсть как любил.

Он не вмешивался совершенно в их, то есть мужицкие, дела: они сами судились — свой суд был у них, сами назначали и сдавали кого хотели в рекруты — он был посторонний. Он зорко следил только за тем, чтобы не было народу какой обиды от станового, или исправника, или даже просто так от соседа како́го. Вообще из всех рассказов на эту тему мне совершенно ясно теперь и понятно, что ему хотелось, чтобы мужики привыкали править собой сами, и если он не отпускал их на волю, то это единственно потому, что он боялся, как бы они не сделались добычей всякой тли, начиная с волостного писаря и т. д. Тогда, отпустив их, он утрачивал власть и право оберегать их. Другого не могло быть объяснения. Он не пользовался от них ничем решительно. Дворня, то есть садовники, токари, столяры, кучера, конюхи и проч., жили тоже на каком-то особом положении. Если кто провинялся перед ним и он не хотел его простить, то такой человек из дворовых обращался в мужика, ему давалась изба, лошади, земля и т. д. Судился он судом мужиков, и тут уж какое решение ни постановляли, так и исполнялось.

— Три раза они и сами изволили этим же судом судиться...

— Это как же?

— А раз был такой случай. Заспорил он с мужиком Андрианом насчет роев пчелиных. Андриан с барского пчельника рои к себе на пчельник перехватывал. Ну вот и судились по этому делу. Все село тогда сбежалось смотреть...

Странный, оригинальный это был человек, но по тому времени во всяком случае это была несомненно светлая, гуманная личность. Я не художник, разумеется, и не могу живо и рельефно очертить его так, чтобы он представлялся читателю таким живым, как представляется он мне самому, но все-таки, кажется, ясно, что если бы тогда была хоть малейшая у нас общественная или политическая жизнь, он был бы не последним. Он не дожил до зари народной воли — до манифеста «Об улучшении быта помещичьих крестьян», когда у нас впервые явились право и возможность говорить хоть что-нибудь о положении и правах человека...

С моим отцом он был в хороших отношениях, но это были отношения чрезвычайно странные в то же время. Оба они были чуть ли не единственные грамотные люди в уезде, оба много читали газеты, журналы, какие тогда выходили. Оба были не крепостники, но общего между ними ничего не было.

6

Отец был человек совершенно другого закала и пошиба. Это был «европеец», как называл его в шутку, не без иронии, дядя. Для отца, например, было бы истинным страданием, если бы он не мог ежедневно менять тончайшее батистовое белье, если бы у него не хватило нюхательного французского табаку, сигар, лафиту, мадеры, французских газет и брошюр. В поле отец ездил не иначе как в коляске, четверней, в сопровождении целого штаба «начальников», то есть управляющего, бурмистра, старосты и проч. Эта кавалькада ехала по бокам экипажа и давала объяснения. Если он брал меня с собой, то сажал рядом, а напротив, на скамейке, сидел гувернер m-r Беке. Во всем была

какая-то торжественность, медленность, важность. Вся жизнь была точно одно какое-то непрерывное священнодействие, причем у каждого была строго определенная роль, малейшее нарушение которой считалось уж бог весть каким неприличием, чуть не скандалом, не преступлением. Я помню, например, как однажды он растерялся и пришел в крайнее смущение, когда после обеда, во время губернаторского визита, оказалось, что у нас и ликер и коньяк все вышли. Это было целое событие, тем более ужасное, что непоправимое, так как ни у кого из ближайших соседей нельзя было достать этих редкостей: «живут свиньями»... Тоже был тип интересный и хороший, но совершенно другой.

Повторяю, дядю он любил, но приезд его всегда как-то не то стеснял, не то шокировал его. Во всяком случае этот приезд нарушал церемонию жизненного священнодействия, а это было для него уж много. Но зато для меня эти его приезды к нам были желанными и радостными. Тут и m-r Беке, и Амалия Карловна, и обучавший меня истории, географии и русской грамматике Ардальон Васильевич Скворцов, брат нашего дьякона, оставляли меня совершенно в покое, даже куда-то исчезали, и я целый день слушал, сидел и любовался дядей.

— Хочешь, поедем ко мне?

— Поедем.

— У меня веселей?

— Не отпустят...

— Погоди, я, может, это устрою.

Меня, однако ж, ни разу к нему одного не пускали.

— Нет, ты, ради бога, не соглашайся, — говорила матушка отцу, когда узнавала о таком намерении дяди.

— Перестань, пожалуйста. Разве это возможно? Ребенка одного...

— Все равно и с m-r Беке нельзя.

— Никак нельзя. Нечего об этом и говорить.

«За что «они» его не любят?» — соображал и догадывался я и никак тогда не мог этого сообразить и понять.

Однажды, когда он, прогостив у нас, по обыкновению, дня три, собирался уезжать домой и лошади его уж стояли у крыльца, я вошел в кабинет, где и услыхал такой его разговор с отцом и матушкой.

— Прости «ее», ну, для детей... — говорил отец.

— Дети еще маленькие: они ничего не понимают. Им нужно только быть сытыми и здоровыми, а и то и другое — и накормит и за доктором пошлет — она. Воспитание ей я, разумеется, не доверю. Вот года через два сына я возьму от нее.

«Про какого это сына они говорят?» — мелькнуло у меня в голове.

Когда он уехал, я услыхал продолжение этого разговора и тут только в первый раз узнал, что он, то есть дядя, женат, что жена его чем-то виновата перед ним, что она в Петербурге, что он ей посылает много денег туда, что она несчастная, что у них двое детей, которые живут с нею там же, в Петербурге... Не знаю почему, но это открытие меня и ужасно заинтересовало и было в то же время неприятно.

— Отчего же она сюда не приедет? — спросил я.

— Кто? — как бы очнувшись, спросил отец.

— Дядина жена.

И отец и матушка тут только, кажется, заметили, что я слышал их разговор, нашли, должно быть, что этого не следовало быть, и, не давая мне никакого ответа на мой вопрос, куда-то послали, чуть ли не на прогулку и упражнение в немецком языке с Амалией Карловной. Вопрос тем не менее засел у меня в голове, и я никак не мог от него отделаться...

Недели две спустя к нам приехала гостить «тетенька» Евпраксия Павловна, кузина и закадычный друг матушки. Тогда еще Кукушкой ее не звали, а называли просто «барышней». Тоже как-то вечером я опять услыхал разговор на ту же тему, то есть о дядиной жене и детях.

— Ах, Наденька, ты не поверишь, чтó это за упрямый человек: кажется, уж ближе меня у него никого нет, а он со мной меньше чем с кем-нибудь об этом говорит. Конечно, я всё знаю, но что же я могу сделать?..

— Это ужасный скандал. Это надо так или иначе покончить. Какой пример детям? — говорил отец. — Ведь они всё понимать скоро будут.

— Леню он хочет на будущий год сюда взять.

— А который ему теперь год?

— Да уж девять.

— Куда он его хочет отдать?

— Никуда, говорит, не отдам, хочет дома готовить в университет.

— Точно нельзя отдать в лицей, в правоведение... С таким состоянием... Такая фамилия... Удивительно!..

— Евпраша, — спрашивает матушка, — ты с «ней» переписываешься?

— Очень редко.

— А он ей ничего не отвечает?

— Никогда. Он даже не читает ее писем.

Опять заметили мое неуместное присутствие при этом разговоре и меня опять куда-то выпроводили. Эта таинственность еще более разжигала мое любопытство и фантазию. Я решительно только и думал о дядиной «истории». На другой день, оставшись как-то вдвоем с сестрой, девочкой гораздо меня старше, я сделал ей такой вопрос:

— Соня, ты не знаешь про дядю Сережу?

— Что такое?

— Ты знаешь, ведь он женат, и у него дети.

— Знаю.

— Ты как же узнала?

— Слышала, говорили. Я давно знаю.

— Отчего же он ее сюда не пускает?

— Она неверная...

Сестра сказала это так серьезно и положительно, что, при всем моем любопытстве, я не решился спросить ее, что такое: «неверная», а сам я не знал, что значит это слово.

— И она живет в Петербурге, — продолжала Соня, — ее зовут Варвара Павловна. У них двое детей — мальчик и девочка... Мальчику девять лет, девочке — восемь. Мальчика зовут Леней, девочку — Женей... Ты разве этого не знал?

— Нет.

— Несчастные будут дети...

7

Усадьба в Сосновке была «просторная». Дом одной стороной окон смотрел на широкий, десятины в три, газон, другой — в тенистый, старый, вековой, роскошный сад. Таких липовых аллей, таких дубов и кленов и прежде я

нигде не видывал, а теперь, разумеется, и говорить нечего об этом. Направо и налево от дома, по сторонам поляны, тянулись кухни, кладовые, конторы, флигеля для «приезду», то есть помещения, в которых во время съездов в блаженное прошлое время ночевали собравшиеся гости. Таких флигелей было четыре, по два с каждой стороны.

— Съедутся, бывало, при дедушке-покойнике господа-то, да и живут по неделе. Днем, значит, в доме, в обществе между собой пребывают, а как откушают, отдыхать все сейчас во флигеля и потянутся. Поваляются этак там часочка три и опять в дом. А уж после ужина и совсем почивать туда все уйдут. Там и чай утром изволят кушать. Смех, шум... Веселье, сударь, было такое, что теперь и представить себе даже этого невозможно...

— Все так.

— Известно, если господь захочет...

— Нет, уж этому, милый друг, не бывать: не цвести цветам осенью...

Но это все было еще при «дедушке». При «дяденьке» же Сергей Павловиче флигеля стояли пустые, с заколоченными окнами. Только один из них был обитаем; в нем жила Кукушка, тетенька Евпраксия Павловна. Она, конечно, могла бы отлично устроиться и жить в доме вместе с братом, но она находила это почему-то для себя стеснительным и потому поселилась во флигеле.

— Этак, мой друг, нам обоим покойнее — и тебе и мне. И потом...

— Что такое: потом?

— Ты в разводе с женою... Человек ты еще молодой... я девица... мало ли что могут выдумать...

— Тьфу ты! Мерзости какие!

Он дальше не слушал: плевал и уходил.

— Вот и не нравится, — говорила про себя Кукушка и улыбалась бледными, крепко сжатыми губами.

— В самом деле, Евпраша, ты уж очень... — скажет ей, бывало, матушка. — Ну, разве это возможно?

— Ах, Наденька, не говори. Я девушка, и за меня никто не заступится. И потом... знаешь, мой друг, а я «его» все-таки боюсь... Все-таки он мужчина...

— Евпраша!

— Не спорь, не спорь, мой друг.

— Да разве это возможно?

— Все возможно. Несчастной сделаться разве долго... Конечно, я такого позора не перенесла бы...

Само собою разумеется, что все это она просто-напросто сама же выдумывала. Никакой опасности от брата никогда ей не предстояло, конечно, но уж такова была натура, что из нее непрерывно и неудержимо так и сочились всякие гнусные помыслы и поползновения...

Кукушка свила себе, как я сказал, гнездо во флигеле. Там было четыре комнаты, и все их она занимала. Это была не квартира, а именно гнездо какое-то. Там была ужасная теснота. Там стояли во всех комнатах сундуки, какие-то шкафы, этажерки, полочки, пяльцы. И все это было наставлено зря, без всякого толку, как попало. На полочках, этажерках, шкафах и столах стояла масса всяких вещей. И вещи, как и мебель, тоже были всё какие-то странные: пуншевая серебряная чаша, статуэтка Наполеона, портрет какого-то жеребца, чубук с громадным янтарем и т. д. Когда первый раз мне пришлось побывать у жида-закладчика, я невольно вспомнил про Кукушкино гнездо. Такая обстановка встречается только у закладчиков. И все это она натаскала себе из дома, от брата.

— Сережа, это тебе не нужно? — спрашивает она брата.

— Что такое?

— А вот, чубук? Ведь ты сигары куришь?..

— Не нужно, — рассмеется дядя. — А тебе разве нужно?

— Нет, так...

— Возьми, сделай одолжение...

И она стащит. Завтра или послезавтра спросит, не нужен ли ему какой-нибудь старый турецкий ятаган, уже лет сорок висевший на стене в кабинете.

— Что ж ты будешь с ним делать?

— Так...

— Возьми.

И она тащит к себе в гнездо ятаган.

— Фимка! (так звала она свою любимую горничную) пошла, принеси пыльное полотенце, вытри ятаган и потом сбегай за столяром. Чтоб гвозди с собой принес, надо будет нам его вот тут вбить... Да, тут будет хорошо...

Хоть редко, но все же брат заходил к ней.

— Духота у тебя какая здесь. Ты бы хоть окна приказывала отворять. Совсем как в кладовой какой у тебя: запах какой-то. Чем это?

— Не знаю, мой друг, это тебе так кажется.

— Какой кажется! А это у тебя откуда? — вдруг спросит он, увидев какую-нибудь новую подобную вещь.

— Ах, это Сонечкин муж мне подарил. Он говорил, что этим кинжалом один турок сорок русских заколол, а потом, когда его самого закололи, этот кинжал Сонечкину мужу достался.

— Ну, а тебе-то он зачем?

— Так...

Она лгала, что ей дарили. Она просто выпрашивала. Он знал это, и ему ужасно это не нравилось.

— Ты, Евпраша, извини меня, но ты бог знает что делаешь. Выпрашивать себе всякую дрянь, ни на что не нужную... Говорят об этом... смеются...

— Кто же это говорит?

— Все говорят.

— Это тебе так кажется...

8

Сосновку, то есть землю, дедушка-покойник завещал сыну, а дочери, то есть Кукушке, — деньги. Этих денег, говорят, ей досталось тысяч пятьдесят. Кроме этого ей же он оставил и какое-то небольшое имение в Владимирской губернии, где все мужики были на оброке. Всех их было душ около ста. Таким образом, она была вовсе не бесприданница какая, и я никак не мог допытаться, почему она не вышла замуж.

— Сватались женихи-то?

— Ни одного, сударь, не было. Вот извольте как угодно, верьте не верьте, а даже слуху не было, чтобы какой подумал посвататься.

— Почему ж это?

— А уж господь знает.

Антипатична она была, должно быть, и в молодости, но все же средства, хорошая фамилия. Так я и не добился ни от кого, почему она не вышла замуж.

— Тетушка, у вас есть ваш портрет, когда вы были еще молоденькой? — как-то спросил я ее однажды.

— Есть. А тебе зачем?

— Хотелось бы посмотреть.

Она вытащила откуда-то из комода маленький акварельный портрет в синей бархатной рамке и подала мне. Она была, должно быть, прехорошенькая. Вся такая какая-то миниатюрная, гладенькая: волосы гладко причесаны, и платье гладко в обтяжку сидит. Глаза добрые. На щечках ямочки. Вот только эта улыбка сжатых губ...

— Ну что, насмотрелся? Теперь и узнать нельзя.

— Ну, отчего же.

Я знал, что она будет довольна, если сказать, что она до сих пор еще хороша, и, разумеется, сказал это.

— А что же это я тебя не угощу ничем! Варенье у меня есть персиковое. Хочешь? Фимка!

Она тем не менее не была скрягой. Она была расчетлива, любила деньги, но любила и поесть хорошо, полакомиться, одеться. У нее был кошелек, расшитый бисером и весь наполненный разными новенькими монетами. Из этого кошелечка, когда я был еще ребенком, она несколько раз вынимала и дарила мне по новенькому золотому.

— Это ты береги: это я тебе на счастье. У самой у меня счастья нет, а рука у меня все-таки «легкая»...

У нас до сих пор еще живет в деревне одна дворовая женщина, Фиона. Эта Фиона — ровесница Кукушки и в дни своей молодости «ходила» за ней. Так вот она еще недавно мне как-то рассказывала, что рука у Кукушки была действительно не тяжелая.

— Изволят оне разгневаться и начнут ручками драться. Я-то была девка толстая, сырая — ничего оне мне поделать и не могут. Так уж всё больше, бывало, булавками. Возьмут в обе ручки по булавке, да и колят в спину, в грудь и во всякое место.

— А ты стоишь и молчишь?

— А что ж будешь делать?..

В этом отношении она была преизобретательная. Так, она придумала казнь индюками. Был у нее, как и у всех в то время, целый штаб разных горничных, кружевниц, вышивальщиц и проч. Провинится какая — сейчас ее она велит раздеть догола, руки и ноги связать и положить на землю. Потом покроют ее простыней, а сверх простыни

всю обсыпят рожью или пшеницей. Когда это все готово, пустят целое стадо индеек. Индейки клюют зерна, долбят носами и при этом щиплют тело сквозь простыню.

— И тебя, Фиона, клевали индюки?

— А то как же? Разве я была заповедная какая? И меня клевали...

— Ведь это же ужасная боль.

— А то разве легко? Кричишь благим матом. Ведь потом как развяжут да встанешь — вся в синяках... А то и до крови иной раз исщиплют. Носы-то у индюшек изволите знать сами какие: как гвозди. Как же не будет больно.

— А она при себе это делала?

— При себе-с. Девку положат на траву перед окнами, а сами сидят у себя в кресле и чай кушают...

— Дядя знал об этом?

— Нет. Как можно. Это оне прежде делали, когда диденька изволили жениться и в Петербурге жили. Это без них. А как потом приехали — всему этому конец положили...

Но она тоже не сразу уступила. Когда она увидала, что здесь, у брата в имении, ей заниматься этим нельзя, она собралась съездить «к себе», во Владимирское имение.

— Что ж ты там будешь делать? — спрашивал ее брат.

— Так, съезжу, посмотрю.

— Да там и смотреть нечего: ведь все мужики на оброке.

— А может, я их с оброка-то возьму да на барщину посажу.

— Ну, не советовал бы...

— Что ж, разве по-вашему их «распустить»?

Она действительно туда поехала, но вернулась, говорят, скоро. Оказалось, что там народ побойчей нашего, степного. Она съездила туда все-таки с пользой: удвоила оброк и собрала его года за два вперед.

— Зато уж, сударь, и страхов же мы набрались, — рассказывает Фиона, сопутствовавшая Кукушке в этой экспедиции. — Народ там не нашенский, избалованный, дерзкий. «Мы, говорят, с ней живо покончим. Она у нас долго не проколобродит: шею зараз свернем. Да и вам-то на орехи будет...» А мы чем виноваты?..

— Не свернули однако?

— Спасибо, скоро догадалась — уехала, а то беспременно ей свернули бы шею. Это, вот как перед богом, было бы. Потому народ дерзкий, избалованный, — и т. д., и т. д.

9

В Сосновке в барском дворе было два хозяйства, два дома. Кукушка жила особняком. У нее «все» было «свое». И корова, и куры, и гуси.

— Я никому не люблю быть в тягость.

— Да кому же, Евпраша, ты в тягость? — помню, бывало, отвечает ей матушка, — разве «он» тебе отказывал в чем?

— Не отказывал, а все-таки. Знаешь, мой друг, как-то покойнее, когда знаешь, что у тебя все «свое» есть. У меня есть: и сливочки и вареньице...

У нее были даже и лошади свои — целая тройка. Был тарантас, повозка, возок, еще что-то. Был и «свой» кучер — Андрюшка, красивый молодой малый с кудрявой головой и черненькими усиками. Лошадей она кормила точно на убой, как свиней. Пробегут верст пять, и все в мыле — до того «наели» сала. Андрюшку-кучера она одевала в шелковые рубашки, бархатные поддевки, шапки с павлиньими перьями.

— Вот и про Андрюшку тоже говорят.

— Что такое?

— А говорят, что будто бы он мой любовник.

— Евпраша! — бывало, так и всплеснет руками матушка, — ну как тебе не стыдно этакие мерзости повторять?

— Что ж я стану делать?

— Да плюнь на все это.

— Плюнь! это легко сказать...

— Где же ты это слышала?

— Я не говорю, что я слышала, а могут говорить...

— Евпраша, Евпраша!..

— Я девушка... Если бы у меня было кому заступиться...

Я не думаю, чтобы у нее с Андрюшкой было что-нибудь реальное по амурной части, но тем не менее какие-то нежные чувства она к нему питала.

— Отчего это, Андрюшка, ты сегодня не причесался? — спрашивает она, делая обзор всей запряжке перед тем, как сесть в тарантас.

— Спешил-с, некогда было.

— Глупенький...

Раз, помню, ехал я с ней куда-то, будучи еще мальчиком лет двенадцати, и дорогой что-то случилось: распряглась лошадь, колесо соскочило, одним словом — остановились. Андрюшка слез с козел и начал поправлять. Пока это делалось, она вынула из кармана леденцы (они всегда были при ней), взяла себе и дала мне. Когда Андрюшка все поправил и собирался садиться на козлы, она подозвала его к себе.

— Раскрой рот.

Андрюшка разинул.

— Держи! — и она сама своими ручками положила ему леденец в рот.

Андрюшка начал жевать.

— Глупенький. Разве леденцы жуют: их надо сосать. Так ты зубы можешь испортить. Покажи зубы.

Андрюшка оскалил зубы.

— Глупенький! Ну, на́ тебе еще: только не жуй, а соси...

Андрюшка — двадцатидвух — двадцатитрехлетний малый — вел себя действительно несколько странно, но я тем не менее стою на своем: «тетенька» его так только, баловала...

Она очень мало жила у себя дома. Родня у нас громадная, и она постоянно у кого-нибудь «гостила». Приедет и живет недели две-три, пока ей не надоест и пока не надоест всем сама. И где бы она ни гостила — все равно — непременно уж устроит ссору жены с мужем. Поссорит и уедет: точно дело сделала. Но главной и любимой темой всех ее жалоб и разговоров был ее брат. Она и ездила по родным-то чуть ли не главнейше для того, чтобы было с кем и где «критиковать» его. И в то же время как будто и любила она его. То есть как любила? Разве она могла кого любить? А так, что-то такое вроде чувства представлялось ей...

Она ездила не одна. С ней ездили всегда две горничные, Фимка и Фионка, вот о которой я говорил выше. Кроме того, одно время она возила с собой двух

воспитанниц — дочерей овдовевшего приходского дьякона. Это были поистине какие-то несчастные девицы: носастые, зеленые, угрявые, с холодными, вечно потными руками. Она их до того «загоняла» и «задергала», что у них и глаза-то сделались как у сумасшедших.

— Поправь платье, руки так не держи, встань, сядь, — и т. д. Несчастные поповны были у нее в такой переделке года два. Наконец одна вышла замуж, а другая убежала от нее где-то с дороги.

Как все старые девы, она была ханжа. Впрочем, и ханжой-то настоящей она не была, а так, делала больше один вид, что ханжит. Ездила и по монастырям, разумеется, по мужским.

Я не хочу сказать что-нибудь дурное, но почему это все такие девицы предпочитают для говенья и вообще для богомолья монастыри мужские и терпеть не могут женские?

Я помню, она все рассказывала про какого-то отца Амвросия.

— Ах, как он исповедует. Все, все, ну решительно все расспросит, ничего не упустит...

Однажды в этом монастыре, где такой удивительный исповедник, у нее вышла пренеприятная и довольно скандальная история. У отца Амвросия был служка Гриша. Этому Грише было тогда лет восемнадцать. Малый он был здоровый, красивый, и Кукушка начала и к нему питать такие же нежные материнские чувства, какие она питала к Андрюшке. Почему и за что — это никому не известно, но ночью монастырь однажды огласился ужасным криком. Сбежались монахи и увидали, что Андрюшка совсем почти ободрал Гришу. «Несчастный мальчик» был буквально истерзан: весь в крови, одежда в лохмотьях — ужас. Утром на другой день, не докончив говенья и не дождавшись удивительной исповеди у отца Амвросия, Кукушка уехала. После этого случая когда она ездила говеть к отцу Амвросию, то уж Андрюшку с собой не брала и ездила туда не на «своих», а на ямских... И Фимку и Фионку она, впрочем, с собой брала. И Фимка и Фионка ездили с ней туда охотно, хотя и рассказывали потом, что монахи такие там бесстыдники, ах какие бесстыдники!..

10

Я уж сказал где-то выше, что «у нас» в доме жизнь была устроена так, что казалось, что люди не просто живут, то есть едят, пьют, ходят, спят и проч., а священнодействуют. Казалось, что совершается беспрерывное служение, и притом не богу, не человеку, одним словом — не лицу, а какому-то культу, ясного представления о котором никто, впрочем, не имел. Служение происходило непрерывное и притом без всякого внешнего принуждения. Тем не менее, однако ж, все делалось как-то бессознательно, хотя и выходило довольно стройно. Говорю: бессознательно — потому что стоило лишь случиться какому-нибудь ничтожному обстоятельству, пустой помехе, чтобы служение тотчас же прервалось и все растерялись бы. Если бы все делали всё то, что они делали, сознательно, отдавая себе отчет в том, что они делают и для чего это они делают, — никакого такого замешательства, очевидно, не могло бы произойти и никогда не произошло бы. Был целый кодекс правил, условий, приличий, который все удивительно как изучили и все отступления от которого или его нарушения считали чуть не преступлением.

И всю эту тошноту отец устроил и завел спокойно, постепенно, не торопясь, не только без всяких мер строгости — просто не возвышая даже голоса.

Половина первого. В столовой лакеи накрывают стол к завтраку. В гостиной, комнате, смежной со столовой, сидит отец, сделавший прогулку по хозяйству, то есть побывавший в саду, в оранжереях, на конюшне, сидит и просматривает французские газеты, иллюстрации или так просто ничего не делает, сидит и разговаривает с матушкой. Вдруг он слышит стук тарелок, ножей, вилок.

— Никандр!

— Чего изволите?

— Что, братец, ты первый год служишь?

— Никак нет-с.

— Как же тебе не стыдно: собираешь ты на стол и стучишь.

— Виноват-с.

— Ведь это не в трактире...

Перед домом мимо окон бежит куда-то повар Василий. Отец сидит у окна за одним из таких вот занятий, как я сказал сейчас, увидал его и подзывает:

— Ты, братец, кажется, повар?

— Точно так-с.

— Ты готовишь кушанье?

— Точно так-с.

— Ты куда идешь?

— К ключнице, к Фионе Ивановне, за лавровым листом.

— Значит, готовишь кушанье?

Повар смотрит, молчит и недоумевает, к чему все это.

— Я говорю тебе: ты, значит, готовишь кушанье?

— Точно так-с.

— А когда повар готовит кушанье, он что должен иметь на голове?..

Василий догадывается, что ему, выходя из кухни за лавровым листом, не следовало снимать колпака и заменять его фуражкой, — догадывается, улыбается и сознается, что виноват...

— Это уж я тебе второй, кажется, раз замечаю. Ты посмотри на себя: в куртке, в переднике и... в картузе! Ну, на что ж это похоже?

— Виноват-с.

— Пожалуйста, братец, чтоб этого не было... ступай.

В первый день весны, то есть первого марта, к обеду всегда в первый раз подавались свежие огурцы. Уж я, право, не знаю, где их возращали: в парниках или в оранжереях, но только раз навсегда было решено, чтобы первого марта были огурцы, и они действительно всегда в этот день подавались. Но вот однажды накануне этого дня, вечером, при «докладе» (о, что это за прелесть было эти вечерние доклады!) старший садовник Яков с глубоко сокрушенным сердцем объявил, что завтра к столу огурцов нельзя будет подать, потому что они вот «эфтакие еще», и он при этом показал пальцами правой руки на конец мизинца левой. Я очень хорошо помню, что это было целое событие. И это было событием не потому, чтобы отец или мать, вообще чтобы кто-нибудь уж бог знает как любили огурцы и ждали не дождались бы полакомиться ими, нет, а просто потому, что как же это так: заведено, что первого марта подаются к столу первый

раз огурцы, а вот теперь вдруг почему-то их не будет... И весь этот вечер и весь следующий день только и было разговоров, что об огурцах. Отец, в виду важности события, утром сам ходил в оранжерею, чтобы на месте все узнать и, если возможно, предотвратить беду, но это оказалось невозможным.

И эта чепуха казалась таким важным и неприятным делом не одному ему, а всем. В этот день вся прислуга ходила в каком-то смущении: точно все чувствовали более или менее себя виноватыми. Матушка тоже, разумеется, разделяла общее настроение: сидела с серьезной миной и время от времени вздыхала... Даже на нас, детях, и то отразилось: я помню, мы всё переглядывались с сестрой...

И таких удивительных результатов, повторяю, он достиг не мерами строгости, а единственно постоянством в придавании всякому вздору важного значения. Теперь, припоминая это, я никак не могу сказать, чтобы при этом проявлялось какое-нибудь фарисейство, притворство. Нет, все были искренно проникнуты серьезностью и важностью совершающегося священнодействия и на нарушение, на прервание его смотрели чуть ли как не на святотатство. Это было просто какое-то повальное оглупение. От долгой привычки заниматься и интересоваться пустяками люди действительно ведь глупеют. Я очень много раз наблюдал это. У меня между товарищами, считавшимися, я помню, в университете очень неглупыми людьми и действительно ими бывшими, есть несколько именно таких. Поступили они потом в сенат, в департаменты и от долгой канцелярской работы сделались такими какими-то странными... И смысл, и понятия, и вообще всю жизнь можно, при постоянстве упражнения, удивительно как извратить...

Само собою разумеется, что и «мы», то есть дети и наши гувернантки и гувернеры, тоже принимали участие в общем священнодействии. Представление начиналось с утра, с восьми часов. Надо заметить, что за мной до тринадцати лет «ходила» нянька, которая буквально раздевала и одевала меня: я только повертывался, поднимал «ножки», «руки» и т. д. Сестра, девочка годом меня старше, воспитывалась, разумеется, точно так же. У ней была нянька Марина Федотовна, у меня — Пелагея

Ивановна. Они обе следовали всюду за нами, носили наши носовые платочки, «пальтончики», косыночки и проч. От нечего делать они ссорились и были постоянно в огорчении друг на друга. Кажется, желая показать, что они ходят за равно любимыми детьми и что заслуги их одинаково ценятся, — их одевали в совершенно одинаковые платья. Прогулки наши в саду и по парку происходили так: впереди идем мы с сестрой и разговариваем на «дежурном языке», то есть сегодня по-немецки, завтра по-французски, послезавтра по-английски и потом опять очередь немецкого и т. д. За нами идет «дежурного языка» гувернантка, которая дает нам тему для разговоров и поправляет неправильное произношение слов и конструкцию оборотов. За гувернанткой — Марина Федотовна и Пелагея Ивановна в ряд. За ними на всякий случай для охраны лакей Никандр в ливрее.

Разговоры велись при этом приблизительно такого рода:

— Дети, вы видите, вон там летает эта бабочка.

— Видим, — отвечаем мы.

— Не правда ли, как она прекрасна?

— Прекрасна!

— А знаете ли, отчего она так блестит всеми цветами?

— От цветочной пыли! Она садится на цветы и окрашивает себе крылья.

— Я вижу, что вы помните мои объяснения, которые я вам делала прошлый раз, и это делает вам величайшую честь. Надо всегда слушать и запоминать, что говорят и объясняют вам ваши наставники и наставницы, — и т. д., и т. д.

Но это еще хорошо, если речь заводилась о порхающей бабочке; бывало хуже. Англичанка выбирала темы всё какие-то отвлеченные религиозно-нравственные. Эта вообще вертелась все вокруг священной истории.

— Дети! Почему бог приказал вам любить ваших родителей и наставников?

Мы молчим.

— Сережа, он тебе приказывал? — шепотом спрашивает сестра.

Я, разумеется, улыбаюсь:

— Перестань, она услышит.

— Дети, вы что говорите? Вы, я вижу, не можете сами мне отвечать на мой вопрос — я вам помогу: он приказал вам любить ваших родителей и наставников, оттого что вы всего дороже для них, что они больше всех за вас страдают, о вас пекутся, — и проч., и проч.

Когда, наконец, мне исполнилось тринадцать лет, было решено няньку Пелагею Ивановну заменить дядькой Андреем Трифоновичем, стариком лет пятидесяти, бывшим буфетчиком, бывшим музыкантом, бывшим камердинером и т. д., постепенно прошедшим все дворовые амплуа. Около этого же времени был выписан из Москвы француз гувернер m-r Бонбонель. Бонбонель был франт, имел осанку необыкновенно представительную, даже гордую, хотя в то же время был отчаянный танцор, гимнаст, фокусник и декламатор. Он отлично ездил верхом и стрелял из пистолета. Все это он проделывал с серьезным видом, придавая всему этому серьезное и важное значение.

Так как до тринадцати лет я рос исключительно в кругу женщин, то, весьма понятно, я и усвоил себе и женские манеры и застенчивость. Я гораздо лучше сестры вышивал по канве, рисовал, вязал крючком, шил бисером, и проч., и проч. Вообще я совершенно обратился в девчонку. Мне кажется, поэтому, что m-r Бонбонель был выписан главнейше для того, чтобы придать мне следуемое мне по рождению мужество и вообще молодцеватый характер и вид. Он начал с того, что стал осмеивать мое любимейшее занятие — вышивание гарусом туфель. Тормошил меня ужасно, заставлял прыгать и проч.

Он хотел, кажется, тут же сразу начать учить меня и верховой езде, и плаванию, и стрелянию, но этот порыв его очень скоро и весьма категорично отец осадил, объявив, что для всего этого я еще слишком мал. Таким образом, для придания мне мужественности в распоряжении Бонбонеля остались два средства: декламация с ужаснейшей жестикуляцией и театральными позами и гимнастика. Началось заучивание Расина, Корнеля и проч. вперемежку с лазаньем на столб, исполинскими шагами и т. д.

Мы обедали ровно в шесть часов. За несколько минут до шести я с Бонбонелем и сестра с дежурной гувернанткой из разных дверей входили в гостиную. Если не было никого из гостей-соседей, то Бонбонель подходил

к матушке, женщине с томным взглядом, розовыми щеками, роскошным бюстом и пухлыми руками, на которых позади каждого пальца было по ямочке, предлагал ей свою молодцевато согнутую руку, и шествие направлялось в столовую. Почти одновременно входил туда и отец из кабинета, сопровождаемый кем-нибудь непременно из соседей. Возле меня сидел Бонбонель. Сестра сидела окруженная гувернантками. «Мы» вели разговор на дежурном языке вышеприведенного содержания, в котором принимали участие матушка, Кукушка (она очень часто у нас гостила) и прочие дамы. Отец на другом конце стола с необыкновенной важностью и торжественностью вел разговор о какой-нибудь государственной чепухе. Он был лично знаком с Ермоловым, с графами Киселевым, Чернышевым и еще с кем-то. Я уж не знаю, они ли ему писали или из другого какого источника он получал сведения о тогдашних государственных тайнах, сводившихся, впрочем, непременно к какому-нибудь анекдоту или остроте князя Меншикова; но факт тот, что эти все государственные тайны и намерения трактовались с удивительным апломбом. Если при этом присутствовали соседи «средней» руки — я не говорю уж про мелочь, — то они слушали эти рассказы о государственной чепухе чуть не с открытыми ртами.

За обедом ежедневно после жаркого подавалось шампанское. Лакей, как-то запеленав бутылку и держащую ее руку салфеткой, разливал вино в длинные высокие бокалы, стоявшие перед каждым прибором, и при этом на лице у него было написано сознание торжественности совершаемого им акта. Вино, однако, подавалось теплое, пенилось, шипело, и, таким образом, одной бутылки было достаточно «персон» на двадцать. Почти всегда в это время Бонбонель вставал и, для чего-то держа в руках бокал с двумя-тремя глотками вина на дне, что-нибудь декламировал.

В это время воцарялась тишина, которая и длилась, пока он не кончал свою декламацию, то есть, правильнее, когда это, наконец, надоедало отцу, и он, легонько аплодируя, скороговоркой говорил: «браво, браво, браво...» Бонбонель садился, встряхивал головой и раскланивался во все стороны в ответ на поздравление. Подавали сладкое какой-нибудь удивительной архитектуры, потом, на-

конец, все вставали и шли на террасу, что выходит в сад, где и подавался кофе, чай, ликеры, фрукты и проч. Тут разговор о государственно-политической чепухе уже не возобновлялся: тут речь шла уж исключительно о лошадях. Впрочем, дамы и мы, дети, скоро уходили с террасы, спускались по ступенькам и разбредались по саду. В это время Бонбонель, с цветком в бутоньерке, являл мне для подражания пример ловкого и мужественного кавалера. Дамы и девицы были от него в восторге. Вскоре, впрочем, оказалось, что он в не меньший восторг приводит и горничных... Обнаружение этого обстоятельства, разумеется, вызвало ужасное замешательство в течение священнодействия, все спутало и, мало того, было ужасно еще как прецедент...

О причине внезапного удаления от нас Бонбонеля я узнал, конечно, уж позже. Тогда я видел только какое-то общее необычайное смущение, беспокойные взгляды, таинственные намеки, шептание, удвоенную торжественность отцовской осанки, взглядов и манер. Матушка, по обыкновению, пришла в состояние раскисания и чаще обыкновенного вздыхала из глубины души, а глаза имела более обыкновенного томные...

Не менее удивительны были и отношения к мужикам. Мне кажется, что отец просто понятия не имел об их быте, несмотря на то, что он в то время уж безвыездно лет десять жил в деревне. Я знаю однако, что всякие наказания были уничтожены им. Ни управляющий, ни бурмистр, ни староста, вообще никто не смел их бить, сечь и проч. О штрафах тогда никто понятия не имел (это изобретение позднейшее). Как он с ними управлялся — я решительно не знаю. Впоследствии, расспрашивая дворовых и стариков-мужиков, я все-таки ничего об этом не добился.

— Народ-то, что греха таить, распущен был страсть как.

— Все ж таки ведь все шло, работали.

— Конечно, работали...

В свои именины и в именины матушки перед домом, на лугу, устраивались «народные гулянья», то есть выставлялись бочки с водкой, с медом, квасом, пироги, орехи, пряники. Выстраивали качели и невдалеке, тут же, перед качелями, — какую-то площадку. На этой площадке

стояли стулья и два кресла. В креслах помещался отец с матушкой, а на стульях мы, то есть дети и штаб наш. Я помню, что мы с сестрой раздавали бабам и мужикам кушаки, платки, шляпы, ленты и проч. С особенно почтенными седыми стариками отец беседовал, спрашивал об урожае, о их семействах и т. п. Просидев так около часу и прослушав несколько хором спетых песен, мы все садились в карету или коляску и ехали домой (сажен сто). И все это происходило ведь не бог знает когда — это все было в самую Крымскую войну, значит накануне почти реформы 19-го февраля. Кроме постоялых дворов, куда поневоле приходилось входить в ожидании, пока перепрягут лошадей, он, кажется, ни разу не был ни в одной крестьянской избе. О нас, то есть о детях, в этом отношении, разумеется, тут и говорить нечего. Повторяю, добрые были отношения, но какие-то в то же время удивительные, непостижимые...

Меня поэтому нисколько не удивляет, что принцы, воспитание которых еще более удивительное, делаясь взрослыми, иногда имеют весьма превратные понятия о народных нуждах, и через это у них выходят нередко печальные недоразумения. Счастлив тот принц, который по окончании курса наук, будучи отпущен родителями в путешествие, воспользуется сим случаем, чтобы личными наблюдениями пополнить свои познания о народе... Лучшим примером в этом случае может служить Георг, милорд английский. Сколько он вынес страданий и опасностей, прежде чем наконец, изучив жизнь, справился с нею...

Я имею право сказать все это потому, что, если бы не реформа 19-го февраля, я сам был бы в некотором роде владетельной персоной, и потому я понимаю, какую опасность готовили мне родители, давая воспитание как бы настоящему принцу. Реформа 19-го февраля спасла несколько сот душ крестьян от моего управления — они в прямом от этого выигрыше; но я, воспитанный à la принц, долго промаялся, прежде чем кое-как сумел и успел стать на ноги: жизнь надавала мне много подзатыльников за шутовское к ней отношение...

Однако все это гораздо более достойно сожаления, чем осуждения и смеха, ибо нельзя даже допустить самую мысль о том, чтобы родители не желали счастья своим детям. Всему виною, конечно, господство ложной системы

воспитания, неудачный выбор наставников и наставниц, и т. д., и т. д...

Но пока что́ и как, а торжественное священнодействие, совершавшееся у нас в доме под названием жизни, на время смущенное историей Бонбоneля, мало-помалу опять вошло в свою колею, и казалось, теперь уж ничто его не смутит и не потревожит. Неудачный выбор первого и единственного моего гувернера заставил, кажется, родителей прийти к тому решению, что мужественный и молодцеватый вид я получу уж не дома, а там — в лицее или правоведении. Теперь же началось нечто среднее. Раздевал и одевал меня дядька Андрей Трифонович, заместивший Пелагею Ивановну; дальнейшее же наблюдение за мной было вновь возложено на трех гувернанток. Опять я мог, не вызывая ничьих насмешек, целые часы, чуть не дни, сидеть и вышивать туфли, подушки и проч.

Но тут вскоре случилось одно происшествие, совершенно для всех неожиданное, которое опять нарушило торжественное течение дней в нашем доме, и с этих пор, сколько я помню, все пошло как-то не так спокойно, величественно и торжественно.

Это было осенью, так, должно быть, в сентябре, не позже. День был дождливый, нас, разумеется, гулять не пускали, и потому было как-то еще скучнее. Часов в десять мы отпили вечерний чай и, пожелав родителям покойной ночи, отправились каждый в свою детскую. Я, сопровождаемый Андреем Трифоновичем, — в свою, сестра с Мариной Федотовной и дежурной гувернанткой — в свою. Я очень хорошо помню, что, когда еще мы только прощались с родителями, в комнатах, ближайших к передней, слышалось какое-то движение, голоса. Было очевидно, что кто-то приехал. Утром все это объяснилось.

— А к нам тетенька приехала... с братцем, с сестрицей вашей, — сообщил мне Андрей Трифонович, надевая на меня «чулочки» или «панталончики».

— Какая тетушка?

Кроме Кукушки я не знал другой тетеньки.

— Тетенька Варвара Павловна, Сергей Павловича супруга, с детками.

— Где ж они?

— А они изволят еще почивать. Они изволили поздно лечь. Изволили ужинать и потом еще долго сидели.

Когда я был, наконец, умыт, одет, одним словом, приведен дядькой в надлежащий вид, он проводил меня к гувернантке. Сестра была тоже уж готова.

— Соня, ты слышала, кто к нам приехал? — спросил я.

— Слышала.

— Ты их видела?

— Нет, они в угольной. Еще спят.

Обыкновенно в девять часов мы шли, предводительствуемые гувернанткой, в столовую, где заставали за самоваром матушку. Здоровались, желали доброго утра, садились и пили молоко. И сегодня мы пошли туда, но уж не через угольную, двери которой были заперты, а через другую комнату. Когда мы сидели и пили наше молоко, в угольной послышались голоса, кто-то ходил там. Очевидно, там проснулись и теперь одеваются, скоро тоже выйдут к чаю. Гувернантка как-то таинственно спросила матушку, как мы должны здороваться с приехавшей тетенькой, нами еще не виданной, то есть подходить ли к ручке или нет. Вопрос, я помню, настолько был важен, что матушка решение его не взяла на свою ответственность и сказала, что об этом надо будет спросить у отца. Когда он пришел, мы услыхали такой разговор:

— Все-таки она им тетка...

— Да, мой друг, но...

— Это, мой друг, как ты хочешь...

— Оно, конечно... но эти дети. Что из них выйдет?

Было нам объявлено, что мы к «ней» должны подойти — я шаркнуть ножкой, а Соня присесть — и поцеловать у нее руку в то время, когда она нас будет целовать.

— Только вы, пожалуйста, не кидайтесь, а просто встаньте и подойдите, — сказал отец...

11

Когда, таким образом, церемониал встречи «новой» тетеньки был родителями утвержден и сообщен нам для руководства и к исполнению, гувернантка «дежурного языка», немка Амалия Карловна, сделала нам с сестрой некоторые циркулярные к нему объяснения.

— Вы, Сережа, когда будете «шаркать ножкой», не смотрите вниз, на ноги, как вы всегда это делаете, а сделайте так, как, помните, это делал m-r Бонбонель. Головку надо несколько назад откинуть...

Нечто подобное она сказала и Соне. Но мы ее не слушали. Мы пили наше молоко и всё посматривали на ту дверь, которая вот-вот должна была сейчас отвориться и в ней показаться «тетенька».

Я так-таки до сих пор еще не знал, что значит: «неверная». Я совсем было забыл об этом слове, но теперь оно вновь вспомнилось мне, и я никак не мог от него отделаться.

Наконец дверь отворилась, и мы увидали высокую, необыкновенно стройную женщину, одетую в такое черное платье, которое хотя не было монашеским, но удивительно его напоминало: монашенки к нам заезжали нередко, и я достаточно присмотрелся к ним. Все на ней было черное. Только воротнички и рукавчики белые, такие блестящие. Даже на голове у ней было что-то черное кружевное. Она на мгновение остановилась, как бы не решаясь идти далее, но сейчас же оправилась и крупными шагами приблизилась к столу. Она вела за руки двух своих детей. Сестра сидела на конце стола, ближе всех к ней, и она прямо подошла и, прежде чем та успела встать и начать делать книксен, как было назначено у нас в церемониале, она вдруг совершенно для всех нас неожиданно опустилась перед ней на колени и, как-то ломая руки и поднимая их вверх, подобно тому, как изображают это на картинах кораблекрушения, начала что-то скоро и прерывисто говорить. Сцена вышла и неожиданная и эффектная до такой степени, что и мать, и отец, и Амалия Карловна, одним словом — все, повскакали со своих мест и обступили ее. О каком-либо приблизительном даже исполнении церемониала, понятно, тут не могло быть даже и речи.

— Молю, молю... тебя, невинный ангел... У них тоже есть отец... Возврати им отца... Проси твоих родителей. Ты, крошка... — расслышал я и ничего не понял.

Сестра перепугалась и начала плакать. «Ее» дети тоже подняли рев. Матушка, отличавшаяся замечательной нежностью чувств и способностью плакать сколько угодно и делавшая это с каким-то даже наслаждением — она *лю-*

била плакать, — тоже прослезилась. Про Амалию Карловну и говорить нечего: эта плакала о чем угодно и сколько угодно: сломает стул — и об этом плачет; ошибется и не так вышьет цветок на подушке — плачет. К удивлению, почему-то я не расплакался, хотя подобно всем им упражнялся в этом то и дело. Я как сидел, так и остался на своем месте. Даже не встал. Я просто растерялся, и должно быть, не понял в чем дело. Чтобы плакать, надо все-таки ведь вдохновиться каким ни на есть мотивом, а я никакого не знал, то есть не понял, не уяснил себе того, что слышал. Отец от этой сцены растерялся окончательно. Он то говорил что-то матушке, то старался поднять с пола «тетеньку», то оттаскивал детей, но ничто не помогало: матушка слезилась, «тетенька» истерически рыдала, дети орали во все горло, и как-то совсем не так, как мы. Правильнее, они не плакали, а издавали какие-то вопли и, подобно «тетеньке», воздевали при этом руки к небу. Сцена до такой степени врезалась мне в память, что я, когда бываю в театре и вижу там нечто подобное, всегда непременно ее вспоминаю...

Во всяком случае, скандал вышел полный, громкий, неожиданный, с свидетелями, потому что на этот рев и вопли сбежалась прислуга. Приносили и подавали воду, одеколон, спирт и проч. И это продолжалось долго, около получаса. Наконец вопли стали утихать, рыдания «тетеньки» тоже. Отцу при помощи нянек удалось ее поднять с пола и усадить в кресло. Как только острый период скандала прошел и стало очевидно, что дальше пойдут вариации на ту же тему, отец поспешил сказать Амалии Карловне, чтобы она нас, то есть меня с сестрой и вновь обретенных нами кузена с кузиной, увела прочь. Все еще всхлипывая и рыдая, она собрала нас и повела в сад. И кузен и кузина моментально оправились, и когда мы спускались с балкона в сад, они уже резвились, смеялись и даже шалили, прыгая вниз через ступеньку...

Этот переход от воплей и рыданий к самому веселому настроению и даже дурачествам, помню, поразил меня, несмотря на то, что я и сам еще был тогда ребенок: мне было тогда никак не больше двенадцати лет. Притворный и искусственный характер всей этой истории был для

меня очевиден и так противен, что меня сразу оттолкнуло от моих новых родственников.

И кузен и кузина очень бойко говорили и по-французски и по-английски, но они были крайне плохо воспитаны. Они говорили бог знает что. Кузен, несмотря на то, что он был гость, а я у себя дома, положительно завертел меня. И потом он говорил такие сальности. Я краснел чуть не от каждой его фразы. Когда мы шли по какой-то аллее, нам навстречу попалась горничная наша Даша.

— Ах, какая прелесть. Жаль только, что блондинка. Ты каких больше любишь — блондинок или брюнеток? — вдруг спросил он меня, и притом так спокойно, развязно...

Я, конечно, покраснел, но он не унимался и продолжал делать мне расспросы и рассказывать сам все в том же роде.

— Ты в Петербурге не бывал ни разу?

— Нет.

— И в Москве? Ну, Москва, впрочем... Тебя куда отдадут: в лицей или в правоведение?

— Кажется, в правоведение...

— Ну, это все равно. Я буду в лицее. Я тебя уж познакомлю... В Петербурге у нас, у мама́, бывает много лицеистов старших классов — так что они рассказывают! Вот послушал бы...

В довершение всего, он, совершенно спокойно и нисколько не стесняясь, вынул и закурил папироску.

— Хочешь?

— Я не курю.

— Как? Да ведь ты же старше меня?

— Нет, я не курю...

— Чудак! Тебе запрещают или, может быть, ты веришь, что это вредно? Вздор!

— Нет, я не курю, — твердил я.

— Ну, уж пожалуйста. Наверное запрещают. У тебя кто строже — отец или мать?

— Никто не запрещает, а я просто не курю.

— Ах да! — вдруг, как бы что-то припоминая, обратился он ко мне, — скажи, пожалуйста, что, наш отец бывает у вас? Что это за человек?

Он сказал мне, что почти не помнит его, что он видел его, когда был еще маленьким (теперь ему было десять

лет), но потом он поссорился с мама́, и они его больше не видали.

— Я его ужасно люблю, и он меня любит, — сказал я.

— Он чудак. Ты знаешь, он приревновал «ее» к какому-то гусару и с тех пор бросил. Прежде он присылал «ей» много денег, но теперь велел «ей» сказать, что он будет давать только три тысячи в год. Разве на эти деньги можно жить прилично? «Мы» теперь приехали к вам, чтобы вы «нас» помирили с ним, — и т. д. и т. д. в этом же роде и таким же совершенно не детским языком. Я был положительно ошеломлен всем этим. Это был для меня выходец из какого-то неведомого для меня мира, самое существование которого я никогда даже не представлял себе...

Мы шли с ним позади Амалии Карловны и сестер, которые нас далеко опередили, и потому кроме меня никто не видал, как он курил папироску. Но когда мы их нагнали и пошли и когда он, нисколько не стесняясь, начал продолжать разговор в том же тоне и опять хотел было закурить папироску, Амалия Карловна, достаточно и без того, должно быть, приведенная в изумление и негодование слишком ранним развитием кузины, — теперь просто ахнула и несвойственным ей энергическим и решительным образом объявила, чтобы и курение и подобные разговоры были немедленно прекращены.

— O mein Gott! Das sind die Kinder... Das sind die Kinder... [1] — твердила она, не зная что ей делать с нами. В дом идти нельзя, потому что оттуда нас прогнали гулять, и там, очень может быть, «сцена» еще продолжается, — а с другой стороны, невозможно оставаться нам и здесь в саду: «мы» должны быть немедленно разобщены с новыми родственниками. Они могут бог знает чему научить нас. Все соединенные усилия и родителей, и трех гувернанток, и Бонбонеля — ведь это все могло прахом пойти. Добрая немка сознавала это, должно быть, и, вероятно, с этой целью велела мне идти рядом с Соней, а кузена с кузиной пустила вперед, шагов на десять. Кузен хотя повиновался, но, во-первых, окритиковал, а потом опротестовал это ее распоряжение.

---

[1] Боже мой! Это дети... Это дети... *(нем.)*.

Когда, наконец, за нами прислали и мы вернулись домой, она все рассказала родителям. Это был для них новый сюрприз. Что там за совещания у них были, я уж не знаю или не помню теперь, но нас друг от друга отделили. Они, то есть кузен с кузиной, были поручены француженке, m-me Бибер, самой строгой нашей гувернантке, которая с ними и гуляла и занималась. Мы встречались с ними только за чаем, за завтраком и за обедом. Да и то на всякий случай нас сажали врозь. С нас с сестрой был снят матушкой самый подробный допрос о том, что «они» с нами говорили, не предлагали ли чего, не научали ли чему.

— Что из них выйдет?! — говорила матушка.

— Das sind die Kinder! — твердила Амалия Карловна.

Гувернантка-англичанка предложила и взялась для исправления их утром и вечером читать с ними по получасу библию.

«Тетенька», вероятно, тоже с целью показать, что и она, подобно детям своим, должна (и сознает сама это) исправиться, — все сидела и читала то евангелие, то молитвенник в очень хорошеньком голубом бархатном переплете.

Так продолжалось несколько дней, пока, наконец, не приехала Кукушка, за которой, разумеется, посылали, но не застали дома и нашли уж у кого-то из родных, где она «гостила».

12

Выше я говорил уже, что всякая, чья бы то ни была, семейная история для Кукушки была истинный клад. Она и в мирное семейное сожительство умела вносить раздоры; когда же ей удавалось приехать на ссору, получить готовый, так сказать, материал, она создавала из него целое приключение, раздувала до размеров скандала на весь уезд.

И теперь приезд братниной жены с детьми, перспектива переговоров, обнаружение тайн, быть может, самых скабрезных, подробностей самых скандальных, словом — целое море семейной грязи — да могло ли быть для нее больше и желаннее этого счастья...

Она в это время была неузнаваема. Веселая, сияющая, какая-то лучезарная, приходила она к нам, целовала нас своими сжатыми губами, давала беспрестанно леденцы, усиленно и с каким-то особенным причвакиванием сосала их сама. Короче, была до такой степени ажитирована, что мы, дети, отлично понимали, что пришел на ее улице праздник и она празднует его.

Раз как-то матушка позвала меня и заставила держать моток шерсти, который она разматывала. В это время пришла к ней Кукушка и начала рассказывать, как она сейчас дала новенький золотой «Лене» (кузен), и он ей рассказал такие вещи, ах какие вещи!

— Евпраша, что ты делаешь, ну зачем это тебе? — с укором заметила ей матушка. — Ведь уж «он» и так испорчен.

— Ах, мой друг, чтобы «он» помог, я все должна знать.

— Но ведь он еще мальчик, он только напутает тебе.

— О, ты не знаешь его. Он, я тебе скажу, преумненький и уж все понимает. Ты знаешь, он уж... — Она нагнулась к матушке и что-то сказала ей на ухо. Та так и ахнула, руки с клубком так и упали у ней на колени.

— Евпраша!..

— Уверяю тебя.

А сама улыбается так радостно и счастливо, что можно подумать, будто она узнала что-то необыкновенно хорошее, желанное, давно жданное.

— Вот только одного я никак не могу узнать... или не говорит он... или и в самом деле он не знает... Ну да уж я узнаю... — Она опять нагнулась на ухо и опять что-то пошептала.

— Ну, уж этого, Евпраша, я совсем не понимаю — для чего это тебе надо знать?

— Я тебе говорю: я должна все, решительно все знать...

С «тетенькой» она была тоже как-то, если можно так выразиться, злорадостно-ласково любезна. Она видела жертву свою, видела, что она, эта жертва, вся у нее в руках, и смаковала, так сказать, предвкушала предстоявшее ей еще большее наслаждение. Повторяю, мы, дети, отлично понимали тогда уже все это, и она казалась нам противной больше, чем когда-либо прежде.

Она ездила в Сосновку к брату и опять возвращалась. Дня через два опять ехала туда и опять приезжала к нам. Она вся была поглощена своим «делом». Однажды я слышал тоже такой ее разговор с матушкой.

— «Он», Наденька, этого ведь не понимает. Я ему говорю дело, а он свое твердит: «пусть она отдаст мне детей, а я тогда буду хоть вдвое давать денег».

— И отлично. Ты «ей» говорила? «Она» согласна?

— Да разве это ей можно сказать? Что ж тогда будет? Она согласится, возьмет деньги, бросит детей и уедет...

— Так что ж? И слава богу...

— Только-то? Нет, ее в монастырь надо запрятать, на хлеб, на воду... дрова колоть...

— Ах, Евпраша!

— Да, и я это сделаю. Детей я и так увезу.

— Как увезешь?

— Ночью, сонных...

— Ну, уж нет! Нет, у нас в доме — нет, нет...

— А что ж?

— Как что? Нет, нет...

— Ну, я с ними пойду гулять, заведу их в поле, а там мужики схватят их, и — все готово.

— И этого нельзя.

— Да ведь это уж не из дома? Мало ли что в поле может быть?

— Что ж может быть? У нас ведь разбойников нет...

— А вот вдруг явятся... Постой, вот что разве еще... Конечно... — как бы про себя рассуждала она, — я их подкуплю бежать к отцу. Дам им по золотому еще и скажу, что если они в такое-то место придут, дам опять. А там я с ними в телегу посажу Фионку, она их и довезет до Сосновки. Они за деньги что хочешь сделают, особенно Леня... Ты пойми, я должна буду непременно так или иначе это сделать — я обещала, что привезу ему детей. Ты его, Наденька, мой ангел, ведь не знаешь. Ты бы посмотрела на него теперь. Ведь он как сумасшедший стал — узнать нельзя...

А англичанка между тем ежедневно все отчитывала их библией...

Я не знаю, чем бы это все кончилось, если бы вдруг поздно вечером, уж после чая, не приехал совершенно

неожиданно для всех сам дядя, объявивший в начале этой истории, что он не желает с «ней» встречаться и к нам, да и никуда, на свидание с ней не поедет. Но Кукушка, очевидно, перехитрила: она, должно быть, уж давно напела, что привезет детей. Он ждал, ждал, не выдержал и теперь приехал.

13

Как я сказал, дядя приехал совершенно неожиданно для всех. В доме у нас, конечно, все знали историю его с женой, знали также, что, при всей его безупречной честности, он был в то же время человек серьезный, решительный и ни проволочек, ни шуток не любил. Уж если приехал сам — значит, что-нибудь особенное должно произойти и непременно произойдет. Он, как приехал, прямо прошел в кабинет к отцу, и они там заперлись. Все мы в это время сидели на балконе: и матушка, и Кукушка, и «тетенька» с детьми, и мы с сестрой. Чай только что отпили, надо было, следовательно, нам идти спать, но вечер был особенно хорош: тихий, теплый, лунный. Все размечтались, про нас, детей, забыли, и потому и мы еще не спали. Известие, что приехал дядя, всех встрепенуло, все даже испугались. Особенно Кукушка:

— Приехал? Как же это?.. Ну, пускай сам...

«Тетенька» побледнела, вскочила, стала в какую-то необыкновенную театральную позу и, отчаянно вращая глазами, звала к себе детей. И кузен и кузина, разумеется, сейчас же к ней подбежали и как-то прижались, изображая как бы испуг перед грозящей им опасностью. Время от времени они заглядывали ей в глаза, вероятно в ожидании сигнала для начала крика и воплей. Все три гувернантки тоже приготовились к принятию «зависящих мер» и ждали приказаний. В это время матушка, усиленно и тяжело дыша, слабым, чуть не больным голосом сделала распоряжение, чтоб нас с сестрой укладывали спать.

— Идите, дети, вам спать пора, — говорила она нам, крестя нас и целуя, и «предала» нас в руки гувернанток.

Амалия Карловна повела сестру, нежно и любовно обняв ее, мисс Джибсон повела меня. Там, в моей комнате,

она осенила меня «английским крестом», поцеловала в лоб и, в свою очередь, «предала» меня в руки уж дожидавшегося дядьки Андрея Трифоновича...

— Друг мой, спите спокойно, прощайте. Завтра бог пошлет прекрасное утро, и мы пойдем гулять в поле или в парк, — торжественно, по обыкновению, проговорила она и удалилась. Андрей Трифонович начал расстегивать мне «панталончики»...

Моя комната была через две от отцовского кабинета. Так спустя около получаса наш дом опять огласился такими же точно воплями, какие я слышал в первое утро при встрече с кузеном и кузиной. Очевидно, они, будучи призваны в кабинет, теперь издавали их там. На этот раз, однако, вопли продолжались почему-то недолго. Скоро в доме все затихло. Я полежал еще сколько-то времени и заснул. Утром, когда Андрей Трифонович одевал меня, я спросил его:

— Что это там за крик был вечером?

— А это, сударик мой, ваши «братец» с «сестрицей» своего папеньку видали и прощенье «за маменьку» у них просили...

— Простил?

— А уж этого, сударик, не могу знать...

В столовой, за чаем, кроме меня с сестрой и мисс Джибсон, гувернантки «дежурного языка», никого не было. Мисс Джибсон была как-то особенно торжественна и величественна. Как только мы выпили с сестрой молоко, она повела нас гулять в сад.

У нас все ездят всегда с колокольчиком. Поэтому, когда запрягают лошадей, всегда можно знать: колокольчик звякает. Такое звяканье и теперь слышалось. Кому это запрягают?..

— Мисс Джибсон, это кто уезжает?

— Мой друг, это не наше дело. Дети не должны вмешиваться не в свое дело...

За завтраком «тетеньки» уж не было. Зато был дядя. Он был какой-то бледный, измученный, убитый. Возле него сидели его дети. У детей глаза были заплаканы. Завтрак прошел почти молча. Всем было как-то неловко. Все переглядывались. Кукушка сидела и улыбалась, но уж не обыкновенной своей улыбкой, а особенной, точно

будто она хотела ею сказать: «обидели вы меня, а я вам все-таки еще пригожусь...»

Отец начал было что-то про графа Киселева, но ничего из этого не вышло. Матушка тоже сидела с постной физиономией.

К вечеру, частью из отрывочных фраз «старших», частью по догадкам, а больше всего, разумеется, от прислуги, мы узнали, в чем дело. «Тетенька» «отказалась» от детей, получила за это «много» денег и уехала опять в Петербург. Больше она уж не приедет. Дети пока останутся у нас, а потом дядя возьмет их к себе. «Тетеньку» он «на глаза к себе не принял». Кукушке от него тоже досталось. Вечером он уехал к себе. Он обещал приехать опять через неделю. Когда он прощался, он, нисколько не стесняясь, при нас сказал матушке:

— Ради самого бога, следи за детьми (то есть за его). Ты видишь, что́ «она» из них сделала. Боже, боже!..

Детьми должна была пока заведовать m-lle Бибер. Он и ее просил:

— Самое главное, чтоб они не лгали и не притворялись. Это ужасно, ужасно. В десять лет и уж дойти до этого!.. Вы прощайте все, решительно все, кроме лганья и притворства.

Потом он говорил то же самое и детям. Отъезд матери их словно подкосил. Они присмирели, осиротели: какие ни на есть, но они ведь всё же дети, привыкли к ней, хотя я не думаю, чтобы они ее любили...

Со мною, со своим первым приятелем, как он звал меня, он попрощался последним.

— Ну, прощай, Сережа. Когда же к «Феде» (медведю) приедешь?

Больше я его уж не видал...

14

Уехал он, и у нас все пошло по-старому. Кукушка после его отъезда тоже стала собираться ехать кого-то «проведать» из родных. Я слышал, как она раз говорила матушке:

— Нет, ты пойми это, Наденька, поверить детей своих какой-то «наемщице» (m-lle Бибер), когда есть род-

ная сестра... я, кажется, не отказывалась... я, кажется, ближе ему... а впрочем...

— Ах, Евпраша, где ж тебе с ними возиться, — успокаивала ее матушка.

— Кому, мне? Да если б он попросил меня, я не знаю, на что́ б я не согласилась. А он еще, мало того, прямо мне сказал: «Пожалуйста, ты только не вмешивайся. Они уж и так испорчены...» Как это тебе нравится!..

Это, впрочем, не мешало ей за чаем, за завтраком, за обедом то и дело делать разные замечания и «кузену», и «кузине», и m-lle Бибер. Кузина молчала, Бибер дулась, а кузен однажды не вытерпел и громко, при всех, по-русски сказал ей (он тоже с первого же дня возненавидел ее), что это совсем не ее дело. Но «она» все-таки была «им» «тетка», и притом в этом слышался протест против авторитета «старших», и потому матушка его сейчас же остановила.

— Да как же, ma tante,[1] она меня учит, как ложку держать, когда, посмотрите, сама ест рыбу с ножа. Разве рыбу с ножа едят?

И за три дня подобных сцен было несколько.

Кукушка плохо говорила по-французски. Особенно ужасен был у нее выговор. Тем не менее, однакож, она любила французить. И вот, как только она заговорит, «кузен» или поправит ее, или начнет хохотать.

— Леня, — останавливает его матушка, — это не твое дело.

— Да ведь вы же, ma tante, говорили, что если чего не знаешь, всегда надо спрашивать, а «она» и не знает и не спрашивает — только все других учит.

— Леня!

Он, разумеется, замолчит, а она ничего — сидит, улыбается и зеленеет. После обеда еще подойдет к нему и поцелует...

Но ужаснее всего была однажды сцена за обедом. Утром, во время завтрака, она по обыкновению, несмотря на все эти щелчки, учила его или останавливала. Он ей наговорил дерзостей, и его, вместо того чтобы идти гулять, посадили за книгу. Он, конечно, сел, но при всех сказал: «Погоди же. Уж я тебя ужо утешу». И действительно,

[1] Тетя *(франц.)*.

утешил. Только собрались к обеду и все уселись за стол, он вынул из кармана какой-то сверточек, развернул его, вытащил оттуда три золотых и бросил ей. Золотые покатились по столу и зазвенели, цепляясь за тарелки, стаканы. Отец с изумлением спросил:

— Что это значит?

— Это ее. Это она мне дала, когда выспрашивала про мамашу. Она ведь подкупала нас... Когда приедет папа, я ему все про нее расскажу. Все, все... — И он как-то затрясся весь и нервно, судорожно зарыдал.

У нас кто-то обедал из соседей, и не один, а много было гостей. Все — и свои и чужие — разумеется, смутились. Но у Кукушки, кажется, ни один нерв не дрогнул. Может быть, она только немного побледнела.

— Совсем испорченный мальчик, — улыбаясь, проговорила она.

Сидевшая рядом с нами m-lle Бибер встала, дала ему воды и повела из столовой. Рыдая и судорожно подергиваясь, он пошел с ней.

— Какой притворщик! Тогда брал, ничего, а теперь вдруг... — продолжала Кукушка. — Ведь если он понимал, что это нехорошо, зачем же он это делал?

Кто-то с удивлением спросил ее:

— Неужели это правда?

— Разве я не могу ему подарить? Это мои ведь деньги... Разве так, без денег, можно было чего-нибудь от них добиться? Разве они правду скажут? Они ужасно испорчены...

Я не помню кто, кажется отец же и прекратил эту невозможную сцену...

15

Она, однако, только собиралась, а почему-то все не уезжала. Через неделю, по обещанию, должен был приехать дядя, но вместо него приехал кто-то из его дворовых и не с письмом от него, а с известием просто на словах, что он очень болен. Я помню, этого посланного призвали к балкону, где мы все в это время сидели, и он рассказывал отцу, что в Сосновке, на деревне, горячка, народ так и валит. Дядя ездил на деревню, заходил в

избы к больным, должно быть заразился и сам, и теперь лежит.

— Всё изволят бредить, жар такой у них... — говорил посланный.

— Ты его видел? Он тебя посылал сам? — спросил отец.

— Нет-с, они совсем как есть в бреду лежат...

Отец сейчас же велел запрягать лошадей, чтобы ехать туда.

— И я с вами поеду. Вы меня возьмете с собой? — спросила Кукушка.

— Сделайте одолжение.

— А не взять ли нам и детей с собой? Может, он захочет их благословить перед смертью...

— Евпраша, что ты говоришь, — остановила ее матушка.

— А если он так и умрет?

— Что вы всё пророчите несчастия. Ведь он брат ваш, — сказал отец.

— А разве это от меня он заболел? Я-то тут при чем! Мне же ведь с ними придется тогда возиться, — ответила она, указывая головой на детей...

Несчастные дети слышали это и инстинктивно понимали должно быть, какими круглыми сиротами останутся они, если он, спаси боже, умрет... Оба они начали просить, чтобы их взяли к отцу. Оба искренно, тихо и горячо плакали.

— Леня, Женя, перестаньте, папа выздоровеет. Все бывают больны... — уговаривали их.

— Нет, он не выздоровеет!

— По-моему, их надо взять. Пусть он их благословит. А то без отцовского благословения что ж они будут. Они и так уж испорчены, да еще...

Отец ее резко перебил и сказал, что он сейчас едет и если она хочет ехать с ним, так чтобы сейчас же одевалась. Он ни одной минуты ждать не станет. Кукушка замолчала и пошла собираться. Детей, разумеется, не взяли.

На другой день отец прислал письмо. Матушка читала его, читали и гувернантки, но от нас скрывали, в чем дело, утешали:

— Бог даст, поправится...

Но по их покачиваниям головами, по перешептыванию

мы догадывались, что дело плохо. На Леню вдруг находило какое-то злобное настроение, и он говорил бог знает что.

— Это все она виновата.

— Кто?

— Кукушка.

— Чем же она виновата?

— Она его уморит. Ты этого не знаешь, а я знаю. В маму был влюблен там, в Петербурге, один офицер, и она была в него влюблена. Вдруг он узнал, что она ему изменила. С ним сделалась горячка, и он умер. Я помню, при мне его приятель ее упрекал в этом...

Я слушал и ничего толком не понимал, что такое он мне рассказывал...

Немного погодя после этого разговора с ним я встретил на балконе мисс Джибсон. Никого кроме ее не было, и я спросил ее:

— Ведь это Кукушка во всем виновата?

— Как, чем же?

— А вот Леня рассказывает, что так умер один офицер, и виновата в этом была его мама.

Я рассказал наш разговор. Она так и ахнула.

— Нет, как хотите, а их вместе невозможно одних оставлять, — сказала она матушке, когда та тоже вышла на балкон. — Вы послушайте, что «он» ему рассказывал. Боже, что это за несчастные дети!..

На третий день приехал отец. Он мельком поздоровался с нами и сейчас же ушел в сад с матушкой. Когда немного погодя они возвратились, глаза у нее были заплаканы. Она обнимала и целовала «его» детей. Вышло как-то так, что никто не спросил, а все поняли, что все кончено. Говорили и спрашивали не о самом факте смерти, а о подробностях: когда он умер, в памяти ли и проч. Все плакали, что-то припоминали, говорили: а вот это не забудьте, за этим надо послать, и т. п.

— С кем же «их» отпустить?

— Да с m-lle Бибер...

Но Бибер не согласилась ехать, а согласилась и даже сама вызвалась ехать с детьми мисс Джибсон. И отец и матушка тоже собирались ехать «туда» завтра же.

— И мы поедем? — спросил я.

— Нет, вы здесь останетесь. Там и без вас голова у всех идет кругом.

Утром, после чая, подали карету, уложили в нее какие-то узелки. Потом туда села матушка, Джибсон, дети, нянька, горничная, и они поехали. Отец поехал раньше их, в тарантасе.

И Бибер и Амалия Карловна, оставшиеся с нами, всё твердили про то, какие это несчастные дети...

— Они у нас будут жить?

— Нет, они там будут жить с Кукушкой...

16

Через несколько дней и отец и матушка вернулись с похорон.

— А мисс Джибсон?

— Она пока там осталась.

Мисс Джибсон осталась там при «этих» детях. Она с ними пока. Кукушка немного погодя выпишет из Москвы свою труппу гувернанток, и тогда мисс Джибсон снова вернется к нам.

— «Они» разве с Кукушкой будут жить? — спросил я как-то матушку.

— С какой Кукушкой?

— Ну, с тетей Евпрашей...

— Кто же ее так зовет? от кого это ты слышал? — спросила она.

— Все ее так зовут...

— Она тебе тетка. Пожалуйста, чтоб я другой раз этого не слыхала...

«Они», то есть дети, и в самом деле остались у нее на руках. «Тетенька», получив куш, укатила в Петербург и куда-то дальше, за границу. Никаких сведений о ней не было, да, кажется, никто не справлялся об этом. Скорей все были бы довольны, если бы и никогда об ней ничего не было слышно.

— Что ж, своих детей у нее (то есть у Кукушки) нет, замуж ей уж теперь поздно... Она доброе дело сделает, если займется «ими»...

— Несчастные дети! Отец был какой-то чудак. Про мать и говорить нечего. Кукушка, какая она ни на есть, все-таки, во-первых, им тетка, и потом она, кажется, их любит...

Одним словом, хотя все и находили, что это несчастные дети, но положение их не безвыходное: с одной стороны, потому, что у них огромное состояние, а с другой — их воспитанием займется пока тетка, по-видимому нежно их любящая...

— «Ей» бы (то есть Кукушке) вот только эти полтора года с «ними» промаяться и подготовить их. А там — Леню в лицей, а Женю — в Смольный. Там уж у них карьера обеспечена.

— При «их» состоянии-то! Еще бы...

Были даже такие, что находили, что все к лучшему:

— Отец-то, покойник Сергей Павлович, ведь хотел «его» дома воспитывать, никуда не хотел отдавать. Вот воспитал бы!

— Надо только, чтобы их мать не вмешивалась. Надо, чтоб они ее даже не видали.

— Это можно сделать. Стоит только директору сказать, чтобы «ее» не пускали к «нему»... Надо ему объяснить, какая она... И в Смольном то же самое надо сделать...

— Этого нельзя. Какая она ни на есть, а все-таки мать, и ее права...

— Мать! Но какая? Какой пример может такая мать показать детям! Ну, Леня, положим, мальчик — ему это еще ничего, но ведь Женя девочка, у нее будут со временем женихи... И вдруг такая мать...

И все эти рассуждения происходили ежедневно. Кто бы ни приехал, разговор сейчас начинался о «несчастных детях». Можно было подумать, что все принимают необыкновенно горячее участие в их судьбе, все их за что-то так полюбили...

Между тем время от времени мисс Джибсон писала «оттуда». Она писала, что «исправление» этих несчастных испорченных детей идет, как кажется ей, достаточно успешно. «Каждый день она прочитывает с ними по стольку-то глав из библии и по стольку-то из евангелия. Леня при этих упражнениях в нравственном совершенствовании сперва выказывал было некоторое нетерпение и отваживался на энергичные протесты, но мало-помалу, благодаря бога и усиленным упражнениям после каждого такого его протеста, стал теперь покойнее и вообще с своим положением помирился. Его «тетка» (то есть Ку-

кушка), — писала мисс Джибсон, — когда он бывает прилежен и охотно читает библию, всегда потом делает ему какой-нибудь подарок...»

Присутствовавшая при чтении этого письма наша гувернантка, m-lle Бибер, не выдержала, бросила на колени свою работу и воскликнула:

— Ну да! Именно: несчастные дети. Они, наверно, теперь сделают из него негодяя...

Матушка с удивлением посмотрела на нее:

— Это почему же? Вы слышите, мисс Джибсон, напротив, пишет, что он исправляется...

— Он притворяется, а не исправляется, — почти закричала Бибер. — Они его покупают. Они торгуются с ним!..

M-lle Бибер все любили: она была откровенная, прямая. Она была у нас самая строгая гувернантка, а мы ее тоже любили больше, чем мисс Джибсон и Амалию Карловну. Но m-lle Бибер была эксцентричная, странная во всем. Так вот и теперь, в вопросе об исправлении «несчастных детей». Мисс Джибсон такая религиозная, набожная, серьезная, кроткая, внимательная. Конечно, она их исправит. И потом, что ж тут дурного, что она заставляет детей по несколько часов в день читать библию и евангелие, а «тетя» за их прилежание и послушание делает им подарки?.. Очень естественно, что на странную выходку m-lle Бибер никто не обратил серьезного внимания. Напротив, все были искренно обрадованы добрыми известиями, полученными от мисс Джибсон; надеялись, что она «их» постепенно совсем исправит, и желали ей в этом полного успеха.

Она писала почти каждую неделю, и все письма ее были такого же успокоительного свойства. Было очевидно, что дело там, с божьей помощью, идет на лад.

— Дай бог; ведь «они» сироты...

17

Так прошло месяца два. Вдруг от мисс Джибсон получилось письмо, и весьма странного и неожиданного содержания. Она писала, что оставаться дольше там не намерена, что она девушка, а потому не может жить

в «таком» доме, что m-r Бонбонель позволяет себе такие вещи, и проч., и проч. В заключение она просила прислать за нею лошадей, и сделать это как можно скорей...

— Что такое это! Откуда туда Бонбонель попал?

И отец и матушка задавали себе эти вопросы и ничего не могли понять. Матушка, отличавшаяся, как я уже сказал, необыкновенной нежностью чувств, решилась сама съездить туда и посмотреть, что там делается. На другой день по получении этого письма она действительно собралась и уехала туда.

Она вернулась оттуда очень скоро, и притом с мисс Джибсон. Обе они приехали какие-то смущенные. Вечером, за чаем, у матушки в разговоре с отцом вырвалось несколько таких фраз:

— Да, «он» действительно там держит себя хозяином... «Он» всем распоряжается, во все вмешивается...

— «Она» положительно боится его... Что «он» скажет, «она» так и делает... Можешь себе представить, «он» заставляет «ее» учиться верхом ездить, и «она» начала... «Ее» просто узнать нельзя. Ах, какие это несчастные дети!..

Из разговоров гувернанток между собой можно было узнать следующее: как только все разъехались с похорон, Кукушка начала из флигеля, где прежде жила, перебираться в дом. Всякую дрянь, всю мелочь она собирала, пересчитывала, складывала и сваливала в комнаты и запирала. Когда, наконец, все это она собрала, пересчитала и заперла, когда, словом, пришла к убеждению, что это все будет цело, она принялась за «дело» и за «воспитание». Дела заключались в том, что она выхлопотала, чтобы ее признали и утвердили опекуншей над племянниками, а воспитание — в том, что выписала из Москвы нашего уволенного гувернера, m-r Бонбонеля, проживавшего там где-то в метрдотелях в одной из московских французских гостиниц. Бонбонель, разумеется, не заставил долго себя упрашивать и тотчас же явился. Явился и все перевернул сразу. Все добрые начинания мисс Джибсон, разумеется, пошли прахом. На другой же день он отменил заведенное ею чтение детьми библии, сказав, что это все вздор, что у них во Франции это уж давно отменено и проч. Мисс Джибсон обратила также внимание

на гигиену и вообще на физическое воспитание детей. Она находила, что детям следует давать пищу легкую и питательную, причем следует избегать кислого, соленого и еще чего-то. Наконец, чтобы не допускать засариваться детским желудкам, она установила по субботам давать им по ложке касторового масла. Бонбонель осмеял и охохотал и эти ее начинания. С его приездом все, одним словом, все решительно пошло вверх дном. Через неделю и Кукушка и дети были неузнаваемы. Дети выучились петь какие-то «дурные» песенки, а Кукушка начала ездить верхом...

— Это ужасно, ужасно, — твердила мисс Джибсон. — Как девица, я не могу даже половины вам рассказать того, что там я слышала и видела. Ужасно, ужасно...

Очень понятно, что при таких порядках она не могла там действительно оставаться и уехала. Матушка, как было видно, также была удивлена и огорчена поведением Кукушки, сделавшей такой неудачный выбор сотрудника по воспитанию детей, как Бонбонель... В конце концов было решено прервать с Сосновкой и ее населением всякие сношения. Но отец, враг скандалов и крайних мер, решил предварительно сам туда съездить и попробовать положить конец всему этому безобразию. Это представлялось тем более настоятельным и своевременным, что и многие из приезжавших соседей тоже рассказывали про поведение Кукушки много странного...

— Но какой это пример детям?.. Они ведь всё понимают... Все это ведь на их глазах происходит...

Но пока что и как, а отец собирался ехать и

Горячим словом убежденья

обратить Кукушку на путь истинный, она в одно прекрасное утро сама к нам явилась с Бонбонелем и племянниками. Этот визит ее был сюрпризом до такой степени неожиданным, что все окончательно растерялись. Впрочем, и было от чего. Кукушка явилась нарумяненная, вся в бантиках, в ленточках, завитая барашком. Все так и ахнули, как увидали ее. Старуха, — ей было по крайней мере лет сорок или даже сорок пять, — и убранная таким херувимом. Бонбонель явился как ни в чем не бывало; точно его никогда от нас и не выпроваживали. Он очень развязно подлетел к матушке, овладев ее рукой, которую

почтительно поцеловал. И «кузен» и «кузина» за эти два месяца, что мы не видались, развились еще более. Кузен уж прямо, нисколько не стесняясь, вынимал при всех портсигар и закуривал папироски. Он выучился даже затягиваться и пускать дым из ноздрей... С Бонбонелем он был в самых дружеских отношениях.

— Он отличный малый, — сказал мне про него кузен, — я терпеть не могу Кукушку, но спасибо ей, что она догадалась его выписать. Иначе ваша Джибсониха с ума бы нас свела... Ты знаешь, и Кукушка ведь влюблена в него... На зиму она едет в Петербург. Я поступаю не в лицей, а в училище статских юнкеров. Это почти то же самое; там всё порядочные фамилии... Впрочем, если я там не выдержу экзамена, я поступлю в лошадиное училище. Там тоже всё порядочные фамилии. Оттуда тоже скоро можно сделать хорошую карьеру...

Кузен говорил мне все это скороговоркой и с апломбом, не допускающим ни сомнения, ни возражения. Я слушал и молчал.

Потом он хлопнул меня по плечу и добавил:

— Вот где мне хотелось бы побывать — это в Париже. Бонбонель рассказывал такие вещи...

И он в самом деле рассказывал много удивительного про Париж, в котором хотя и не был еще, но с которым уж достаточно ознакомился из рассказов гувернера...

Это пребывание их у нас продолжалось, однако, недолго. Часа через три приехал отец, бывший у кого-то из соседей. Он вошел в гостиную с заложенными назад руками и, не обращая внимания на радостные приветствия прибывших родственников, торжественно и сухим голосом проговорил:

— Евпраксия Павловна, не можете ли вы уделить пять — десять минут времени?

Она смутилась, оправила бантики, ленточки, распустила на сжатых и бледных губах свою мертвую улыбку, встала и пошла за ним.

С их уходом в гостиной, где до сих пор шел оживленный разговор и даже смех и где так развязно и мило что-то рассказывал Бонбонель, теперь все присмирело и утихло. Матушка, слушавшая болтовню француза с постным лицом, теперь сделала его еще более постным и, по обыкновению, время от времени вздыхала. Гувернантки



переглядывались. Бонбонель нервно играл цепочкой и то и дело поглядывал в ту дверь, в которую ушла Кукушка и из которой, вероятно, появится теперь вновь. Прошли томительные полчаса, которые показались всем чуть не бесконечными. Наконец в дверях показалась Кукушка с заплаканными глазами и с носовым платком в руках. Но улыбка, эта вечная мертвая ее улыбка, по-прежнему играла на плотно сжатых губах. Она подошла к матушке и обняла ее:

— Наденька, — начала она, — твой муж...

— Сережа, Соня... Амалия Карловна!.. — послышался голос отца.

Мы, разумеется, пошли к нему.

— Амалия Карловна, сегодня вы, кажется, дежурная? — спросил он.

— О да.

— Пожалуйста, подите с ними погулять. Им там не место. «Они» сейчас уедут...

Таким образом, что́ произошло в гостиной, по возвращении туда Кукушки, мы не видали. Через час они все уехали...

Из разговоров за обедом было ясно, что все сношения с Сосновкой действительно прерваны, и, по-видимому, навсегда.

Наступила осень. У нас хоть и была псовая охота, но она содержалась так, для одного «приличия», для парада. Нельзя же, чтоб у предводителя дворянства не было охоты. Но отец не был охотником. Если он и выезжал «в поле», то не иначе как в коляске. Выедет и смотрит, как травят, а чтоб самому скакать и травить — никогда.

Между тем у нас в имении были едва ли не лучшие «места» для охоты, особенно было много лисиц. Охотиться у себя он никому не запрещал, и потому всю осень то и дело у нас бывали соседи в охотничьих костюмах. Травили, значит, и теперь заехали обедать, ужинать, ночевать. Как радушный хозяин, отец охотно принимал и угощал у себя. Мы, дети, с любопытством смотрели на усатых соседей, в высоких сапогах, в каких-то фантастических костюмах с меховыми опушками, со шнурками, увешанных кинжалами, ножами, рожками и проч.

Раз за обедом во время такого «нашествия», как называла матушка подобные приезды соседей, кто-то из них

сказал, что он на днях встретил на охоте — кого бы вы думали?..

Было названо несколько фамилий, но все невпопад. Наконец он объявил:

— Бонбонеля!.. И представьте, какая у него охота! Какие гончие, какие борзые! Охотников человек двадцать. Это первая охота в уезде... И сам он в зеленом бархатном полушубке с собольей опушкой. Барин, черт побери!.. И этот «несчастный мальчик» с ним. Потом мы вместе с ним ночевали в одном селе. Всю ночь у них шел кутеж. Собрали девок, баб — песни, пляска. Он ему и пить позволяет, — продолжал сосед. — Он при мне так «опрокинул» стаканчик, что просто на удивление, я вам скажу...

Кто-то начал советовать отцу вмешаться в это дело, говорили, что надо имение взять в опеку, назначить опекуна, а Кукушку с Бонбонелем выгнать.

— Надо отыскать и вызвать «их» мать. Какая она ни на есть, а все-таки она мать, и дети ей дороже. А то ведь и из детей так бог знает что выйдет, и имение разорят, — и т. д., и т. д.

Вскоре опять кто-то был у нас и опять рассказывал между прочим про Бонбонеля. Он завел себе какую-то удивительную тройку с удивительной наборной сбруей и носится на ней по базарам в окрестных селах и в нашем уездном городе. Уездная знать, крупные помещики его не принимают, но он завел знакомство с мелкопоместными и пускает им пыль в глаза. «Несчастный мальчик» всюду с ним. Еще немного погодя откуда-то дошли слухи, что однажды, возвратясь домой пьяным, Бонбонель жестоко поколотил Кукушку... наконец прошел новый слух: и Кукушка, и Бонбонель, и дети — все уехали на зиму в Петербург, а здесь, в Сосновке, остался вновь нанятый Кукушкой какой-то управляющий. Этот управляющий, проводив «господ», тоже в свою очередь «закурил»... Туда же, в Петербург, тоже для «воспитания детей», и в этом году зимой, по обыкновению, поехали многие из соседей: кто повез «определять» еще только детей в дворянские заведения, кто «следить» за их воспитанием там...

Настала зима.

18

А между тем время расчета приближалось. Отдаленные, смутные, неясные слухи о воле становились все определеннее, вероятнее. Они поглощали общее внимание. Жизнь со всеми ее утехами еще шла по старой колее, но она была уж смущена. Начались съезды, какие-то совещания, споры при закрытых дверях. Начались писания писем в Петербург к высокопоставленным родственникам, писания каких-то записок, очень длинных, которые четко и крупно переписывались привезенными из города подьячими и разными выгнанными со службы заседателями и письмоводителями. Приходилось слышать какие-то странные и непонятные для детского уха фразы вроде:

— Помилуйте, если «эту затею» вовремя не остановить — ведь будет общее восстание. Разве это возможно?..

— Дворянство всегда было опорою...

И т. д., и т. д. Читались какие-то письма, полученные от высокопоставленных родственников; читались какие-то странного содержания стихотворения... несколько позже появились листки «Колокола». Они были очень распространены. Их читали открыто, вслух, и всем они ужасно нравились...

Теперь, вспоминая все это, видишь, разумеется, ясно, что эта была пора великого и общего, всероссийского, так сказать, невежественного недоразумения... Отчаянные крепостники зачитывались «Полярной звездой», «Колоколом» в твердом убеждении, что они читают своих сторонников и единомышленников. Я помню при таком чтении подобные фразы:

— У него (то есть у Герцена), конечно, много вздору, завиральных этих идей, но и правду он говорит...

Эта правда относилась, разумеется, к анекдотам о том или другом высокопоставленном, которого имя почему-либо доходило до степной глуши как имя виновника или пособника «этой затеи»...

Мне некогда теперь писать на ура, то есть без уверенности, что написанное «пройдет», но когда-нибудь на свободе, справившись, можно ли, наконец, рассказывать теперь об этом, — я расскажу многое множество интересных и характерных подобных «недоразумений»...

И в то же время, то есть после всех этих писаний, чтений и разговоров, эти заговорщики тащили своих детей в привилегированные столичные заведения. Тащили после рассуждений о том, что если «эта затея удастся», то они останутся нищими, тащили, значит, детей туда, откуда они могли выйти, выходили и выходят с знанием и прекрасным выговором иностранных языков, с удивительными манерами, но тем не менее все-таки чиновниками — не более того. Все знали, и по опыту знали, что этим чиновникам с прекрасным выговором и прекрасными манерами существовать нет никакой возможности на то жалованье, которое они получают потом по выходе из заведения, — как-то непостижимо забывали свои рассуждения о предстоящем нищенстве, следовательно, о невозможности подать помощь детям карьеристам-чиновникам — и все-таки отдавали их *в чиновники*. Все были недовольны существующим порядком, и в то же время все отдавали своих детей для приготовления из них слуг этого порядка... Все были уверены, что придется переживать страшный не один только нравственный кризис, но и кризис хозяйственный, и никому, кажется, и в голову не приходило задуматься над тем, чтобы сын научно и практично приготовился встретить и выдержать оба эти кризиса. Потомки «служилых людей» дальше чиновничьей карьеры ничего не видали и не понимали и для своих детей... Если бы кого-нибудь спросили тогда: «Зачем вы туда отдаете своих детей», наверно отвечал бы вопросом:

— А позвольте вас спросить, куда же отдавать?

И по-своему, но только по-своему, конечно, они были правы, пожалуй. В самом деле: куда же служилому военному (отставному штабс-ротмистру) или служилому гражданскому человеку (по смерти отца вышедшему из департамента в отставку и приехавшему в свою Сосновку, Ивановку и проч.) отдавать детей, как не в гражданские или военные чиновники?.. Да, наконец, что такое был вообще до реформы помещик? Это был или гражданский, или военный чиновник, вышедший в отставку и приехавший в деревню наблюдать, чтобы мужики не ленились, работали и исправно платили подушные. Чем он внимательнее следил за этим, тем, понятно, мужики более нарабатывали ему и тем исправнее платили казне подати... В сущности, выходя в отставку, он только переменял

службу: из какого-нибудь драгунского штабс-ротмистра он делался полицейским. Я думаю, никто не станет оспаривать того положения, что «институт» помещиков был не что иное, как полицейский институт...

Но помещики этого тогда совсем не понимали. Они очень слабо понимают это и теперь, но все-таки больше, и гораздо больше, чем тогда. Тогда же, повторяю, совсем не понимали. Отсюда и такой странный взгляд на воспитание детей...

Но об этом еще будет речь впереди.

Факт тот, что «затея» была уж на носу; через год, через два она несомненно должна была совершиться и все перевернуть, а «мы» ни сами к этому не готовились и не готовили к этому детей. Точь-в-точь как евангельские глупые девы, что пришли встречать жениха с светильниками без масла...

Леню Бонбонель с Кукушкой отдали в училище статских юнкеров, а Женю — в Смольный монастырь. Бонбонель сделал это, конечно, помимо «служилых» традиций и инстинктов, а просто потому, что все так делали, и потом, ему гораздо свободнее было жуировать теперь без них. К весне он возвратился с Кукушкой в деревню уж в качестве не гувернера, а главноуправляющего.

19

С отдачей Лени в училище статских юнкеров, а Жени в Смольный монастырь, воспитание их у «домашнего очага» кончилось. К этому «очагу» они, может быть, будут еще являться, будут согреваться душой около него, будут нравственно крепнуть, видя любовь, заботу о них родственников, видя, наконец, добрые примеры; но они уж во всяком случае некоторым образом подверглись отчуждению от очага домашнего. Теперь у них другие «очаги». Что это за очаги и насколько они способны заменить очаг домашний — это другой вопрос, но все, зная несовершенства очага Кукушкина и Бонбонелева, радовались этой замене.

— Ну, слава богу. Теперь «эти несчастные дети» пристроены наконец...

— Теперь за ними хоть есть кому смотреть.

— Теперь хоть срамоты-то этой они больше не будут видеть.

— «Они» оба способны, там баловать на станут их. Нет-с, дурь-то эту всю из них вытрясут... — и т. д., и т. д.

Одним словом, известие об «определении» Лени с Женей всеми, повторяю, было встречено очень сочувственно, чуть не радостно.

Известие о «спасении» этих несчастных детей привезли соседи, ездившие в Петербург, тоже с целью «определить» своих детей в «приличные заведения». Они рассказывали свои мытарства, которые претерпели при этом, рассказывали о «трудностях» экзаменов, о строгости и вместе о любезности директоров, о необыкновенной чистоте, об удивительном блеске паркетных полов, и проч., и проч.

— Ну, а вот пища?

— Ну, насчет пищи... это уж везде в казенных заведениях... Впрочем...

— Ничего, летом приедут на каникулы — отгуляются.

— Мальчик по крайней мере привыкнет к «порядочному» обществу.

— Уж если оттуда не сделать карьеры — то куда же и отдавать после...

— Директор говорил, что у них преимущественно обращается внимание на поведение и на языки...

— Это самое главное. Ведь ему не в профессора потом идти. Будет порядочный человек, будет знать языки, и пойдет...

— Что ж нынче без языков можно сделать? Ни в одно «порядочное» общество войти нельзя без языков.

— Главное, если, бог даст, кончит курс, — дорога ему всюду открыта. Хочет, в военную службу, хочет, в любой департамент, в сенат — куда угодно...

— А там через два-три года, глядишь, и камер-юнкер.

— А как это для молодого человека лестно!

— Да и не для молодого только, а вообще это...

— Помните, когда Пустоцветова сделали камер-юнкером — он уж у нас предводителем был, а ведь как был рад-то.

— Все-таки при дворе...

И т. д., и т. д. Собственно про Леню они рассказывали, что уж видели его принятым, видели в мундирчике статских юнкеров, и этот мундирчик к нему очень идет.

— Конечно, в лошадином училище мундирчик красивее и детям он больше нравится, но «это» заведение всетаки как-то выше считается...

— Права, впрочем, кажется ведь одинаковые?

— Права-то одинаковые, а все как будто здесь лучше.

— Ничего, хорошо и там.

— Я не спорю, но... ну да что толковать, теперь уж не переменять же...

— Разумеется. Я так только говорю. Помилуйте, чего ж лучше училища статских юнкеров?..

— То-то и мне кажется...

— Всё такие фамилии... Вот одно только: мешковаты они, мало у них военной выправки...

— Да-с, но ведь вы не забывайте, что это заведение статское. А впрочем, директор говорил, что и у них предполагается в этом году ввести маршировку и чтение лекций в манеже...

— Это, знаете, для молодого человека никогда не лишнее...

— Выправка — великое дело!..

Потом делались различные предположения о дальнейшей карьере детей. Выражались желания и надежды самые различные, припоминались связи, на которые при этом рассчитывали, припоминались примеры удивительных карьер.

— Помилуйте, ведь мы с «ним» на одной скамейке сидели!..

— Нет-с, а граф Сергей Никитич-то. Ведь его у «нас» иначе никто не звал, как плошка вонючая, а теперь извольте-ка... — и т. д.

О Кукушке говорили, что она стоит в одной какой-то самой богатой петербургской гостинице вместе с Бонбонелем, что ее видели в театре, в ложе, вместе с ним, разодетую и нарумяненную.

— Ужасно!

— Вот чего уж никто не мог от нее ожидать-то!..

— И в эти года!

— Главное, надо следить, чтобы она детское имение не расстроила. «Это» ее дело, а вот насчет имения — это другой вопрос: тут ее надо держать...

И опять: «слава богу, что хоть они, эти несчастные дети-то, теперь пристроены наконец».

Все это говорили и рассказывали люди, так же «удачно» пристроившие и своих детей, и говорили так радостно, с такими сияющими лицами, с таким искренним, неподдельным счастьем.

— Что от нас зависело — все сделали. Теперь совесть по крайней мере покойна. Будущее никому не известно, но «мальчик» на верной стоит дороге...

Я слушал эти рассказы об удивительно строгом и в то же время удивительно любезном директоре, о необыкновенном блеске паркетных полов, о маршировке, о чтении лекций в манеже, о выправке, о камер-юнкерстве, слушал — и все это смешивалось, перемешивалось в голове. Ничего этого я не видал своими глазами, и оттого получалось какое-то странное представление обо всем слышанном. Я был старше Лени одним годом, и на следующую осень куда-то и мне предстояло попасть. Однако куда именно?

— Я куда же поступлю: в лошадиное училище или в училище статских юнкеров? — однажды спросил я отца. Он улыбнулся, погладил меня по голове и сказал:

— Ты? — в лицей.

Выше я сказал, что он был человек образованный и развитый, и хотя это образование и развитие были крайне оригинальны, тем не менее, однако ж, в них слышалось и чувствовалось что-то живое, бодрое, молодое. Он был когда-то лично знаком с Пушкиным, Дельвигом, воспитанниками лицея, был проникнут глубоким уважением к ним, знал и лицей их времени, и он представлялся ему и теперь (в 1861 году) таким же. Мог ли он сделать лучший выбор для любимого сына?.. Это наивное неведение его и невинное намерение так, однако, и остались сами при себе. На будущий год, когда предстояло и мне покидать домашний очаг, все переменилось, и я попал просто в гимназию... Но это пока, между прочим...

20

В этом году, так около святок, прошел у нас слух, что «воля» будет, наконец, объявлена и случится это очень скоро, никак не позже предстоящей весны. К отцу как к предводителю стали приезжать соседи и особенно

соседки-помещицы с какими-то странными просьбами об обуздании мужиков.

— Да это не мое совсем дело-с. Вы с этим обратитесь к исправнику.

— Нет, помилуйте, вы предводитель, мы вас выбрали... «Они» вас послушают... Одного вашего слова...

Он куда-то ездил, домой приезжал всегда крайне раздраженный, говорил: «Сами виноваты, не умеют себя с достоинством вести, и потом что ж удивительного, что их «они» не уважают...»

Приезжавшие соседи помещики и помещицы были какие-то убитые, утомленные. Они, по их словам, столько вытерпели унижений и оскорблений, что если теперь обращаются к нему и тревожат его, то это происходит потому, что у них бороться уж нет больше сил.

— Да ведь это опять какая-нибудь глупость: шапки перед домом не снял, пьяный повар глупость какую-нибудь сказал...

— Ах, нет! Если вы не поедете и не образумите «их», у нас восстание...

Приезжали и просто так, без просьбы об обуздании, посоветоваться о чем-то. Съезжалось иногда очень много, говорили как-то таинственно, торжественно, пророчески, и в то же время слышалось как бы злорадство какое в их голосе, в усмешках.

— В благодарность за все пожертвования — обобрать!..

«О каких это пожертвованиях они всё говорят и кто это хочет их обобрать?» — все думал я и ничего толком не понимал. Раз как-то я спросил об этом отца.

— Это дело великое. Теперь тебе, впрочем, не стоит растолковывать его — все равно не поймешь...

Матушка на тот же вопрос отвечала:

— Ах, мой друг, это ужасно, — и вздохнула.

M-lle Бибер очень охотно пустилась в объяснения, когда я к ней обратился за этими моими сомнениями, но или я был еще не в силах тогда понять, в чем дело, или она бог знает что городила, но я ничего не понял.

Амалия Карловна отвечала просто: «Das ist nicht Ihre

Sache».[1] Мисс Джибсон я уж и не спрашивал после всех этих неудачных попыток.

Я попробовал обратиться за тем же самым к дядьке Архипу Терентьевичу.

— Эх, сударик, это не наше дело, это всё пустое болтают...

— Нет, «это», говорят, непременно будет, — сказал я, а что такое «это» — я и сам не знал.

— Ну, будет так будет...

Очевидно мне было, что все чего-то ждали, к чему-то готовились, чего-то тревожились и даже прямо боялись, но чего именно и почему им следовало «этого» бояться, мне было понять тем труднее, что у нас дома никто ничего не боялся: почему-то только избегали говорить об «этом» с нами, детьми, и при прислуге...

Где-то выше я сказал, что отец выписывал и читал много книг. Все эти книги, когда получались они с почты, разрезал я у него в кабинете. Однажды, когда я сидел за таким занятием, отцу доложили, что приехал исправник.

— Проси.

Он вошел какой-то не то испуганный, не то смущенный и прямо начал:

— Я к вам за содействием. Вы одни можете это уладить, и потом, «она» вам ведь родственница... Это ни на что не похоже. Ведь «он» наверно восстание устроит...

— Кто? в чем дело?

— Да все этот Бонбонель.

— Разве «они» уж вернулись из Петербурга?

— Как же-с. Уж вторая неделя, как вернулись. Он собирает мужиков, говорит им какие-то речи; они его не понимают, конечно, — ведь вы знаете, как он по-русски говорит, — потом выносит им водки, кричит «ура», они кричат за ним, и это каждый день почти... На дом повесил французский флаг и говорит, что так как он французский подданный, то его тронуть никто не смеет, а если тронет кто, то опять будет война...

Отец был человек серьезный, вообще редко я видел, чтобы он смеялся, но тут, я как сейчас вижу, газета, ко-

[1] Это вас не касается *(нем.)*.

торую он держал в руках, у него затряслась, упала на пол, и он так и покатился со смеху. Исправник сидел против него с удивленным и недоумевающим лицом, даже как будто немного обидевшись.

— Ну, а что ж Кукушка?..

— Ничего-с, слава богу, здорова. Я и ее видел, и она говорит: «Флаг нельзя трогать, потому за это может достаться. Посланнику если написать об этом — бог знает что может выйти...» Уж вы, ради бога, урезоньте их. Ведь это ни на что не похоже-с...— повторял он.

Отец его успокаивал, говорил, что это вздор какой-то, на который не следует обращать никакого внимания, и проч., но он стоял на своем.

— Вам, конечно, это ничего, со стороны это, разумеется, смешно, а мне за это беда может быть. Помилуйте, в этакое время и такие штуки...

К обеду, по обыкновению, приехало несколько человек соседей, и, я помню, весь обед прошел за рассказами исправника и за спорами этих соседей о том, имеет Бонбонель право вывешивать в Сосновке на доме французский флаг или нет.

— Флаг-то черт с ним, а он народ волнует...

— Нет-с, флаг не шутка: его за это расстрелять могут...

— Флаг вещь священная, его трогать нельзя. За оскорбление флага может война возгореться... — и т. д.

Отец, однако, наотрез отказался помогать исправнику в его борьбе с Бонбонелем и Кукушкой, и он, бедный, так и уехал ни с чем.

— Все равно-с. Я свою обязанность исполнил. Я вам, как предводителю, об этом заявлял-с. Я так и донесу губернатору. Что ж я буду делать. Кто-нибудь этот флаг у него сорвет, а я потом буду отвечать за него...

Уж я не знаю, чем кончилась эта история: доносил исправник губернатору, было какое «зависящее по сему предмету» распоряжение губернатора — ничего этого я не знаю, но возвращение Кукушки с Бонбонелем ужасно расстроило матушку, все еще питавшую к ней какое-то нежное расположение.

— Боже мой, да что же такое, когда же это будет конец этой срамоте? — твердила она все потом.

После исправника сведения о Кукушке и ее сожителе Бонбонеле стали доходить к нам то и дело, хотя прежние отношения, разумеется, не возобновлялись.

— «Он» (то есть Бонбонель) привез с собой ружей, пистолетов, сабель и все это развесил в кабинете...

— Он свое дело знает. Как «начнется», он «ими» и будет предводительствовать...

— Помилуйте, он, напротив, вчера, говорят, был у Ивана Петровича и предлагает свои услуги дворянству...

— Его просто надо выслать отсюда. Надо всем обратиться к губернатору, и его, как вредного человека...

— Нельзя-с. Он под прикрытием своего флага.

Конечно, я не помню всего, что говорилось тогда по этому случаю, но он привел весь уезд в ужасное смущение и этим флагом, и беседами с мужиками, и предложением услуг дворянству. Многие нарочно ездили в Сосновку смотреть на этот его флаг.

— Вы сами видели?

— Как же-с, помилуйте, развевается...

— Да-с, троньте-ка его...

Тем не менее, однако ж, впоследствии уж, когда «это» все кончилось, то есть положение 19-го февраля было уж объявлено и, как известно, нигде ничего не «началось», флаг этот, по чьему-то приказанию свыше, был все-таки убран. Если не ошибаюсь, это было сделано по распоряжению какого-то флигель-адъютанта, которые развозили тогда «Положение» и разъезжали по губерниям...

21

Положение 19-го февраля, наконец, было объявлено, но с этим объявлением дворянские треволнения, как известно, не прекратились. Начались заботы и хлопоты о том, как бы «получше» развязаться с мужиками, то есть, как бы повыгоднее отделаться от них; потом начались опыты заведения хозяйства на новых основаниях. Жизнь, которая до сих пор шла так удобно и спокойно, теперь, «по-новому», пошла черт знает как. Приходилось на каждом шагу сталкиваться все с новыми и новыми «сюрпризами», которые, разумеется, ничего кроме огорчений с собой не приносили. Во всяком случае, одно было

несомненно и очевидно: старые порядки и вообще весь старый строй навеки отошел. Невозможность возвращения его становилась с каждым днем все более и более ясной. Какова будет эта новая жизнь? Что за требования она выдвинет? Вопросы, конечно, естественные, вполне понятные, но их тем не менее, кажется, в то время никто не делал. По крайней мере не делали их при обсуждении воспитания детей. Точно будто и теперь, с новой жизнью, с новыми, уж заявившими себя условиями и требованиями, все-таки можно будет вполне удовлетворяться в этом отношении тем же самым, чем довольствовались до сих пор. Благопожелания для детей ни в каком случае не шли далее мечты видеть Костю через два года по выпуске камер-юнкером, а Сережу «выпущенным» с чином корнета, или какой там полагается самый высший для этого случая чин...

— Теперь нам одно утешение только и осталось — это дети.

— Ах, если бы бог помог только им.

Бог ли уж им помогал, сами ли они достигали этого прилежанием и поведением, но родительские мечты исполнялись: дети приезжали в Ивановки и Семеновки радовать родителей и корнетскими и камер-юнкерскими мундирчиками. Но эти столь прекрасные на вид плоды их учения и поведения в действительности, на деле-то, кроме новых огорчений родителям ничего не приносили, ибо мундирчики и содержание детей на службе в этих мундирчиках требовали от родителей только одни всё расходы и расходы, а где теперь взять денег. Их нет, их не дают даже под уборку хлеба... Таким образом, все, даже самое прилежание и благонравие детей, о ниспослании чего было обращено к богу столько молитв, — теперь являлось только одним еще лишним бременем. Ужасное время!..

Но все это тем не менее нисколько не отрезвляло, нисколько не выводило мысли на ясную и здравую дорогу. Тужили не о том, что сын, двадцати с лишком летний болван, не может сам себя пропитать без посторонней помощи, что это успевшее уже между тем даже оплешиветь дитятко все еще разевает рот и приспосабливается к родительской сисе, — тужили о том, что не хватает или почти не хватает молочка, которым можно было бы залить его ненасытную глотку...

Вопрос о воспитании оставался, таким образом, сам по себе вне всяких соображений о времени и месте, а жизнь тоже сама по себе. Что из этого тогда выходило, что за драма разыгрывалась тогда, — этого, кажется, и пересказать невозможно. Итог, впрочем, известен: оскудение целого сословия. И совершился этот факт единственно в силу непонимания и игнорирования требований новой жизни, в силу неприготовленности, неприспособленности к труду, к знанию ни отцов, ни детей... Я рассказываю теперь разные случаи и приключения, рисующие и характеризующие основания и пути нашего воспитания, останавливаясь при этом на мелочах, на деталях. Я делаю это нарочно, потому что только этим путем и можно нарисовать для непосвященного читателя хотя сколько-нибудь понятную картину. Ведь ни в чем и нигде не было никакой идеи. То есть, если хотите, основание было, были, с позволения сказать, идеи, но, по совести, разве можно назвать идеей разные изощрения и приспосабливания к устройству легкой, блестящей и пустой карьеры? А что же, кроме этого, еще-то было?..

В основе всего — случай, ловкость, сметка — и только. Ни в чем и нигде никакого расчета на знания, на труд. Везде один принцип: зацепил, поволок, сорвалось — не спрашивай! Оттого-то и увидали прокуроров из кавалерийского училища, а кавалеристов из правоведов... Кто этот мудрец, который смог бы найти здесь хоть какую-нибудь логику, соображение, идею?..

Что ж после этого удивительного, что целое сословие, пойдя по этому пути, очутилось наконец, к собственному наивному удивлению, в положении многострадального Иова, лишившегося вдруг всего своего состояния, да вдобавок с худобища покрывшегося еще всякими струпьями и язвами...

22

Пришла весна. Страхи мало-помалу улеглись. Флаг у Бонбонеля, как я уже сказал, сняли, а водкой поить мужиков и кричать «ура» он и сам добровольно перестал, сообразив, вероятно, что теперь можно и без этого жить спокойно, не опасаясь их. Напротив, он настолько

сделался теперь храбрым, что положительно никого в грош не считал.

— Француз-то в зубы заезжает не хуже настоящего... — говорили «свободные» мужики.

Кукушка, кроме питания нежных чувств к Бонбонелю, тоже «остепенилась» и принялась за хозяйство, то есть за всякое сутяжничество с мужиками, мировыми посредниками, старшинами и проч. Так как это времяпрепровождение было тогда общее, — все этим занимались, — то и ничего нет удивительного, что она, усердно занимаясь этим в качестве опекунши сирот, стала приобретать себе даже некоторое сочувствие.

— Конечно, вот это глупо, что она связалась с французом, а то — ничего, народ подобрала. При покойнике-то «они» ведь как были распущены — страх!

— Это ее дело. Конечно, лучше бы уж если бы прямо замуж за него вышла.

— Ну, это уж...

— А позвольте вас спросить, что ж тут такого?

— Все-таки... Да что такое Бонбонель. Парикмахер, гувернер... Она все-таки Повалищева, старинная фамилия. Нет-с, это неловко...

Тем не менее, однако ж, и Бонбонель, несмотря на все эти соображения, тоже начал приобретать мало-помалу симпатии. Он был веселый, ловкий малый, жуир, игрок в карты, сходно давал взаймы (деньги у него, разумеется, всегда были). Знать уездная чуралась его по-прежнему, но не только мелкотравчатые, а и «средние» перестали им гнушаться.

— Он добрый, простой малый. Какое нам дело до его отношений к Кукушке. Это их дело.

— Ну, понятно.

И так продолжалось всю весну. Началось лето. Бонбонель носился по уезду на своей тройке с удивительной сбруей и бесчисленным количеством бубенчиков. Он несколько раз проезжал по дороге, что проходит у нас как раз перед домом.

— Ведь это этот мерзавец Бонбонелька опять проехал, — говорила матушка.

— Он, сударыня, — отвечали ей.

— Бедная Евпраша.

Отец ничего не говорил и на замечание матушки о том, что нельзя ли запретить «этому негодяю» кататься перед домом, спокойно объяснил ей, что дороги предоставлены в общее пользование и запретить ездить по ним никто не может. Да, наконец, просто не следует на это обращать внимания...

Однако торжество и вообще и самое существование Бонбонеля продолжалось недолго. Он ликовал, а дни его уже были сочтены...

Недалеко от нас жили средней руки помещики, братья Синицины. Когда-то это была одна усадьба, но они разделились и расселились. Оба были женаты, и у обоих было по несколько сыновей и дочерей, «взрослых девиц». Вот к ним-то мимо наших окон и ездил все Бонбонель. Повадился он туда ездить с самой ранней весны, а теперь, в августе, вдруг всем стало известно, что одна из девиц Синициных сделалась через него, этакого подлого, несчастной на всю жизнь... Родители этой девицы, как только показался к ним Бонбонель, после обнаружения его проказ приказали его связать, «наказали» на конюшне и, якобы приехавшего к ним с целью воровства и разбоя, связанным отправили в город, в какой-то суд. Тут опять все переменилось. Все были возмущены, все благородно негодовали. Скандал вышел ужаснейший. Тогда я не знал действительной причины, и мне объяснили все тем, что он там наделал каких-то невежеств. Нельзя же: мне было тогда около тринадцати лет, а «мальчику» в эти года разве можно «все» знать?.. Тем не менее я знаю, что Кукушка была приведена этим известием в ярость, и когда из города привезли к ней ободранного Бонбонеля, она не велела его не только пускать в дом, но распорядилась сейчас же отправить его в город обратно.

Так кончилась судьба этого замечательного человека, в нашей по крайней мере стороне. Каприз Кукушки вызвал его из ничтожества, и ее же каприз поверг его вновь в ничтожество! Он провертелся среди общего презрения около месяца в городе, чуть не ежедневно отправляя письма жалостного содержания к Кукушке, но все было напрасно: враги его между тем не дремали и вновь обратили ее внимание на проживавшего все это время в уединении кучера Андрюшку. Как только известие о возвращении Андрюшки было получено, Бонбонель понял, что

дело его окончательно проиграно, и сейчас же вслед за тем исчез. По слухам, он снова предался педагогической деятельности, поступив воспитателем сыновей к одному из воронежских уездных предводителей дворянства...

— Так-то лучше, — говорили потом соседи. — Руби дерево по плечу. А то какой-то гувернеришка вздумал разыгрывать... — Одним словом, находили, что как педагог Бонбонель на своем месте, а вот в роли кутящего помещика сплоховал...

Покончив с Бонбонелем и несколько повременив, Кукушка решила сделать попытку примирения с нашими, то есть с отцом и матушкой. По обыкновению, она начала издалека, она никогда не делала прямо. Ей непременно нужны были всегда окольные пути, слухи, записки и тому подобное. Так и теперь. Она начала с того, что прислала свою старую дворовую Фиону. Эта женщина должна была, под каким-то предлогом, повидаться с матушкой и передать ей о том, что Кукушка «убивается», тоскует, ничего не ест, все тужит, что не может к нам приехать.

— Уж вы, матушка барыня, на них не сердитесь, простите их, — заключила посланница.

— Бог с ней, Фиона, — говорила матушка. — Я на нее не сержусь, а вот только для детей это будет неприлично, — то есть это про нас.

— Ну, матушка барыня, он еще маленький, ничего не понимает, — продолжала Фиона.

Потом матушка ссылалась на отца, говорила, что он едва ли согласится принять Кукушку, что он, если уж что раз сказал... и т. д., и т. д. Переговоры эти велись долго. Потом Фиона уехала. Потом опять приехала. Наконец в первых числах сентября, как раз в канун того дня, как меня повезли в гимназию, вечером у нас вновь появилась Кукушка. Теперь она приехала, конечно, попрежнему, не нарумяненная, не завитая, без бантиков. Приехала и прошла прямо к матушке в спальную. Они там что-то долго сидели, запершись, и, наконец, вышли обе с заплаканными глазами. При виде меня она распустила свою слезливую улыбку и как-то несмело обняла и поцеловала меня в лоб. В этих объятиях ее я ощутил запах каких-то очень тонких духов. Прежде, до Бонбонеля, она никогда не душилась. Это были, значит, остатки

Бонбонеля. Дети ужасно глупы. Они не понимают нравственных фактов без видимых признаков их совершения или вообще бытия. Так и тут я все искал в ней преступных остатков Бонбонеля...

Она держала себя как-то так, что напоминала собачонку, когда нашли следы ее дурного поведения и зовут ее для наказания к месту преступления. Поздно вечером, уж когда нас уложили спать, состоялось свидание ее с отцом. Наутро она была уж снова неузнаваема: такая же задира, те же шпильки, те же поползновения всех учить. Точно истории с Бонбонелем у нее никогда не бывало. Точно она сама безупречная. Разумеется, это всех дразнило и вооружило против нее. M-lle Бибер первая не выдержала и оборвала ее, а мисс Джибсон так и совсем не приходила к чаю, так что ей носили его в ее комнату. Она вышла оттуда лишь за несколько минут до того, как мне нужно было уезжать. На все вопросы Кукушки она отвечала: «да», «нет», и старалась даже не глядеть на нее. В руках у нее был в прехорошеньком футляре ее молитвенник, который она дарила мне теперь на память. Кукушка по обыкновению, полюбопытствовала и хотела взять его у нее и посмотреть, но она ей не дала, точно не желая, чтобы она прикасалась к нему даже своими нечистыми руками...

— Я вас прошу показать мне, — говорила она.

— Это молитвенник, — сухо отвечала ей мисс Джибсон.

— Я знаю, что молитвенник. Я хочу посмотреть.

— Я вам говорю, что это молитвенник.... — повторила англичанка и так и не дала ей его в руки.

Кукушка распустила улыбку и отошла.

Наконец настал момент и самого отъезда. По обыкновению, все сели, потом встали, начали креститься на образа, потом начали крестить меня. У всех на глазах были слезы. Когда дошла очередь прощаться с Кукушкой, она тоже уронила несколько слез, тоже осенила меня крестным знаменем, поцеловала и что-то начала совать мне в руку.

— Что это? — спросил я.

— Это после... доро́гой посмотри.

Дорогой я посмотрел — это было пять новеньких золотых...

23

Я приезжал в деревню из гимназии и на святки и на летние каникулы. Кукушку я видал почти каждый раз. История с Бонбонелем как-то забылась. Но сама Кукушка была не той, какой она была прежде. Прежде она была чем-то вроде приживалки, сестрой богатого помещика, несколько странного, но пользовавшегося репутацией честного и прямого человека. Ее принимали везде и были к ней внимательны ради него. Теперь она была опекуншей детей этого брата, в ее заведовании было огромное, едва ли не самое большое имение в уезде. Один доход с имения был целым состоянием: его получалось тысяч до пятидесяти в год, несмотря на то, что имение, то есть земля вся была роздана по частям в аренду, купцам и кулакам-мещанам. Прежде, при дяде, ее снимали мужики, но теперь Кукушка нашла более выгодным сдавать купцам и кулакам. Деньги она клала в банк или раздавала взаймы помещикам-соседям, под залог земли. Дети, то есть Леня с Женей, получали «на конфеты», что хотя и составляло более тысячи рублей в год, но что же это в сравнении с доходами! Воровала ли у них Кукушка — я не знаю, но у «сирот» все-таки образовался капитал, который и рос с каждым годом. Во время общего тогдашнего безденежья свободные деньги у Кукушки и возможность занять их у нее дали ей такое положение, о котором прежде она, конечно, и не мечтала. За ней все ухаживали, подличали перед ней, заискивали. Она ломалась и капризничала. И притом с каждым годом делалась все скупее и алчнее. Она «приобрела» путем просрочек и неустоек по закладным уже несколько имений для «сирот». И без того огромное состояние все увеличивалось с каждым годом. Она все увеличивала проценты и все безжалостнее становилась с попавшими к ней в кабалу.

— Это ведь не мои деньги; я не могу их дарить, — говорила она, точно кто просил у нее их в подарок, — это сиротские деньги, и я должна в них дать отчет и людям и богу. Если кто хочет сирот обидеть, того бог накажет. Вот так и Ивана Петровича. Взял он сиротские деньги, хотел их не отдать, ан бог-то и не допустил.

И она с хладнокровием и безжалостностью самого отъявленного ростовщика выживала иногда многочисленную

семью из ее родного гнезда, несмотря на то, что ничем не рискованной отсрочкой могла бы дать возможность расплатиться с ней. Но этого-то она и не желала. Ей нужно было именно, напротив, запутать должника и все у него отобрать. Выходили ужасные, раздирающие сцены; а она улыбалась, говорила, что она не вправе ничего сделать. Она дошла, наконец, до издевательства над своими жертвами. Так, однажды, выселив какого-то несчастного из его гнезда, она его детям подарила по новенькому золотому на счастье и прочла им при этом еще наставление, как надо беречь деньги. Потом жене этого несчастного она посылала с Фионой разные свои обноски, которые бедная женщина поневоле брала...

Раз, я помню, одна из подобных сцен разыгралась у нас в доме. Отыскивая ее и узнав, что она у нас, один из ее должников-помещиков приехал к нам упрашивать ее отсрочить продажу его имения за долг ей. Я помню, это было летом. У нас никого не было, то есть и отец и матушка у кого-то были дня на три в гостях, так что кроме меня и Кукушки — никого. Он долго упрашивал ее, она все не соглашалась. Наконец он написал записку и с этой запиской послал куда-то своего кучера. К вечеру приехала его жена с детьми. Я никогда не забуду слез и мольбы этой несчастной женщины и ее пятерых или шестерых детей. Дети плакали, разумеется, видя слезы матери, не понимая хорошо, о чем она плачет, но ведь она-то, Кукушка, понимала, в чем дело, что́ она готовит им, — и все-таки ничего на нее не подействовало. Детей она брала и сажала к себе на колени, давала им леденцы, говорила, что плакать нехорошо, стыдно, даже целовала их своими сжатыми, бледными устами, а поставила на своем-таки. Я, кажется, никогда не забуду этой сцены. Она продолжалась целый день, с утра до позднего вечера, когда, наконец, они уехали. Я и теперь ужасно нервный и впечатлительный, а тогда, в пятнадцать лет, был еще слабее, и был во время этой сцены один момент, когда я хотел ударить ее чем-то по голове. Я уж, право, не знаю, как только я удержался тогда и не ударил ее. Но день этот все-таки не прошел мне даром: у меня к ночи сделалось что-то вроде нервной горячки, и я всю неделю был болен, доходил до бреда, осунулся, исхудал...

Через два-три года такой деятельности она сделалась ужасом для всех.

— Нет, «им» это впрок не пойдет, — говорили все. — Она «им» из слез кует деньги. Эти деньги впрок не идут...

— Деньги все одинаковые — все царские. Легко они никому не даются. Ведь я их не ворую, да и не для себя их берегу, — оправдывалась она.

— Ах, Евпраша, и что ты на свою душу слез принимаешь, — говорила ей матушка.

— Что ж, мой друг, я сделаю. Если я не стану беречь сиротского, кто же тогда станет. Сирот всякий норовит обидеть.

— Ну, кто ж их обижает. Им и своего не прожить. Зачем ты это делаешь?

— Да что ж я такого делаю? Ведь он сам просил на полгода, ну я и дала на полгода, а если он в срок не платит, так чем же я виновата? Это уж закон у нас такой строгий, а не я...

— Да ведь от тебя закон-то этот зависит. Ты дай человеку вздохнуть, оправиться, а то она сейчас же закон...

— Я все по закону. Я не хочу так. Бог с ними: мне подай мое, а чужого мне не надо. Бог с ними...

— Ну, смотри, Евпраша, отольются тебе эти слезы. Много уж ты очень их пролила...

— Не твои слезы. Тебе-то что ж их жалеть?

— Я для твоей пользы говорю, для твоей души... и потом, почем еще ты знаешь, скажут ли «они» тебе за все это и спасибо-то?..

— А не скажут — бог с ними. Их самих бог за это накажет, если они не будут любить и уважать тетку, которая сделала для них столько добра... — И не было никакой возможности поколебать, тронуть ее...

А те, во имя кого она стяжала, кем оправдывалась и прикрывалась, — росли. Леня уже третий год был в училище; третий же год была в институте и Женя. Ее нельзя было брать на каникулы — тогда такое там было правило, — но его она могла брать; он просил, но она все-таки и его не брала.

— Для чего это ты, Евпраша, делаешь? — говорила ей матушка. — Он бы здесь в деревне поправился бы, а то ведь там, в Петербурге, сама знаешь, какой климат,

И потом, как тебе не любопытно посмотреть на него, что из него выходит?

— Что же там смотреть?

Но раз как-то она созналась, что не берет его потому, что ей хочется, чтобы история ее с Бонбонелем еще больше, если не окончательно, всеми забылась.

— Понимаешь теперь?..

— Понимаю... Ему который теперь год?

— Теперь? Четырнадцать — пятнадцатый.

— Мой совет: возьми его, Евпраша, на будущий год на каникулы. Приучи к себе, а то он совсем тебя забудет... Зачем понапрасну восстановлять его, отказывать ему?

— Ты думаешь?

— Да...

— Ну, до будущего года еще далеко, поживем — увидим, — решила она и улыбнулась. — А знаешь, — продолжала она, — если, бог даст, все пойдет как теперь, то к его совершеннолетию я ему состояние ровно удвою... А ты говоришь, он меня забудет. Разве за это забывают?..

24

Где-то выше я сказал, что родительское предположение об отдаче меня в лицей, полный традиций, воспоминаний (конечно, в воображении отца) о Пушкине и его сверстниках, на деле заменилось отдачей меня просто в нашу губернскую гимназию... При этой гимназии был «благородный» пансион. В него принимались исключительно дети помещиков нашей губернии, которые жили, ели, пили и готовили там уроки за какую-то довольно высокую плату. Утром, в девять часов, давали чай, выстраивали попарно и под предводительством дезертира-француза или бывшего аптекарского помощника немца (дежурные воспитатели) вели в гимназию на лекции. В три часа приводили обратно. В это-то именно «заведение» я и попал.

Как и всякий, я видел на своем веку, разумеется, много разных учебных заведений. Более или менее все они у нас на один манер, то есть, собственно, однородные. Так, все гимназии похожи одна на другую; все

петербургские привилегированные заведения тоже повторение друг друга, с самыми ничтожными детальными различиями, и т. д., и т. д. Но наш «благородный» пансион был нечто особенное, исключительное. Это была какая-то сеча запорожская. Я, впрочем, спешу сейчас же сделать оговорку: да не подумает читатель, что это было нечто буйное, разнузданное, бесшабашное, — нет, напротив, если я назвал пансион сечей, то единственно потому, что там и здесь люд жил вольно, лихо, не признавая по принуждению ничьего авторитета, ничьей власти, кроме своей излюбленной власти, своего авторитета...

Я даже далек от того, чтобы выставлять этот пансион чем-то образцовым, заслуживающим подражания. Я не могу этого делать уж по одному тому, что какой же я педагог. Но в то же время я должен сказать и то, что едва ли много найдется людей, которые вынесли бы из заведения по выходе из него и потом сохранили бы столько теплых, живых, благодарных воспоминаний, как я... И все это произошло при самых странных, оригинальных условиях...

В пансионе нас было всего-навсего человек тридцать — тридцать пять. Как я сказал уже, все мы были дети местных более или менее крупных или по крайней мере состоятельных помещиков. Независимый, не знавший нужды, вольный народ дома, мы и сюда пришли и удержали за собой тот же дух. Начальство помогло нам, а как и чем — об этом я и хочу сказать здесь несколько слов.

Директор гимназии был преоригинальный человек. В мое время ему было лет пятьдесят. Он был холостяк. Когда-то и где-то он был учителем латинского языка. К нам, то есть в гимназию, он попал уж в сане директора. Тем не менее он страстно любил римскую литературу. Он что-то такое писал, готовил к печати. Мы видели целые стопы мелко исписанной бумаги — это все была его работа. Уж я не знаю, куда это все девалось потом... Он вставал рано, часа в четыре, и садился за работу. В полдень он начинал сам себе готовить обед, и готовил его все время, пока мы были на лекциях. Когда нас вели обратно из гимназии в пансион, мы проходили мимо его окон, и он раскланивался с нами. Я как сейчас вижу его, в белой куртке, в поварском колпаке, красного, улыбающегося... Он был друг всей губернии. Ему со всех сторон везли и

носли: кто удивительных карасей, кто необыкновенных поросят, кто уток-просянок (откормленных чистым просом), кто гусей с распоротыми лапками (лапки распарывают им, когда их кормят на убой, для того, чтобы они не могли плавать, чтобы меньше было движений и, следовательно, скорее наедали бы жир), кто меду, кто наливок и т. п. Он не делал из этого никакого секрета, он даже хвастался этим. Если кто забывал или запаздывал присылкой, он сам напоминал. Встретит как-нибудь воспитанника или даже нарочно пришлет, бывало, за ним и сделает выговор.

— Это, братец, что же такое?

— Что, Иван Ефимыч?

— Как что? Сам должен знать. У вас птицу когда били? На Николин день. Теперь уж святки, а «просянок» нет. Вот (такой-то) гусей прислал. Стыдно, стыдно...

— Не знаю, Иван Ефимыч, почему.

— Ничего, не оправдывайся — стыдно; напомни... Сегодня же напиши.

Я помню, у нас дома были какой-то необыкновенной белизны и нежности поросята. Он ценил их очень высоко.

— Вот этот раз утешил. Это я понимаю... Это поросята... Завтра приходи к обеду...

— Спасибо, Иван Ефимыч; они уж и дома мне надоели.

— Дома! Разве у вас умеют с ними обращаться? В прошлом году с ревизии я заезжал к вам, так разве можно так жарить? Этакое сокровище и так изгадить. Да я бы на месте твоего отца расстрелял бы за это повара...

— Недожарил?

— Какое недожарил! Надо сразу огнем охватить, да так и держать, иначе весь жир вытечет, а он сдуру — слышал звон, да не знает, где он — взял да спалил, ну, жир, разумеется, и вытек... Век я этого ему не прощу!..

У него был подобран свой кружок, который и собирался ежедневно к нему на обед. Но да не подумает читатель, чтобы он принимал все это в виде взяток, — нет. Он, кажется, горло перервал бы тому, кто осмелился бы предложить ему что-нибудь, кроме этой дряни. Он был в этом отношении честнейший человек... Тем не менее что же это за директор? В гимназии, то есть в классах,

он бывал по субботам, а у нас, в пансионе, по воскресеньям, после обедни, когда мы садились за завтрак. У нас был отличный, в полном смысле слова, казенный обед, но кроме того у каждого были еще и разные свои закуски. Он пробовал их, одобрял или находил нехорошими.

— Нет, — вы варвары: вам что ни дай, всё съедите. Ну, разве можно это есть? Разве слыханное дело разогревать пулярку?..

Его звали «Петухом». Он это знал и смеялся.

— Ничего, «Петух» был хороший человек; поживете на свете — еще хуже меня много народу встретите...

Он пользовался общей любовью и предупредительностью. Все знали, что это добрейший, бескорыстнейший человек, и все рады были ему услужить. Этих поросят, карасей и проч. везли ему, так же точно как и мы, и люди, совершенно ему не подчиненные, у которых никогда и не бывало детей. Просто все чувствовали, что как-то совестно съесть лакомый кусочек, не поделившись с Иван Ефимычем.

Нашу пансионскую домашнюю жизнь он организовал на особый манер.

— Вас сколько?

— Тридцать пять.

— Хорошо. Есть между вами ведь семнадцатилетние даже. Неужели вы не можете сами за собой наблюдать? Всё дядьки да гувернеры нужны? Сами за порядком смотрите. Устройте, чтоб был порядок. Будет?.. А?..

— Будет, Иван Ефимыч.

— Честное слово?

— Честное слово!

И, честное слово, был такой порядок, какого не завести никаким гувернерам. Это не был порядок вынужденный, парадный, показной; нет, — это был порядок действительный, и установился он во имя сознания каждым собственного достоинства. Его боялись нарушить потому, что образовалось общественное мнение, которое осуждало нарушителя строже всякого начальства.

— Дурачиться можно как хотите, — говорил он «маленьким». — Прыгайте, деритесь, бранитесь — это все вздор. Главное — не лгать... Солгал человек — и пропал, потому что солгать второй раз ему уж необходимо, чтобы вывернуться из первой лжи. А там и пойдет. Так и про-

падет, навек пропадет человек. Если тебя люди не уважают — это пустяки, они могут тебя не знать, не понимать и потому не уважают, но вот беда, когда ты сам себя не будешь уважать. А разве лжец может себя уважать!.. О-о! ради бога, не лгите, не лгите...

Он воодушевлялся при этом до какого-то вдохновения и производил, разумеется, сильное впечатление. Он действительно добился того, что ему не лгали. По крайней мере очень были редки такие случаи. Я помню, раз попался во лжи уж не новичок (новичкам он прощал ложь), попался воспитанник, которого он очень любил даже, и это его ужасно как огорчило.

— Эх, братец, что ты наделал, что ты наделал, — повторял он, схватился за голову обеими руками и так и убежал из пансиона. Он не говорил с ним после этого месяца три, даже избегал глазами встретиться. В свою очередь и этот был в дурацком положении. Он солгал ему в каких-то пустяках, без всякой надобности, так — вздор какой-то, и не подозревая, что из этого выйдет подобная история. Мы все советовали пойти к нему и прямо объяснить, как все это произошло. Он и ходил. Тот принял его, выслушал очень сухо, сказал: «Очень хорошо», но это не помогло. На другой или третий день ему прислали индюков, удивительно откормленных манной кашей с кнелями из телятины.

— Я боюсь их послать ему — не примет, пожалуй, — говорил он нам, когда мы собрались и рассматривали удивительных птиц. И мы все были уверены, что он их не примет.

— Попробуй, пошли, только вряд ли примет.

Послали, но он действительно их не принял.

— Посмотреть посмотрели, даже ощупали, а принять отказались, — говорил посланный.

Так мы сами и съели этих необыкновенных птиц. После, когда «он помирился» (иначе он не выражался), он говорил:

— Ну, посуди, братец, сам, что ж тут хорошего? Мне-то сделал неприятность, себе тоже, и птицы задаром пропали.

— Мы их, Иван Ефимыч, съели все-таки, — сказал кто-то из нас.

— Вы всё съедите. Разве вы понимаете что. Конечно, пропали... — Однако спросил, были ли индюки в жиру и какого цвета был жир — белый или желтый.

— Палевый.

— Ну, это не то. При таком корме жир должен быть совсем как полотно белый... Им, кроме каши и телятины, должно быть, еще что-нибудь давали, — заключил он и как будто нашел в этом некоторое утешение: потеря, значит, была уж не такая огромная.

Мы, разумеется, смеялись над всем этим, но вместе и глубоко, бесконечно любили его. За ним ухаживали и смотрели как за ребенком. Зимой, когда он уходил из пансиона, его закутывали, повязывали ему кашне, глубже нахлобучивая ему его шапку с ушами, и проч...

Счастливый, конечно, случай занес сюда же, в нашу гимназию, еще две светлые личности — учителя словесности и учителя истории. Это были люди другого совсем тона, но и их горячо любили. Они обращались с нами совсем по-товарищески. Мы, старшие, конечно ходили к ним, просиживали у них целые вечера, читали, говорили, пили чай, ужинали. Эти, если можно так выразиться, фанатизировали в нас любовь к чтению, к умственной жизни. Начиная с пятого класса, мы (почти все) запоем, как говорится, читали всё, что только выходило тогда хорошего и живого. Так прочитали мы Белинского, Добролюбова, Тургенева, Некрасова. Сколько споров, горячих, искренних, вызывали эти чтения!.. Мы жили в степной глуши, черт знает в какой дали от этих людей, но они были близки нам, потому что мы понимали их. Это были года 61-й, 62-й... Они, эти двое, сделали. то, что когда кто-нибудь спрашивал нас, куда мы намереваемся поступить после гимназии, мы с удивлением встречали такой вопрос и отвечали:

— Как куда? Разумеется, в университет...

Нам казалось даже непонятным, как это можно остановиться и не идти дальше, в университет. С шестого класса мы уже фантазировали на тему, как устроимся по приезде в Москву, в Петербург, в Харьков. Может быть, это покажется кому-нибудь и смешным — пускай! — но у нас были даже партии такого рода:

— Ты куда?

— Я в Москву. Там Соловьев.

— Нет, я к Костомарову, в Петербургский университет...

И мы спорили, чуть не до ссоры спорили каждый за своего любимца.

Повторяю, все это было, может быть, и смешно, но это было искренно, честно, полно жизни. Чего бы я не отдал, чтобы вернуть это время, чтобы пожить мне опять хоть годок этой *смешной* жизнью!..

Наступала весна. Скоро должны были начаться у нас экзамены. Я переходил из пятого класса в шестой. Оставалось мне, значит, еще два года до университета.

25

Экзамены у нас почему-то в этом году кончились гораздо раньше обыкновенного. Все мы, разумеется, перешли. За всеми прислали к назначенному дню лошадей из дому. В пансионскую переднюю собрались присланные за нами дядьки, кучера. Привезли письма, пирожки, жареных цыплят, поросят «на дорогу». От кого-то привезли Ивану Ефимычу в бочках с водой живых карасей, необыкновенно крупных и золотых. Он был тут же. Велел карасей выловить оттуда и положить в большой медный таз. Они прыгали, а он смотрел на них и приговаривал:

— Ага, попались! Вот ужо!.. Ну, пускай их опять в воду.

Мы собирали свои пожитки, приехавшие за нами кучера и дядьки рассказывали деревенские домашние новости. Все торопились, суетились, прощались, давали обещания писать друг к другу, приехать повидаться.

— Прощайте, Иван Ефимыч.

— Прощай, прощай. Кланяйся там от меня. Не забудь за поросят-то поблагодарить!..

Все смеются, садятся в тарантасы... разъехались...

— И Леня из Петербурга приехал третьего дня, — говорит мне матушка.

— Вы видели его?

— Нет еще. Евпраша сегодня пишет, что она с ним в среду к нам приедет. Пишет, что он ужасно вырос, похорошел... Ты знаешь, ведь он перешел оттуда. Он теперь в лошадином училище.

— Отчего же это?

— А уж не знаю. Об этом она пишет, а почему — не говорит. Это ведь тоже отличное заведение. Оттуда тоже с такими правами выпускают. И оттуда прекрасно можно карьеру сделать... — Она вздохнула при этом, и я понял этот вздох в том смысле, что вот-де людям счастье: они своих детей умеют воспитывать, они выйдут в люди, а «мы», и т. д.

Я, разумеется, смотрел на все эти лошадиные и прочие училища свысока, и мне как-то больно и горько стало за нее, не за себя, конечно.

— О чем это вы вздохнули? — спросил я.

— Так.

— Нет, не так. О том, что я не там? Да?

— Что ж делать!

Я самодовольно рассмеялся.

В среду, когда мы только что сели за завтрак, приехала Кукушка с Леней. Он был уж в мундирчике лошадиного училища, действительно очень вырос, стал выше меня. Был очень красив, строен и таким франтом. Только ужасно что-то бледен.

— Ах, Леня, какой ты стал красавчик — весь в отца-покойника, — говорила ему матушка. — Вот отчего ты бледный такой?

— Ах, ma tante, эти экзамены, дорога...

Со мной он встретился очень любезно, только как будто покровительственно.

— Ну что ты поделываешь? — спрашивал он меня как-то вскоре.

— Да ничего. Что ж теперь делать? Экзамены кончены...

— Да, ведь ты здесь в гимназии. Что это, твоя фантазия собственная или отцовская?

— Что такое?

— А вот поступить в гимназию.

— Какая же это фантазия?

— Разумеется, фантазия. Куда же ты после?

— В университет.

— Помилуй, братец. «Они» черт знает чего наделали. И университет этот их закрыли... (1862 года).

— Откроют.

— Когда это еще. Да потом, что это за карьера. Ты, может, в профессора хочешь?

— Я не знаю... может...

— Нет, мой совет, «пока еще не поздно», брось это и переходи к нам. Если твой отец тебя отдал туда по расчету — это пустяки, во-первых, и потом, если нужно, я велю Кукушке платить за тебя...

Меня передернуло от этих слов, но я промолчал.

— Серьезно, — продолжал он. — Ты сообрази только. У нас ты кончишь курс подпоручиком, тебя выпустят в гвардию, в какой ты хочешь полк... Ну, выбери какой поскромней. Через год...

Он начал развертывать план будущих производств, назначений и проч. с таким знанием и компетентностью, что я с полным изумлением смотрел на него.

— Кажется, ясно? Расчет налицо. А этим ты, пожалуйста, не стесняйся... Я тебе говорю: я велю Кукушке платить.

— Мне нечего стесняться. Я просто не хочу переходить к вам. У тебя одна дорога, у меня, может быть, другая.

— Каприз... ложное самолюбие... — сказал он и перекинул нога на ногу. — Мой совет: подумать, — продолжал он, разглаживая правой рукой красный лампас на ляжке.

— Нет, уж и думать нечего. Деньги твои тебе больше моего нужны.

— О, какой ты ерш, братец. Денег у меня много. Не хочешь, и не нужно. Не маленький — сам можешь сообразить... Однако переменим разговор... Ты знаешь, она (то есть Кукушка) за это время целых четыре имения приобрела. И, говорят, прекрасные имения. Это и никакого управляющего не нужно. Когда и опека кончится, я ее все равно оставлю. Где теперь такого управляющего найдешь?

— А ты знаешь, как она делает тебе эти приобретения?

— Нет, а что?

Я рассказал ему приемы Кукушки, всё рассказал. Он выслушал все это, иногда морщился, но потом сказал:

— Черт с ней. Она действительно на все способна. Но как опекунша, как управляющий... Иначе, впрочем, ведь и нельзя приобрести. В этом смысле ей цены нет...

— Послушай, ведь это ужасные, кровавые деньги! — почти вскрикнул я.

Он оглянулся на меня, улыбнулся и проговорил:

— Да я-то тут при чем? Что ж я могу сделать?

— Как что! Помилуй! Ты можешь ей сказать, что не желаешь, чтобы она обирала твоим именем... Мало ли что ты можешь ей сказать. Она должна тебя послушать. Она, все говорят, делает это на твои деньги...

Он отвечал мне как-то странно. Я не мог понять хорошенько, почему он так отвечает. Он говорил про себя, что не имеет права... потом говорил, что он не один, что я забываю, что у него есть сестра, которая тоже со временем должна получить свою долю... Я решил, что он не понимает, как следует, что он просто неразвит и притом у него, несомненно, должно быть жесткое сердце, потому что, когда я ему рассказывал одну какую-то историю, как Кукушка кого-то обобрала, он даже улыбнулся.

— Тебе это смешно? — спросил я.

— Конечно, смешно. Как это не справиться с такой дрянью. На нее хорошенько прикрикнуть, и она с перепугу что угодно назад отдаст...

— Вот ты и прикрикни.

— И прикрикну, когда мне это нужно будет... Ну да черт с ней. Ты лучше вот что скажи мне.

Он спросил о чем-то совсем уж другом. К обеду приехали кто-то из соседей, увидали Леню и не хотели верить, что это он именно и есть.

— Ах, что значит казенное-то заведение. Как оно их исправляет. Помните, четыре года назад, ну кто бы мог подумать, что из него такой молодец выйдет? В гвардию, конечно?..

— Думаю, — скромно улыбаясь, отвечал Леня.

— В гусары?

— Нет, хотелось бы в кирасиры...

— Конечно, в кирасиры. И рост у вас прекрасный. Да вы, если в отца пойдете, еще много вырастете. Молодец, молодец... Лет через пять флигель-адъютантом к нам приедете... Мы вам уж тут такую невесту приготовим... хе-хе...

Леня слушал и продолжал улыбаться.

— Вот болван-то, — проговорил он по-английски. — Ты не знаешь его?

За эти годы пребывания в гимназии я совсем почти позабыл английский язык. Мисс Джибсон у нас уж давно не было, так что я затруднился ему ответить, а сказать по-французски опасался, что этот поймет. Поэтому я промолчал. Он повторил вопрос. Я кое-как, по старой памяти, связал фразу и ответил.

Когда мы вскоре как-то остались вдвоем, он мне сказал:

— Вот видишь, твоя хваленая гимназия-то что делает. Вот ты, я вижу, уж английский-то язык забыл. А нынче куда ты покажешься в общество без него?.. Нет, серьезно, подумай...

С Кукушкой он вел себя, как ведут с бедной родственницей, полной разных странностей и причуд. Он, однако, не говорил ей никаких грубостей, а так, отвечал нехотя, не торопясь, делал странные вопросы, делал замечания относительно ее не по моде сшитых платьев и проч.

С матушкой он был особенно любезен. Несколько раз поцеловал у нее руку без всякого, по-видимому, повода: «просто потому, что он благовоспитанный мальчик».

— Вот, ma tante, я его все зову к нам в училище. Вы ничего не будете иметь против? Вы ему позволите перейти?

Матушка посмотрела на меня и испустила вздох с тем же смыслом, как и тот раз: зелен, дескать, виноград.

Он был, однако, настолько деликатен, что не стал продолжать этот разговор и заговорил о чем-то другом.

Единственная уцелевшая из всех трех гувернанток (с отдачей сестры в институт их отослали) Амалия Карловна просто не могла насмотреться на него. Старухи-няньки были тоже в восторге.

— Господи, какой красавчик-то вышел, — говорили они и любовались на действительно стройного и красивого юношу...

Они (то есть Леня и Кукушка) прогостили у нас с неделю и уехали домой.

— Вы его, ma tante, отпустите «ко мне», — говорил он про меня матушке, точно у меня не было своей воли. — Ты, надеюсь, приедешь? — спросил он потом меня.

— Приеду, отчего же.

Недели через две я поехал. Он встретил меня как совершеннолетний, полный хозяин. Он всем распоряжался

в доме, его спрашивали, он приказывал, делал выговоры. Кукушка совсем стушевалась. При мне за два, за три дня, которые я у них, или, правильнее, у него, пробыл, он сделал ей несколько замечаний. Раз она попробовала было что-то возразить, но он так заметил ей, что он уже, кажется, не маленький, что она сейчас же замолчала.

— Вы, тетушка, кажется, будете думать, что я все ребенок, даже и тогда, когда у меня дети будут...

— А может, они у тебя уж есть?

— Может.

— Очень мило. В твои годы...

— Да, в мои годы.

Это было за обедом. Мы сидели втроем: он, она и я. Он помолчал немного и спросил меня:

— А помнишь ты Бонбонеля?

— Разумеется.

— Где он теперь?

— Не знаю.

— Тетушка, где он?

— Я почем же знаю. — И ее так и передернуло. Она позеленела даже. Он отлично заметил это и, не показав вида, продолжал:

— Я хочу его выписать, чтобы он мне к будущей осени охоту собрал. А то тетушка всех моих великолепных собак переморила без него. Не забудьте, пожалуйста, выпишите его. Вы не забудете? а то я сам распоряжусь...

— Кажется, ты мне бы хоть при прислуге-то мог не говорить о нем, — сказала она невозможным французским языком. Он улыбнулся и по-русски спросил ее:

— Почему?

Это было уже слишком. Она встала и вышла из-за стола.

— Не нравится, — усмехнулся он... — Ей только позволь — она там на шею влезет... А что, ты не знаешь, были у нее дети от Бонбонеля?

— Я-то почем знаю.

— Да ведь ты тут жил. Ты еще дома был в это время. Они нарочно нас с сестрой раньше отвезли в Петербург, чтобы мы не мешали им. А я все-таки его выпишу. В пику ей выпишу...

— Ну, она и бросит, уедет... А тебе так нравится ее хозяйничанье...

— Да, вот это в самом деле. Ну, я так, пугать ее буду им.

В конце лета он как-то вдруг собрался и уехал в Петербург, еще недели за две до срока, в который он должен был явиться в училище. Вскоре после его отъезда Кукушка приехала к нам и объявила об этом. Она была какая-то странная, растерянная, недоумевающая.

— Ты знаешь, Наденька, сколько денег он с собой взял? — спрашивала она в разговоре с матушкой.

— Нет, сколько?

— Двадцать тысяч...

— И ты дала ему?

— Что ж я поделаю... Ты спроси вот Сережу, как он со мной стал потом обращаться...

— Он что-то говорил...

— А что под конец было! Ты его не узнала бы. Это он здесь у вас таким прикидывался. Ты бы его дома посмотрела...

— Ты, Евпраша, балуешь его. Ты испортишь мальчика...

Зимой я был на святках в деревне. Как-то приехала Кукушка, и, разумеется, зашел разговор и о Лене. Кукушка была в совершенном отчаянии. Она говорила, что чуть не каждую неделю он пишет ей о деньгах, и она не может не высылать, потому что он грозит в противном случае выйти из училища и приехать сюда или прислать Бонбонеля в качестве управляющего.

— Ты пойми, Наденька, что тогда выйдет, — с непритворным испугом говорила она.

— А знаете, что я вам посоветую, — сказал отец. — Ему который год?

— Скоро шестнадцать.

— Ну вот видите. В эти годы уж поздно его переделывать. Да и как и кто станет этим заниматься. Поэтому самое лучшее, что вы можете придумать, — это свалить с себя опеку. У вас есть свое собственное прекрасное состояние. Зачем вам все это выносить.

Но она, разумеется, не согласилась. Она не могла расстаться с ролью, в которую уж так вошла, с которой уж так свыклась. Она упиралась, медлила, жаловалась на отсутствие свободных денег, но в конце концов все-таки посылала ему их.

— Да куда ж ему столько? — спрашивали ее. — В карты он там играет. Ну, пишите директору.

— Я ему грозила... Он отвечает, что если я это сделаю, он завтра же вышлет Бонбонеля сюда.

— Да разве он уж у него?

— Выписал. Он там. В прошлое свое письмо он вложил и его письмо ко мне, и такое, знаете, неприличное...

— Бросьте, Евпраксия Павловна. Вам нет другого выхода.

— Это легко сказать.

— Ну, все равно, сами это увидите.

— Бог с ним. Его бог за это накажет... А я все-таки для него еще приобрела. Покровку Василий Васильевичеву за собой оставила по второй закладной.

— Вот это вы еще одно гнездо разорили... Для чего это? — усовещивали ее. Но она точно окаменела:

— Так... уж заодно...

26

Опять пришла весна, начались и кончились у нас экзамены, и я опять приехал домой. Мне оставался один год еще пробыть в гимназии до университета. Тогда еще не было аттестатов зрелости. Тогда еще все равно и с гимназическим аттестатом приходилось при поступлении в университет держать экзамен, я сильно готовился к этому. Я отдохнул по приезде с неделю и опять принялся за книги. О Лене не было никакого слуха даже. Кукушка говорила, что и она ничего не знает. Она была, однако, встревожена. Он ей уж около месяца ничего не писал и не требовал денег.

— Я как на иголках, того и гляжу он вдруг явится с этим негодяем.

— Это вы, тетушка, про Бонбонеля?

— Разумеется.

Вдруг как-то вечером уж поздно приехал посланный из Сосновки.

— Молодой барин изволили приехать.

Она так и ахнула. Ждала она этого сюрприза, и все-таки он поразил ее.

— Ну, вот мой и конец, — насилу проговорила она и

попросила воды. Ей подали. Она минут с пять не могла слова выговорить. Наконец оправилась и спросила:

— Один?

— Нет-с, с товарищем... Две француженки с ними... барыни.

— Какие барыни?

— Французские-с...

— А этот... негодяй этот... Нет его с ними?

Посланный смотрел на нее и, очевидно, не понимал, про кого она говорила.

— Ну, этот негодяй-то с ними? — повторяла она, не решаясь назвать Бонбонеля.

Кто-то уж выручил ее, спросил определенно. Оказалось, что Бонбонеля не было.

— Я поеду...

Матушка начала ее уговаривать не ездить. Бросить все, и только.

— Это даже неприлично тебе. Они бог знает кого с собой привезли, а ты поедешь.

— Нет... я уж все-таки поеду. Нет... у меня что-то сердце неспокойно.

И она действительно в тот же вечер собралась и уехала.

Этот же посланный привез и мне записку от Лени. Он звал приехать к нему. Говорил, что у него будет гостить все лето один из его товарищей, очень милый малый, с своей содержанкой, приятельницей его содержанки, и нам всем будет очень весело. Записка была написана по-русски, каким-то детским почерком, крайне безграмотно, с маленькими запятыми, как это делают обыкновенно те, кто не знает, где их надо ставить. Я прочитал ее и передал отцу.

— Ты поедешь? — спросил он.

— Во всяком случае не теперь...

Матушка, ужасно всегда опасавшаяся за мою нравственность, когда узнала содержание записки, прямо начала говорить, что мне незачем туда ехать.

— Да я и не еду, — успокаивал я ее.

— И не езди. Вовсе не езди.

На другой день к вечеру Кукушка была уж у нас обратно. Она была неузнаваема. Ее начали успокаивать, расспрашивать, но она словно ополоумела. Когда она,

наконец, немного успокоилась, мы узнали, что «он» встретил ее вопросом: что ей нужно.

— Это меня-то. Меня, которая почти удвоила ему состояние, которая возилась с ним, которая... — И она нервно взвизгнула, зарыдала, залилась слезами... — И Бонбонелька с ними. Это они нарочно не велели говорить посланному. Это он их и привез. Он их и научил всему...

— Перестань, Евпраша, успокойся. Ты и без него проживешь. У тебя свое состояние есть, — успокаивали ее, но она корчилась, рыдала, визжала. Ей давали воды, давали нюхать спирт, одеколон, ничто не помогло. Я так и ушел к себе спать, а она все была в том же состоянии. Наутро оказалось, что «они», то есть он, Леня, по наущению и вместе с Бонбонелем отняли у нее ее шкатулку, в которой были у нее заперты ее собственные деньги и билеты. Она осталась теперь «ни с чем».

— Он говорит, что это я у него все наворовала, что у меня никогда ничего не было.

— Ну, этого они не могут сделать. Это шутка... — говорили ей.

— Нет, какая это шутка.

— Глупая, конечно, но все-таки шутка. Вы ему напишите серьезно, и он сейчас вам ее пришлет.

Она послушалась, написала, и он действительно прислал ей шкатулку с ее деньгами. Когда посланный подал ей, она схватила ее, ушла и заперлась. Часа через два она вышла уж почти радостная.

— Ну вот видите. Все цело?

— Цело.

— Это уж было бы бог знает что.

— Нет, теперь я вижу: я всего могу от него ожидать...

Я опять получил записку от Лени почти такого же содержания. Он удивлялся, отчего я ни сам не еду, ни отвечаю ему. «Неужели ты принял сторону Кукушки?» — спрашивал он. Он оканчивал, конечно, просьбой поцеловать «дядю», то есть отца, а у «тети», то есть у матушки, поцеловать «ручку». «Пожалуйста, извинись за меня, что я сам не приехал к ним. На днях я непременно буду».

Действительно, дня через три он приехал, разумеется один. Его приняли сухо. Отца не было дома, и матушка с первых же слов начала его упрекать и за Кукушку и вообще за «шалости». Он извинялся, по обыкновению це-

ловал без конца ее руки и просил, чтобы меня отпустили. Перед Кукушкой он тоже извинялся, но как-то иронически. Она была и этим довольна...

— И потом, ты этого негодяя непременно отпусти. Зачем он тебе?

— Бонбонеля?

— Да. Для чего он тебе нужен?

— Ma tante, он отличный повар, и потом — для охоты. Тем не менее он обещал его прогнать.

— И этих негодяек отпусти.

— Да они не мои. Они с товарищем моим приехали.

— Обе?

— Обе, ma tante...

— Что же это за вами не смотрят там? Мальчику шестнадцать лет, а уж он с двумя содержанками разъезжает!..

Леня хохотал, опять целовал ручки, шутил, просил не сердиться, просил отпустить меня и уехал в тот же день как ни в чем не бывало, прося поцеловать «дядю».

И матушка и Кукушка были уверены, что он усовещен и все безобразие кончено.

— Нет, Евпраша, ты сама виновата: не умеешь себя вести с ним. Надо построже. Ты видишь, он все-таки милый мальчик, он слушается...

Прошло, однако, с неделю, а по доходившим слухам в Сосновке по-прежнему шел дым коромыслом. Бонбонель чуть не сжег деревню, устраивая какой-то фейерверк; француженки со своими кавалерами скакали сломя голову, безобразничали, устраивали невозможные оргии, о которых у нас никто и не слыхивал до сих пор; словом, не было никаких признаков даже, что когда-нибудь обещание исправиться будет исполнено. Напротив, по-видимому безобразию этому и конца не предвиделось. Кукушка продолжала жить у нас, интересуясь и собирая все слухи и сплетни из Сосновки. Она посылала туда своих соглядатаев, которые и приносили ей самые подробные сведения обо всех безобразиях. Это ни на минуту не давало ей покоя.

— Да плюнь ты на все это; ведь ты, наконец, с ума сойдешь, — уговаривала ее матушка, и все напрасно.

Она и думала и толковала только об этом одном. Наконец она получила известие, что вся компания собирается ехать кутить в Липецк. Это один из наших

уездных городков, в котором есть какие-то минеральные воды, куда летом съезжается довольно порядочно публики. Приезжают и из Москвы и из Петербурга. Я уж не знаю, насколько целебны эти воды, но летом бывает довольно весело там: устраиваются пикники, танцы, катанья. Все это, конечно, не на широкую ногу, очень скромно, прилично, но весело, мило. Вот сюда-то они и собрались теперь. Кукушка сейчас же, разумеется, отправила туда своих лазутчиков, а когда они донесли ей, что компания прибыла, она и сама туда поехала. Там она могла тайком следить за ними. Там они ей ничего не могли сделать. Она там под охраной, на нейтральной почве.

Разумеется, они и там начали безобразничать. Но ведь это не деревня. Раз, возвращаясь откуда-то пьяными, они наткнулись на какого-то старика, больного генерала. «Шалуны» оба были в своих красивых мундирчиках, спьяна не разобрали, с кем встретились, обругали его. Генерал возмутился и вывел целую историю. Но ее кое-как удалось замять. Эта маленькая непредвиденная неприятность, однако, не образумила их. Они продолжали. Как-то в конце сезона там бывает в вокзале вод бал. На этом балу Леня затеял с кем-то из приезжих ссору, которая и кончилась тем, что ему надавали пощечин и вывели. Ну, тут уж, разумеется, ничего не оставалось больше, как уехать. Это было за неделю до срока или за две, как надо было отправляться в училище. Он прожил эту неделю в Сосновке, выпотрошил все деньги из конторы и уехал вместе с товарищем, француженками и Бонбонелем, оставив письмо к Кукушке, где просил ее все забыть и опять приезжать и всем заведовать.

— И ты, Евпраша, поедешь?

Опять власть, опять роль. Она опять хозяйка. И потом, как же ей не ехать: что сплетен-то она соберет там, на месте. Конечно, она поехала...

27

Наступила, наконец, последняя весна моего пребывания в гимназии. Начались выпускные экзамены. Чуть не каждую почту все мы получали письма из дому. Все они были одинакового почти содержания: «Милый мой (имя

рек), уж если ты выбрал себе «эту» карьеру (то есть университет. Ах, почему не полк?), то и в таком случае тебе все-таки необходимо сперва кончить гимназию... Занимайся, мой друг, прилежней, и помоги тебе в этом «господь». Затем иногда сообщались разные более или менее утешительные новости (оскудение уж начиналось). Мы читали эти письма с чувством добрым, но и с каким-то снисхождением в то же время: странно, дескать, напоминать нам об этом.

— Ну что тебе пишут?

— Все то же. Чудно, ей-богу.

— Мать пишет?

— Оба. И отец то же. Они какие-то чудные стали: всё жалуются, что и то не так и другое...

— Это всегда к старости...

— Нет, не оттого.

— Что же?

— Да все по хозяйству...

— Ничего, привыкнут, обойдется и все пойдет хорошо.

Речь шла, конечно, о затруднениях, неудачах и «неприятностях», которые приходилось им испытывать теперь вследствие «нового положения». Все мы, разумеется, горячо сочувствовали этому новому положению, странными казались нам их жалобы на него, не понимали мы их огорчений по поводу не снятой мужиком шапки, по поводу глупого ответа какой-нибудь бабы и т. п. Но я не помню насмешек. Было именно добродушно-снисходительное отношение ко всем этим жалобам и сетованиям. Мы видели пока только одну эту сторону реформы; экономической, которая уж начинала давать себя чувствовать, мы, понятно, не замечали...

Наконец экзамены кончились. У всех нас уж было сшито «свое», то есть не форменное платье, и мы в тот же день в него все нарядились. Я до сих пор живо помню то странное чувство, с которым я в первый раз вышел на улицу в этом «своем» платье.

Я не помню уж теперь, почему-то нам приходилось ждать три дня, пока выдадут аттестаты, и все эти три дня все мы, двадцать один человек, каждый день обедали у Ивана Ефимыча.

— А вы, однако, приходите раньше. Готовлю я сам. Матрена дура. Вы мне помогайте. И потом, стол надо собрать. Теперь вы на своих ногах. Теперь вам все самим надо учиться делать. Человек должен уметь все сам для себя сделать. Эта пора уж прошла, когда были Федьки да Васьки. Все надо уметь самому, все, все, — скороговоркой говорил он, закладывал руки в карманчики, ежился и вдруг громко хохотал.

— Ведь вы ничего не знаете, — продолжал он, — решительно ничего. Ну, скажи, например, вот ты мне, как надо борщ варить. Что туда кладется?

— Утка, свиное сало, колбаса, свекла, капуста, лук, перец, лавровый лист...

— И все?

— Позвольте... ну да, все, — подумав, отвечает он.

— Все? ха-ха-ха! А пшено-то и забыл? Хорош борщ у него будет без пшена!..

И это были действительно развеселые обеды. Хохот, шум, толкотня. Точно на пикнике.

— Ну, завтра аттестаты вам будут готовы, и вы их получите, — объявил он нам, выговаривая как-то особенно отчетливо два *т* в слове аттестат.

Назавтра, когда нам их роздали и он начал с нами прощаться, у него слезы так и брызнули из глаз.

— Ну да... ну да... Прощайте... конечно. Ну что ж с этим? Ну да... — повторял он, трепал по плечу, гладил по голове, смеялся, смаргивал слезы с глаз. — Вы мне все-таки пишите «оттуда», не сейчас, а как приедете и устроитесь «там»... И потом, если когда... Ну, мало ли что бывает... вы все богаче меня, а все-таки... Там ведь не дом. Ну, не откажу, что могу. Мало ли что бывает. Все бывает...

Он завел такой порядок: все окончившие курс собирались в пансион, на дворе уж стояли запряженные тарантасы, совсем уложенные. Мы все с ним вместе садились в последний раз в приемной, сидели с полминуты молча, затем все вставали, крестились, он еще раз всех целовал, и мы все гурьбой выходили на крыльцо, усаживались в экипажи и съезжали со двора разом, один за другим, вереницей. Он стоял без шапки, кланялся, махал платком, шутил. Так было и этот раз. «Казенные», то есть пансион-

ские, лакеи вынесли и положили в каждый тарантас по какому-то кулечку.

— Что это?

— А это на дорогу. Это от меня. Там закусочки вам разные: пирожки, цыплятки...

— Иван Ефимыч, вы позволите ведь по-прежнему прислать вам провизию? — спросил кто-то.

— Разумеется... Только вот что, — начал он и задумался, — я вот что хотел было вам сказать, да раздумал, а теперь опять надумал. Вы очень на деревню не рассчитывайте теперь. Теперь другие времена наступают. Теперь для вас трудные будут времена. Не к тому вы привыкли, и оттого вам еще труднее будет. Теперь все переменилось. Это хорошо, очень хорошо. Это великая реформа, великое дело, но всем надо на самих себя рассчитывать. Иначе плохо будет, очень будет плохо. И вы не забывайте, что́ я вам теперь вот говорю. Ох, не забывайте. Совсем другое время начинается. Было одно время, а теперь другое. И то время уж никогда, во веки веков не вернется. Хорошее, очень хорошее начинается время, но только совсем другое.

— Все обойдется, Иван Ефимыч.

— Конечно, обойдется, но только совсем на другой манер все пойдет...

— На какой же?

— На какой же! Что я, бог, что ли... Ну, прощайте, прощайте...

28

Дома, в деревне, я застал матушку одну. Отца не было.

— Ну что? — спросила она.

— Ничего, все хорошо.

— Ну, слава тебе господи...

— А где ж отец?

— Там, вот уж третий день он там. Там, в Сосновке, ужас что идет. Ты и представить себе не можешь, что там такое. Леня ведь из лошадиного училища вышел. Его хотели даже исключить, но уж это как-то уладили, теперь он здесь. И его мать, Варвара Павловна, приехала. Евпраша лежит больная. С ним Бонбонелька приехал. Ах, что там идет!..

Оказалось, что там происходит действительно нечто необыкновенное. Варвара Павловна, наконец, вернулась из-за границы, и, к общему удивлению, не одна, а с мужем, каким-то французом Тришо. Где она его там поймала и что это за птица, никому не известно. На вид лет двадцати двух или трех, собой молодец, красавец, но по манерам и по всему — невозможный.

— Я думаю, что он из цирка какого-нибудь, — объяснила матушка.

— Почему же это вы думаете?

— Так, мой друг, очень уж он похож на таких, какие там ездят. Силы и ловкости необыкновенной. На прошлой неделе, когда она была у нас, он брал лошадь за передние ноги и поднимал ее... Варвара Павловна рассказывает, что он еще и не то делает... ах, какая она стала! Она совсем всякий стыд потеряла... Целует его при всех...

— Да ведь он, вы говорите, муж ей.

— Ах, мало ли что... Вот так мужа нашла...

— Зачем же отец-то туда поехал?

— А вот видишь зачем: она как приехала, прямо к предводителю. «Я, говорит, хочу из опеки свою часть получать и потом жить в доме. Я, говорит, как мать, настоящая опекунша, а вовсе не их тетка, Евпраксия Павловна». Евпраша об этом написала Лене, а тот в это время из училища-то уж вышел и жил так просто в Петербурге. Он сейчас и прискакал сюда с Бонбонелькой. Ну, и пошло. Теперь там и предводитель и отец: они все просили его приехать и разобрать их...

На другой день отец вернулся оттуда.

— Кое-как уладили. Да это ненадолго. Он скверно кончит...

— А что?

— Так, это совсем пропащий человек. Она с мужем будет жить во флигеле. Он с Бонбонелем и тремя француженками в доме. Евпраксия Павловна в другом флигеле. А хозяйством будут заведовать Тришо с Бонбонелем. Можешь представить, что из этого выйдет...

— Евпраша-то что ж оттуда не уезжает? — Матушка все еще питала к ней нечто вроде дружбы.

— Ну спроси же: «я здесь останусь», твердит, да и только. Я ее больше всех уговаривал, и ничего: уперлась на своем и стоит... Да, он долго не протянет.

— Кто?

— Леня.

— А что?

— У него, по-моему, чахотка. Вы его не узнали бы: бледный, худой, на щеках этот румянец, кашляет...

— Помилуй, да ведь ему нет еще и семнадцати лет.

— Ну, я не доктор, а мне кажется, что так.

Он рассказывал также и много комических сцен. Бонбонель в ссоре с Тришо. У них была драка, кончившаяся тем, что Тришо ободрал ему полголовы. Чтобы скрыть это, Бонбонель остригся под гребенку.

— Позор. Вся прислуга смеется. Вот если бы воскрес да посмотрел на всю эту срамоту покойник Сергей Павлыч...

Это прекрасное пожелание отца, разумеется, не исполнилось, и срамота продолжалась. Не прошло, кажется, и недели, как от Кукушки было получено отчаянное письмо, в котором она умоляла отца вновь приехать, чтобы унять Леню. Он, разумеется, не поехал, а написал ей, и очень резко, что больше в эту грязь мешаться не намерен и не будет... Вскоре в Сосновку приехали из Петербурга к Лене какие-то его приятели, и безобразия приняли размеры уж небывалые и неслыханные. Прошлогодние походы его казались теперь уж детскими шалостями. Тришо, занявший вначале враждебное к нему положение, теперь не только помирился, но совершенно примкнул к веселой компании и безобразничал вместе с ними. Мировой посредник их участка был буквально почти завален жалобами мужиков и соседей. Они затравливали свиней, стреляли в коров, в лошадей, делали ночные наезды на усадьбы, открывали, разумеется холостыми зарядами, пальбу из ружей, увозили баб, девок — словом, воскресили нравы прошлого столетия. Все усовещивания предводителя и посредника ничего не помогали. Остался один выход: обратиться к губернатору. Обратились, и он прислал какого-то чиновника особых поручений. Но они и его споили. Чиновнику до того понравилось это времяпрепровождение, что он зажился у них более недели и не ехал назад. Исправник совершенно потерял голову и не знал, что ему делать. В числе приятелей, приехавших из Петербурга кутить к Лене в Сосновку, были два князька с очень громкими фамилиями...

— Помилуйте, что ж я поделаю с ними? С ними и губернатор ничего не поделает, — в отчаянии говорил он и был прав. — Одна надежда на архиерея...

— Архиерей-то что ж с ними может сделать?

— Ну, этот все-таки духовной властью может...

Но Леня с приятелями как узнали, что для обуздания их хотят обратиться к архиерею, объявили, что как только он явится к ним, они его возьмут в плен и не отпустят. Таким образом, пропала и эта последняя надежда. Угроза взять в плен архиерея казалась тем более вероятной, что было известно, что и Варвара Павловна и Кукушка уж томятся у них в плену. Обе живут вместе во флигеле под караулом, и их оттуда никуда не пускают, хотя и обходятся с ними хорошо, то есть кормят их и вообще никаких оскорблений им не наносят. Держат только в плену и ни за что не выпускают...

В таком положении были дела, когда во второй половине августа я уехал в Петербург держать вступительный экзамен в университете. Таким образом, это лето я даже и ни разу не видал Кукушки: сперва она была больна, а потом вот попала в плен.

29

Из дому я то и дело получал письма, и почти в каждом мне сообщалось что-нибудь и про Сосновку. Все это было, конечно, в том же вкусе. Наконец в октябре или ноябре я получил письмо, в котором сообщалось, что вся компания на зиму уехала в Петербург, предварительно выпустив из плена и Варвару Павловну и Кукушку. Матушка в своем письме умоляла меня Христом-богом не бывать у Лени и вообще в эту компанию не входить. Прошло после этого письма с месяц. Я шел по Невскому; было часа три. Вдруг я услышал сбоку знакомый голос. Оглянулся — Леня. Он был в юнкерской форме одного из дорогих кавалерийских полков и шел с офицером этого же полка. Он страшно изменился. Я не знаю, откуда это отец вывел заключение, что он в чахотке. Напротив, он ужасно «раздался», даже растолстел, стал такой широкоплечий, говорит басом, даже с некоторой хрипотой, как бывает это при легкой простуде или если подряд несколь-

ко дней было бессонное пьянство. Он тоже в это время обернулся в мою сторону и сразу узнал меня. Он очень обрадовался. Он и в самом деле почему-то любил меня.

— Ну, добился-таки своего, поступил?

— Да, добился.

— Поздравляю. Ведь ты не прямо сюда из гимназии приехал? Ведь ты заезжал в деревню?

— Разумеется.

— Отчего же ко мне не заехал?

— Когда же? Надо было готовиться к экзамену...

— Ну вот, рассказывай. Просто не пустили. Боялись, как бы я не совратил с пути истинного такого нравственного мальчика...

Я рассмеялся.

— Да ведь вы там и в самом деле, говорят, черт знает что делали.

— Ничего не делали, просто пили и дурачились. Что ж в деревне делать? не с визитами же разъезжать по соседям.

— Мы к ним с этими визитами по ночам ездили, — сказал офицер...

Леня спохватился, что не познакомил нас, и тут же представил друг другу: «Мой двоюродный брат такой-то; князь Григорий Сергеевич такой-то». Я услыхал фамилию, которая приводила в трепет исправника.

— Там у него было превесело... эта его тетушка... и потом... да вообще...

Видно было, что деревня оставила в них действительно самые приятные воспоминания, и на будущий год они, конечно, постараются повторить все это...

— Теперь зима. Теперь там скучно. Ведь это все хорошо летом, на открытом воздухе, — говорил Леня.

Мы дошли до угла Конюшенной, и он стал звать зайти к нему.

— Теперь некогда. Как-нибудь в другой раз.

Но он начал настаивать, просить зайти непременно теперь же. Он занимал большую квартиру, по крайней мере комнат десять. Она была почти пустая. В большой высокой комнате, очевидно предназначенной быть залом, стояло три дорогих, резных кабинетных кресла. Потом рядом комната, отделанная как будуар. С одного окна упала штора и так и лежала на подоконнике. На всех

стульях и креслах штаны, мундиры, фуражки, футляры от офицерских вещей. Нас встретили два лакея во фраках и какой-то молодой солдат с добродушным лицом, в высоких сапогах со шпорами. Ему немного погодя Леня велел выпустить откуда-то собак. Они с радостным лаем целым стадом прибежали к нам, ласкались, прыгали, скользили по паркету, падали, вскакивали на окна, на мебель. Тут были и датские, и сеттеры, и гончие, и борзые. Мы переходили из одной комнаты в другую. Везде такой же точно беспорядок, такая же пустота. В комнате с буфетом стояло пианино. Князь подошел к нему, открыл и стоя взял несколько аккордов. Потом ногой зацепил стоявший недалеко стул и сел на него, загремев саблей.

— Спой что-нибудь, — попросил его Леня.

Ничего не отвечая ему, он запел, подражая цыганскому пению, какой-то романс.

— У него удивительный голос, — сказал Леня.

В это время одна из собак, вероятно не разделявшая его мнения, завыла; он начал ее останавливать, гнать. Наконец солдат с добродушным лицом взял ее за ошейник и потащил. Собака села на задние лапы и начала упираться, но он все-таки ее вытащил. Немного погодя завыла другая, потом третья. Скоро князь перестал петь, а собаки выть. Говорить нам было не о чем.

— Ты сегодня где обедаешь?

Я сказал где.

— Поедем к Борелю... Скука какая... Что сегодня в театре? Эй!..

Лакей принес афиши; начали их читать. Оказалось, что везде «все дрянь», старье.

— Надо куда-нибудь сегодня после обеда за город...

— Ну, это я не советовал бы, а то завтра опять на ученье опоздаешь, как вчера.

— А завтра что?

— Завтра «рубка чучел».

— Каких чучел? — спросил я.

— Ученье. Ставят чучела, и их надо рубить...

Мне показалось это смешным, и я рассмеялся.

— Ты никогда этого не видал? — спросил Леня.

— Никогда.

— Это преинтересно. Приходи — тебя пропустят. Спроси меня или вот его.

Между тем совсем уж смерклось. Зажгли кое-где лампы. Подали несколько свечей.

— Как рано смеркается.

— А который час?

— Э, пора одеваться.

— Так ты едешь с нами?

— Нет, — я говорю тебе, что мне сегодня нельзя...

Я хотел было уходить, но он стал просить для чего-то остаться:

— Погоди, я сейчас оденусь, и выйдем вместе.

В это время в передней послышался звонок, потом бряцанье сабель, шпор. Вошло еще двое. Эти прямо приехали от какой-то Marie и не могли нахвалиться ею... Они говорили, что она будет в балете и что они обещали туда заехать, чтобы взять ее ужинать куда-то.

— Это еще далеко до ужина, а вот где нам обедать?

Мы так и вышли, всё не порешив, где обедать. Были очень серьезные данные за Бореля, но некоторые еще более серьезные соображения указывали на Дюссо. Разногласия помирились, кажется, на том, что оба ресторана так близки один от другого.

— Можно будет послать...

Наконец мы расстались.

— Ты, пожалуйста, заходи. Ты дай мне свой адрес, — говорил Леня...

Потом, уж гораздо позже, я насмотрелся и на этот быт и на эти цыганские квартиры, но это первое знакомство произвело на меня впечатление. Я пришел в мою комнатку, зажег лампу, и она мне показалась такой уютной...

— Анна Максимовна (немка-хозяйка, у которой я жил) приказала спросить, будете ли дома обедать? — спросила меня горничная-чухонка.

— Дома. Я сейчас приду...

30

Я жил совсем в другой среде, но и до этой среды доходили слухи о каких-то невероятных кутежах сперва юнкера, а потом уж офицера Повалищева. Он держал десятка два лошадей, и я не раз любовался ими на Невском. На них ездили иногда очень красивые женщины. Раз

как-то в Морской такая красивая женщина на его лошадях остановилась перед магазином и вошла туда...

— Это чьи лошади? — спросил я кучера.

— Повалищева.

— А эта барыня кто?

— А кто ж ее знает. «У нас» много их...

С ним самим я сталкивался редко. Он всякий раз пенял мне, отчего я не захожу. Я всякий раз обещал зайти, и не заходил. Я не заходил вовсе не потому, чтобы это было для меня делом какого-нибудь зарока, а так — ну что я стану там делать?

В начале лета, тотчас после экзаменов, я поехал в деревню. Я прожил там до сентября, а об нем не было никакого слуху даже.

В Сосновке жила одна Кукушка, и жила не в доме, а в том самом флигеле, в котором она жила и прежде. Варвара Павловна с мужем, то есть с Тришо, уехала за границу, и ей туда посылали ее долю доходов. Управление всеми имениями было поручено опекой, впредь до совершеннолетия Сонечки, Лениной сестры, долженствовавшей через год выйти из Смольного и еще через год достигнуть вожделенного совершеннолетия, — одному их соседу из мелкопоместных. Он ужасно воровал, но ему в этом никто не мешал, разумеется. Кукушка только «критиковала» его распоряжения, собирала сплетни, раздражалась, злоязычничала, но сделать ничего не могла. К нам она также стала редко ездить. Все сидела дома и раздражалась. В этот приезд я видел ее всего один раз. Она постарела, но не так уж заметно, как всегда, впрочем, это бывает с худощавыми и маленького роста людьми. Они не стареют, а как-то подсыхают, делаются еще суше, еще меньше...

Зимой я опять видел его несколько раз. Слухи о его кутежах по-прежнему ходили по городу. По-прежнему и рысаки его носились по Невскому и с ним и с красивыми женщинами. Летом он опять не был в деревне. Так все шло, как и прошлый год. То же воровство опекуна, те же бессильные огорчения и злословия Кукушки. Нового были только слухи о его баснословных долгах.

— Заплатит. Ну, продаст имение...

— Его еще надо разделить...

Этот раздел совершился весной на третий год. Меня не было в деревне. Прямо по окончании экзаменов я по-

ехал за границу и там пробыл все лето. Перед Петербургом на возвратном пути я заехал на неделю домой в деревню. Тут мне рассказали, что раздел совершился, что тотчас же, как ввели его во владение, он все доставшиеся ему имения, за исключением Сосновки, должен был уступить за долги каким-то приезжавшим с ним из Петербурга людям и что в этих имениях уж они теперь хозяйничают, то есть рубят лес, сдают землю и проч.

— На будущий год и Сосновка улетит, — говорили все. — Разве это ему надолго. Что ж там и осталось-то: за наделом, всего каких-нибудь десятин семьсот. Надолго разве их ему.

— Что тут! Да-с. Вот и собирала Кукушка. А что слез-то она пролила...

— Это всегда так.

— Неправедное создание — прах.

И т. д., и т. д. в этом роде. Кукушка еще подсохла, но казалась все такой же свеженькой и бодрой. Она слушала стороной рассуждения и улыбалась все той же своей улыбкой. С этими новостями я и уехал в Петербург. Там я однажды встретился с Леней совершенно неожиданно и при довольно оригинальной обстановке. Был у меня один товарищ студент, очень бедный, но у него был дядя, по его словам очень богатый. Этот дядя занимал во дворе квартиру, комнат в пять, и в одной из них жил этот студент. Дядя был холостой, очень милый и ласковый на вид старик. Он был постоянно в халате и туфлях. Когда он говорил, изо рта у него пахло гвоздикой. Я несколько раз заставал у него каких-то франтов. Они приезжали к нему на собственных лошадях и обращались с ним необыкновенно вежливо и любезно. Он был, впрочем, и сам со всеми любезен и вежлив до крайности. Вот у него-то однажды я и встретил Леню. Он увидел меня и как-то сконфузился.

— А, вы знакомы? — спросил меня старик.

— Как же. Это мой двоюродный брат, — сказал Леня. — Ты очень кстати пришел, — продолжал он. — Вот Ефим Степаныч не верят, что в этом году у нас неурожай такой, что кроме убытка ничего...

После дело объяснилось. Леня был ему должен с разными неустойками что-то около ста тысяч, просил отсрочки, а тот не соглашался. Я уж не знаю, как они этот раз покончили. Студента, его племянника, к которому

я приходил, не было дома, и я вскоре ушел. Леня остался у него, все рассказывая о неурожае и о тех «экономических» затруднениях, в которые повергло помещиков Положение 19-го февраля... Старик против всего этого не возражал, даже соглашался, но говорил, что отсрочить долгов не может... Но тем не менее он все-таки, должно быть, отсрочил, потому что и эту всю зиму Леня еще катался по Невскому и кутил и у Дюссо, и у Бореля, и за городом...

31

На лето, по обыкновению, я уехал в деревню. Кукушку я застал у нас: она «гостила» уж вторую неделю, поджидая меня.

— Ты знаешь, она насилу дождалась тебя, — сказала мне матушка.

— Что такое?

— А вот погоди. Она начнет тебя допрашивать о Лене.

— Да я ничего не знаю. Он, впрочем, кажется, окончательно запутался...

— Да? ты знаешь, ведь она почти все свои деньги ему передавала по тысяче, по две, по три.

— Что вы говорите? Она?..

— Да...

Я слушал и ничего не понимал. Этого я уж никак не мог от нее ожидать.

— И потом, ты знаешь, ведь она ужасно больна. У нее рак в груди. Она зимой как-то влезла на стул, чтобы зажечь лампадку, упала, ударилась грудью — и теперь у нее рак. Уж второй раз операцию делали...

Вечером Кукушка улучила как-то удобную минуту, улыбнулась и спросила, могу ли я с ней поговорить.

— Вот видишь, — начала она, — я, должно быть, скоро умру... Леня все пишет о деньгах... Можно ему их дать еще?..

— Тетушка, я, право, не знаю, что вам сказать...

— Он пишет, что если я не пришлю ему еще шести тысяч, так его исключат из полка... Правда это, или это он шутит? У меня — я тебе правду скажу — теперь всего осталось десять тысяч. Если я ему дам шесть, у меня, зна-

чит, останется четыре. Может, я проживу еще года два. На что ж я буду лечиться?

Я посоветовал ей не давать ему этих денег, но она, видимо, уж решилась их дать и теперь только так, «для проформы» спрашивала меня.

— А разве Сосновка уж продана?

— Нет еще, но что ж с нее получишь. Она уж в трех руках, кроме банка, заложена.

— У него есть сестра, мать...

— Они не дадут ему.

— Зачем же вам-то давать последние?

— А если его и в самом деле исключат из полка?

— Что ж с этим делать. Ведь рано или поздно это непременно случится. Разве шесть тысяч спасут его?

— Так не давать?

— По-моему, нет.

— Ты знаешь, он пишет, что женится на какой-то купчихе и получает миллион приданого.

— Не знаю, тетушка.

— Не слыхал?

— Нет.

— Может, ты слышал и не говоришь мне только?

Я рассмеялся.

— Зачем же мне это от вас скрывать?

— Да так...

— И так незачем.

— Вот видишь, если его поддержать теперь, он успеет жениться, и тогда я обратно все получу с него... Вот если бы узнать, правда ли, что он женится на такой богатой... Ты не знаешь, как это сделать?..

— Уж право не знаю, как это вам устроить...

— А если бы я сама поехала в Петербург да все разузнала бы...

— Это, конечно, будет вернее.

— Вот для этого-то я тебя все и ждала... Так ты советуешь самой съездить?..

— Ей-богу, я вам ничего не могу присоветовать. Лучше всего, кажется, просто не давать ему больше.

— Нет, я поеду сама... Кстати и с докторами посоветуюсь. Может, у меня это и не рак совсем, а так что-нибудь...

Она прособиралась недели с две и уехала-таки в Петербург с своей неразлучной горничной Фионой.

— Ах, Евпраша, не езди, — уговаривала ее матушка.

— Нет, Наденька, не проси: я уж решила поехать.

Это был последний раз, когда я ее видел... Месяца через два вернулась Фиона в одном платье, страшно загорелая.

— Евпраксия Павловна приказала долго жить, — кланяясь и заливаясь слезами, говорила бедная женщина.

Ее посадили и начали расспрашивать. Она подробно, до самых мелочей рассказала, как она приехала, как отыскала Леонида Сергеевича, как он выманил у «барышни», то есть у Кукушки, последние деньги и как потом и глаз к ней не казал, как отвезли ее в клинику, как ей делали там операцию — все, все, до описания нищенских похорон на Смоленском кладбище и своего нищенского, Христа ради, возвращения сюда...

Фиону оставили жить у нас, и она живет до сих пор. У нее очень много интересных воспоминаний. Она умеет печь отличные сдобные крендельки к чаю. Когда я отправляюсь с Бердебой на охоту, она всякий раз напечет нам их целую связку...

То, что я рассказал в начале этого очерка, то есть как «племянник» купца второй гильдии Подугольников ломал «на снос» дом в Сосновке, произошло на следующее лето. А зимой в этом же году аптекарь Богдан Карлыч с аукциона купил и землю с переводом банкового долга.

Он уж начал там что-то строить, сажать. Со временем, вероятно, вырастет премиленькая усадьба.

Леня, или, — какой он уж Леня, — Леонид Сергеевич хотя и не женился и из полка должен был выйти, но не пропал: «приличное воспитание» выручило. Он до сих пор одевается шикарно, ест и у Дюссо и у Бореля и ездит за город. Он «служит» банкометом в известном «всему Петербургу» аристократическом игорном притоне Живашева...

III
ШАЛАЯ

1

Лет пять или шесть тому назад, ранней весной, так в первых числах апреля, я собрался ехать домой в деревню. Когда я приехал на вокзал Николаевской дороги, до отхода поезда оставалось уж несколько минут, и надо было торопиться. Я поспешил к кассе, но там стояла целая толпа, и пробраться к окошечку, по-видимому, не было никакой возможности.

«Ну, опоздал», — решил я, посмотрев на часы, и хотел было уж оставить всякие попечения уехать сегодня же, как заметил, что вся эта собравшаяся толпа вовсе не покупает билеты, а просто слушает какого-то господина, повествующего ей о железнодорожных порядках в Италии:

— ...И потом, там часы на каждом видном месте висят. Куда ни обернись — везде часы. Спереди — часы, сзади — часы, справа — часы... — рассказывал он.

— Господа, позвольте... Я опоздал, — взмолился я и начал протискиваться к кассе.

Когда я, наконец, добрался и стал рассчитываться за билет, получать сдачу и проч., позади меня послышался какой-то растянутый, ленивый голос, каким обыкновенно говорят молодые, начинающие фаты:

— Ну да... я так и знал... И что это за охота... собирать вокруг себя толпу... играть шута... Сейчас звонок... Надо садиться. Мы опоздаем... Идите, идите, скорей...

— Во-первых, после звонка еще три минуты...

— Я вам говорю: идите...

Я обернулся и увидал расступающуюся толпу и проходящего через нее старичка, который рассказывал о железнодорожных порядках в Италии, и с ним молодого человека лет семнадцати, в фуражке училища статских юнкеров. Юноша шел, заложив руки в карманы пальто. Старичок шел мелкими шагами, оглядываясь и что-то разводя руками... В толпе смеялись:

— Чудак!

— Добрый старик!

— Это сын, должно быть... — и проч.

С билетом я побежал к вещам, едва успел сдать их и чуть ли не последним вскочил на поезд. Оказалось, что я попал в тот же вагон, где и любитель итальянских железнодорожных порядков. Когда все разобрались по местам, устроились, уселись и поезд тронулся, старичок — то есть какой старичок? — так лет сорока пяти-шести — встал и начал осматриваться кругом. Лицо такое доброе, простое. Под носом маленькие щетинистые, совершенно черные, должно быть крашеные, усики. Глазки веселые, смеющиеся. На голове шапочка какого-то странного, не нашего, несомненно заграничного фасона. Руки в сереньких, лайковых, свежих перчатках с красными швами на тыльной стороне ладони. И весь такой светленький, чистенький...

Он оглядел всех пассажиров — их было очень мало, — улыбнулся чему-то и сел. Визави с ним, тоже у окна, помещалась девушка или дама лет двадцати пяти, несомненно сильно пожившая, но очень красивая, с большими темными «подведенными» глазами. Одета тоже свежо, для дороги даже изысканно. Рядом с нею — вот тот молодой человек, про которого в толпе у кассы говорили, что это, должно быть, его сын. Дальше — какой-то толстяк с громадной, битком набитой чем-то сумкой через плечо. Потом, уж ближе ко мне, еще двое или трое.

Прошло минут пять. Все ехали молча.

— А как трясет-то. Это от гнилых шпал, — начал старичок так, как бы ни к кому не обращаясь, про себя.

Толстый господин с большой сумкой повернул голову в его сторону, посмотрел на него и проговорил:

— Нет-с, это не от шпал. Это у них рельсы старые, совсем сбитые.

— От рельсов трясти так не будет. Непременно шпалы...

Толстяк улыбнулся:

— Уж поверьте — от рельсов. Я эти дела немножко понимаю.

— А... вы инженер?

— Нет-с, а строить дороги приходилось.

— Значит, подрядами занимаетесь?

— Да... немножко...

— Скажите, это выгодно ведь?

— Не всегда... Иногда выгодно, иногда и нет.

— Хлопот много?

— Да какое же дело без хлопот-то. Это только прежде одни помещики жили без хлопот. А теперь и у них хлопот-то этих хоть отбавляй...

Старичок весь так и встрепенулся, просиял:

— Да-с!.. Могу сказать... Да-с. И как это только мы еще живы, как это еще мы на ногах ходим?..

— А какой изволите быть губернии?

— Двух-с. Тамбовской и Рязанской.

— Ну, у вас еще что. У вас сторона благодатная... А вот посмотрели бы, поездили бы по другим местам...

— Ну, и у нас хорошо. Очень хорошо-с.

— Все-таки с другими местами и сравнения нет.

— У нас один народ чего стоит. Грубость, грязь... А для меня грязь пуще всего. Для меня каждая пылинка — беда. Верите ли, вот как съездишь за границу — я каждый год езжу — да потом назад приходится ехать, ну, я от этой одной мысли, что встречу эту грязь, грубость, просто болен делаюсь...

Толстяк рассмеялся:

— Вы бы и жили за границей. Именье сдали бы на аренду, а сами туда. Любезное дело.

— Это так кажется... И потом, воспитание детей.

— И детей там можно воспитывать.

— Можно. Только что ж из этого выйдет? В каком бы он там, хоть в самом первом заведении, ни кончил курс, а здесь ему дорога всюду закрыта. Он никаких прав не получает. Никуда на службу не может поступить. У «мальчика» никакой карьеры не будет. Я знаю, что и там можно детей воспитать, а какие права у них будут — вот в чем дело-с. Теперь я знаю, что вот, если он на

будущий год, бог даст, кончит в училище — он на ногах. Он сразу четыре чина получает. Ему будет восемнадцать лет, а он уж титулярный советник... В сенате у него дядя, в департаменте министерства юстиции — другой. Мальчик с карьерой...

— Да зачем это вам, чтоб он непременно служил?

— Как зачем? А то как же? Что ж он с этих пор, с восемнадцати лет-то, будет делать? Товарищи его все будут служить, а он в деревне собак будет гонять? У него фамилия. Нам так нельзя-с.

Толстый господин с сумкой молча выслушал этот монолог, сомнительно покачал головой и спросил:

— Позвольте имя и отчество... мое Степан Петрович Лопашев. Был помещик — теперь подрядчик.

— Князь Иван Павлович Кундашев. Очень приятно. А это мой сын, князь Эспер.

Произошло общее рукопожатие, начались расспросы: какого уезда имения. Не знаете ли такого-то и проч.

Фамилию Кундашева я слыхал, но знаком не был, даже видел его теперь вот в первый раз. Мы разных уездов, и все как-то так приходилось, что никогда нигде ни разу не столкнулись. Даже никого из семейства его не встречал. Это у нас бывает сплошь и рядом. Прежде, как ни странно это покажется, но было больше общения. Теперь все живут как сурки. Поехать куда — расход. Принять у себя — расход. И сидят... Все ужасно как теснятся... Я, однако, знал, что Кундашев человек состоятельный, несколько раз бывал в своем уезде предводителем и вообще пользовался репутацией доброго, хорошего соседа. Знал, что у него жена постоянно чем-то больна и все ездит куда-то лечиться и советоваться с докторами. Знал также, что у него трое или четверо детей. Теперь вот я знакомился с главой семейства и его сыном, совершенно не подозревавшими, что тут же в вагоне, почти рядом с ними, едет их земляк, фамилию которого они тоже, конечно, слыхали.

Я очень люблю такие положения. Человек рассказывает, высказывается, выкладывает всю душу, не подозревая, что его кто-то очень внимательно рассматривает, проверяет и проч. Сколько раз таким путем я узнавал прелюбопытные вещи, получал объяснения самых иногда запутанных историй... И князь Иван Павлович и сын его,

князь Эспер Иванович, показались мне любопытными настолько, что я порешил наблюдать их, всячески при этом избегая знакомства и необходимости назвать свою фамилию.

2

Лопашев слушал. Князь Иван Павлович рассказывал, рассуждал, иногда горячился, но больше рассказывал все с веселым видом, шутя. Прошло с час, и за это время можно было уж вполне убедиться, что это самое невинное и добрейшее существо, какое только можно встретить в наши дни. Но в то же время я убедился, что это и несчастнейший человек. Его всё и все как-то теснили, угнетали. Там, где другой не чувствовал никакого угнетения и никакой тесноты, он это чувствовал и страдал. И тут никакого притворства с его стороны не было. Во всем у него неудача. Что у другого выйдет хорошо — у него наверно кто-нибудь испортит. Тем не менее однако ж, несмотря на страдания, к этим колотушкам судьбы он уж привык и только увертывается от них, чтоб уж не так больно было... Он не жаловался, старческого хныканья не было, он просто рассказывал, вероятно и не подозревая даже, что всякий, слушая его, непременно думал про себя: и за что это его...

— Долго в Италии пробыли?

— Хотел. Да вот... — он взглянул на сына. — Надо было взять... Тут устроить кое-что...

— Теперь в деревню?

— Да вот отвезу его... потом за женой надо.

— А «они» где же-с?

— Жена-то? за границей. Она у меня больная женщина. Этакая, знаете, нервная, раздражительная, все ее тревожит, огорчает...

— Это беда...

— Что ж делать? Я уж привык...

— «Они» где же, в Италии?

— В Италии. Вот где рай-то. Ах, вот я вас чем угощу-то, как приедем, — вдруг обратился он к сыну и красивой даме, сидевшей с ним. — Это — равиольками!..

— Как? Равиольками? Это что такое? — спросил сын.

— Что такое равиольками? Как это тебе объяснить? Ты знаешь, что чем народ развитее, чем он культурнее, тем у него и кухня совершеннее. Дикари, как известно, едят сырое мясо, даже поедают друг друга...

Молодой человек, пожав плечами, ухмыльнулся:

— Это все известно... А вот равиольки-то что такое?

— Вот видишь, мой друг. Равиольки вот что: на севере у нас, где культура слаба, едят пельмени... Спускаясь ниже, в Польше, мы находим уж колдуны... Колдуны — те же пельмени, но уж усовершенствованные. Фарш в колдунах уж гораздо сложнее, чем в пельменях... Спускаясь еще ниже, в Италии, мы находим уж равиольки. Приготовить фарш для равиольки уж гораздо, гораздо труднее, чем для колдунов. Тут и черное мясо от вальдшнепа, и грудочка от цыпленка, и мозговой жир... В Венеции, у Квадрии, на площади святого Марка, я так объедался ими, так объедался...

— И вдруг пришлось это занятие бросить и ехать в Петербург... — опять рассмеялся сын. — Ужасное лишение!..

— Лишения никакого нет, а все-таки если бы я пробыл за границей еще хоть с месяц, я, наверно, поправился бы... Я это чувствую, а теперь...

— Вот опять поедете... за мамашей-то.

— Ну, уж это не то...

Подошла какая-то большая станция, и мы все вышли. В буфете я столкнулся с хорошим приятелем, земляком и даже соседом. Оказалось, что он едет тоже в деревню и сидит в вагоне рядом с нашим.

— Садись к нам. У нас весело. У нас сидит Кундашев с сыном и все рассказывает.

— Какой Кундашев? Наш?

— Наш.

— Батюшки! Да ведь это приятель. Вы незнакомы?

— Нет, и пока, ради бога, не знакомь.

Но было уж поздно. Кундашев заметил его и шел к нам. Разумеется, кончилось тем, что и я познакомился.

— Я вот сейчас сына представлю. Очень рад... Вы видели молодого человека, что сидит со мной... Ну, это и есть мой сын Эспер...

— А что это за дама, которая с вами визави сидит? — спросил я.

— Красивая-то?

— Ну да, пожалуй...

Он посмотрел мне как-то по-собачьи в глаза, именно по-собачьи: они так смотрят, когда думают, что сделали что-нибудь нехорошее и их будут сейчас бить, — и спросил:

— А что?

— Ничего, так я спрашиваю.

Он опять так же взглянул на меня, поежился, улыбнулся и заговорил:

— Это... конечно... оно, разумеется, ну да уж что ж тут поделаешь. Она с ним, с Эспером... Он слабый мальчик, влюбчивый... И доктора то же говорят... так пусть уж лучше одна...

— Значит, это содержанка его?

— Нет, ну да, впрочем... Только деньги я ей плачу. Она от меня получает. Она с тем и поехала, что расчет будет иметь со мной... «Я, говорит, мальчишкам этим не доверяю...» Ха-ха... хе-хе...

— Вы куда же ее везете, в деревню?

— В деревню. Да.

— А как же ваша супруга, дочери?

— Ну вот что ж прикажете делать? Это все мать его балует. Что он хочет, то и делает. Все позволяет. А мне какое дело? Мне она не помеха. Хоть еще целый десяток набери. Если мать позволяет — мне какое же дело... Не правда ли?

— Ну все-таки... вот дочери-то у вас... Это, пожалуй, и не совсем ловко...

— Какой же ловко! Это ужасно. Это ужасно... Но что ж я буду делать, когда ему мать все позволяет... Впрочем, у них в училище это у всех уж так заведено. Если средства мало-мальски позволяют, на лето непременно берут с собой содержанок: кто немку, кто англичанку. Больше, впрочем, всё француженок. Эта по крайней мере русская... И доктор их говорил мне: «больше всего бойтесь француженок...» Здоровье у него слабое... Серьезно... И потом, «мальчику» надо учиться, готовиться к экзамену. Теперь, весной, он просил позволить ему сдавать экзамен осенью. Ему разрешили... И я очень рад, что он не выбрал француженки... Ведь вы знаете, какие они. Она бы его затормошила, кроме всего...

— Как же это вы устроитесь-то в деревне? Ведь там всё на виду у всех...

— Что ж делать! В дом ее пускать неловко... Отдельно во флигеле поселить тоже неловко... Я и сам не знаю, что делать... Вы не придумаете ли чего?

Он спросил меня так наивно, так беспомощно, почти отчаянно, что у меня невольно пропала улыбка, с которой я все время слушал его.

— Мало ли что мать балует. Вы-то что ж позволяете? Ну, пусть она живет в городе. Найдет себе пусть квартиру. Пусть ездит он к ней, но как же это вы к дочерям-то ее повезете. Какое же «он» имеет право заставлять сестер выносить это...

— Ну, конечно, и я то же говорю, а вот подите... И не глупая женщина его мать, а все позволяет. Я говорю, что надо настоять, чтобы он теперь же сдавал со всеми вместе экзамен, не слушать его, заставить, а она свое: поезжай да поезжай. «Нельзя мальчика одного бросать. Если ты не поедешь, я сама поеду». А как ей ехать, когда она больная... Вот я и поехал. Она теперь в Венеции, а я здесь вот с ним. Ну что ж я поделаю?..

Я вспомнил про равиольки и уж не мог удержаться, рассмеялся.

— Нет-с, я не про то... Какой уж тут смех... Я вообще... вот и эти ваши равиольки...

— Что же мне, по-вашему, делать?

— Право, не знаю.

— Ну, однако?

— Да что ж... По-моему — его сейчас же опять в училище держать экзамен, а ее туда, откуда вы ее взяли...

Он не дал мне даже и договорить, отчаянно замотал головой и горько усмехнулся.

— Нет-с. Этого уж невозможно. Вы нас не знаете, я вижу. Во-первых — мать. Потом, «мальчику» уж семнадцатый год пошел, он и сам с характером... Да, наконец, ведь и ей уж тысячу рублей вперед выдано...

— Тогда о чем же мы говорим. Нечего, значит, и толковать.

— Да-с, все кончено... И вот нельзя ли что-нибудь придумать такое, чтобы хоть прилично это вышло?.. Если назвать ее гувернанткой...

— Тогда отчего же не поселить ее и в доме?

— А как их отношения-то?

Раздался звонок, и мы поспешили в вагоны, так и не придумав ничего. Там уж все собрались, перезнакомились, шел смех, хохот, общий разговор самого откровенного содержания. Молодой Кундашев один сохранял среди общего веселого настроения по-прежнему кислую физиономию. Я не обращал прежде на него внимания, но теперь начал всматриваться. На отца он не был ни малейше похож: бледный, угреватый, с ленивыми, вялыми манерами, с какой-то странной, недовольной гримасой...

— Эспер, я вот хочу познакомить тебя с нашим земляком. Мой сын, князь Эспер. Сергей Николаевич. — Он назвал мою фамилию.

Эспер сказал, что ему очень приятно, постарался улыбнуться, сел и опять распустил свою гримасу.

— Как у вас, однако, нынче рано экзамены кончились, — сказал я.

Эспер посмотрел на отца, вероятно желая догадаться, говорил он мне или нет о том, что он не держал их, вероятно не догадался и отвечал:

— Да-с, нынче раньше обыкновенного.

— И, конечно, все благополучно? — продолжал я.

— Да, ничего, как всегда... Вы знаете, экзамен — это та же лотерея...

— И в этой лотерее вы были счастливы?

Он опять сделал усилие вызвать улыбку, вызвал, наконец, ее и что-то промычал.

«И какая же дрянь из тебя выйдет», — подумал я, но, конечно, не сказал.

Во все это время старик Кундашев старался не смотреть на меня, кашлял, перекладывал ногу на ногу, рассматривал что-то на потолке вагона. Ему, видимо, было неловко...

3

Наш общий приятель-земляк, который познакомил меня с Кундашевым, завязал между тем разговор с «интересной» дамой.

— Значит, вы первый раз едете в провинцию... Настасья Михайловна? Так, кажется?

— Да, так. В первый раз еду.

— Вам понравится. У нас хорошо. Воздух какой.

— До воздуху мне никакого дела нет.

— Как так? Помилуйте, в деревне воздух первое дело.

— И в городе и в деревне первое дело — деньги.

— О деньгах надо думать в городе. В деревне надо отдыхать.

— Кому отдыхать, кому — работать...

— Будто вы работать едете?

— Конечно, работать.

— Гувернанткой?

— А уж, ей-богу, не знаю чем. Ваше сиятельство, под каким я еду заглавием? — обратилась она к старику Кундашеву.

— Как под каким?.. Так, ха-ха... вы сами знаете...

— Знаю. Только как прикажете говорить. Вот спрашивают...

Старик растерялся, сконфузился и что-то бормотал.

— Вот... Эспер... ему надо говорить...

— Моей гувернанткой, — сказал Эспер. — В качестве моей наставницы, воспитательницы, покровительницы, и прочее, и прочее.

Все переглянулись. Кое-кто улыбнулся. Разговор, однако, после этого признания не замолк, а принял несколько иной тон.

— Вот видите, сколько у меня дела, сколько обязанностей и занятий...

— И все приятные...

— Вы думаете?..

— Это, впрочем, во многом будет зависеть от воспитанника. Если он понятлив...

— О да. Он очень понятлив...

Дальше разговор принял уж совсем откровенное направление. Вещи начали называться прямо своими именами... Мало-помалу к нам собрались и обступили нас пассажиры всего вагона. Завязалась общая беседа, начались рассказы, воспоминания, делались советы, указания. Откуда-то достали даже картинки веселого содержания, и они пошли по рукам. Старик Кундашев сначала, по-видимому, хотел было отделаться шутками, но это не удалось. К нему установились отношения как к шутику.

— А который вам год? — спросил его кто-то.

— Кому? мне? — Он обернулся назад, отыскивая глазами, кто спрашивал.

— Да, вам.

— Мне сорок девятый.

— Ну что ж, гувернантка-то может еще и вам пригодиться...

— Сын не даст, отобьет... — за него ответил кто-то.

— Нет, мне уж не до того... Нет.

— А может...

— Нет уж... где...

— Настасья Михайловна, а как ваше мнение?

— Мне все равно. Это до меня не касается. У меня этого в условии нет.

— А, у вас условие?

— Нотариальное.

— Крепче нотариального.

— Денежки вперед?

— Именно.

— Умно, матушка. По нынешним временам так и надо...

Я посмотрел на молодого Кундашева. Кислая гримаса пропала. Он сидел совершенно зеленый, губы сжатые, бледные. Наконец он не выдержал и, обращаясь к отцу, проговорил:

— Какая у вас удивительная способность собирать вокруг себя толпу. С первой же станции я пересяду в другой вагон... Вы поймите, что это неприлично...

Старик так и ахнул.

— Ну вот, это очень мило! Я же теперь во всем виноват. Она бог знает что говорит, а я виноват. Очень мило! Она твоя, а не моя. Она при тебе. Это ты должен за ней смотреть. Этого еще недоставало, чтобы я еще и за это отвечал. Мое дело что условлено заплатить ей, и — баста.

— Как, разве вы в самом деле платите ей за сына?

— А то кто же. Конечно, я. Я и в училище за него плачу и ей плачу — все я...

Раздался взрыв хохота... Молодой Кундашев сделал нетерпеливое, нервное движение и так стиснул зубы, что они у него заскрипели, а на щеках заходили мускулы. Он был мертвенно бледен. Старик заметил это, потянулся к нему и с испугом спросил:

— Что с тобой? Эспер, что с тобой?

— Ни...ничего. Молчите...

— Что с тобой? — повторил он.

— Мм...молчите! — почти закричал сын.

— Ну вот... Ну вот... Это очень мило. Очень мило!..

Начались свистки, звонки, и поезд опять подошел к станции. Вошел кондуктор: «Станция такая-то. Поезд стоит десять минут».

Молодой Кундашев встал и, молча проталкиваясь сквозь толпу, пошел к дверям вагона. Старик тоже: встал и поспешно пошел за ним.

— Ты куда же? — спросил он.

Тот ему ничего не отвечал...

— Вот это у нас всегда так. И там, в Венеции, было то же. Кто что ни сделает, а виноват я. И погода если дурная — я виноват. И теперь: «она» безобразничает, а я виноват. Не взял бы — опять был бы виноват.

— А разве ваша супруга не знает, что он едет в деревню с гувернанткой? — спросил его кто-то.

— Нет, уж теперь, должно быть, получила письмо. Я ей обо всем написал. Я-то тут при чем? Их же доктор сказал, что это необходимо...

— Скажите пожалуйста, вот болезнь-то, — замечает кто-то, и новый взрыв хохота.

— А какое, подумаешь, трудное дело это воспитание детей, — иронически замечает Лопашев.

— А у вас нет детей? — спросил его Кундашев.

— Нет-с, есть.

— Где же они?

— Мои в гимназии-с.

— В гимназии? Какая ж оттуда карьера?.. Вот разве в университет, впрочем...

На платформу, пожимаясь плечами и всем телом, как делают это, желая расправить усталые члены, вышла Настасья Михайловна, увидала его, подошла и спросила, где Эспер.

— Не знаю, он тут должен быть. Я сейчас...

— Нет, погодите. Дайте руку. Проводите меня в буфет, я есть хочу.

Он повиновался, и она повела его, поддерживая левой рукой свое платье и юбки...

4

В деревню в этом году я приехал раньше обыкновенного. Должно быть, это были последние числа апреля. В начале мая прилетают уж дупеля, а их еще не было. В тот же день вечером у меня происходил военный совет с Бердебой.

— Уток много?

— Гибель. И пошла это нонче все мелкая утка — чирок.

— Самая вкусная.

— Мелка...

— Ну, дупелей еще нет?

— Нет. Баранчиков (бекасы) тоже гибель. Намедни становой с ружьем приезжал на семеновскую мочежину. Меня призывал. Наколотили... У вас, говорит, бекаса много, а такого места, как в Покровском, у князя Кундашева, для дупеля — во всем свете нет.

— У Кундашева? Он-то как туда попал? Ведь это верст пятьдесят отсюда.

— А ведь жена-то его оттуда взята. Тамошнего попа дочка. Вот, говорит, ты туда барина свози, как приедет. Очинно уж хвалит. И народ, говорит, в той стороне хороший. У тестя — попа, говорит, и остановитесь, как поедете. Поп умный, хозяин... В прошлом году он к зятю, к становому-то, приезжал. Я видел его. Такой обходительный. И силища только!..

— Не старый еще, бодрый?

— Нет, годами-то он уж стар — лет шестьдесят ему, только силищи непомерной. Выпил он у зятя-то — день базарный был — и пошел по селу. Увидел возы с дугами. Подошел. «Дайте, говорит, дугу мне выбрать хорошую. В нашей стороне, говорит, этот товар плох». — «Выбирай». Он и начал. Какую дугу ни возьмет — она у него пополам. А сам так и хохочет... Ну, мужик-то и сробел. Дуг с десяток, пожалуй, изломал. Заплатил. «Это, говорит, у меня первое занятие». Потом повел мужиков на становую квартиру и четвертную им выставил... Купались мы с ним тоже, и он руку свою давал щупать — совсем вот как железная... По-настоящему надо бы к нему съездить. Примет нас за первый сорт...

— Отчего ж не съездить. И съездим.

— Такое, говорит, дупелиное место, что и рассказать невозможно...

— Хорошо, хорошо.

— И в стороне-то той мы не бывали еще.

— Вот и побываем... А про помещика, про князя Кундашева-то, ничего не слыхал?

— Ничего. Богатый, говорят, только. Вы нешто не знакомы?

— Вот теперь из Петербурга-то ехал, дорогой познакомился.

— Ничего. Дурного ничего не слыхал... Если поедем, всё узнаем, каков он есть... А когда ехать-то — теперь или летом?

— Все равно — хоть теперь. Как покажутся дупеля, так и поедем.

— Через недельку-то должны проявиться.

— Ну, через недельку и поедем.

Весна в этом году, я помню, была теплая, ранняя. Я каждый день ходил с ружьем. Бекасов, уток-чирят действительно страх было, а дупелей все еще не было.

— Пора бы уж и им.

— Удивление!.. Разве в пути с ними чего не случилось ли...

— Что же может случиться-то? Ну что ж?

— Ну, и потонули, может...

Я рассмеялся.

— А что ж, это бывает. Вот лет сорок, старики говорят, так же точно сороки не прилетали. Летели через моря и все потонули...

Дупеля, однако, не потонули. Через несколько дней один нам попался. На другой день попалось их уж штук пять. Прилетели, значит, и пора ехать.

— Прямо «туда» поедем или дорогой тоже стрелять будем?

— Да как лучше-то, по-твоему?

— По-моему, надо бы прямо туда. У попа бы остановились. Прожили бы там недельку. Все места выходили бы, а уж на возвратном пути и по деревням поездить можно... А то не опоздать бы нам. Теперь, весной, дупель ведь недолго продержится — это не летом. Теперь он живо на яйца сядет. Нанесет их и сядет.

В одном из прошлых очерков я уж рассказывал, как я совершаю эти поездки. Так точно было, разумеется, и этот раз. Утром рано, на заре, до рассвета, Бердеба запряг «Ваську» в тележку. Мы уложили туда чемоданы, погребчик для провизии, обтянутый тюленьей кожей с жестяными перехватами (теперь уж я таких что-то не встречаю; это еще дедовский, походный), уложили ружья, порох, дробь и — с богом.

Чудесная вещь ехать весенним утром, если день начинается ведренный. Это такая прелесть, что ни с чем не сравнишь... И для меня действительно нет наслаждения выше этих поездок. Я любил их и прежде, еще мальчиком почти, когда не от чего было отдыхать. Теперь им цены нет. Я положительно воскресаю от такой жизни в деревне...

5

Уж я не помню, конечно, стреляли ли мы дорогой, но к вечеру в тот же день мы добрались до Покровского, имения Кундашева. Было уж совсем темно, когда мы въехали в село. Такие темные, теплые вечера весной удивительно хороши. Небо как бархатное, черное, и по нем крупные яркие звезды... А в Петербурге в это время стоят белые, бледные, больные ночи...

— Ну, где же поп живет?

— Надо спросить.

Подъехали к первой избе, из которой светился огонек. Постучались в окно. Вышла баба:

— Вам кого надыть?

— Тетенька, где поп живет у вас?

— А вам какого? У нас их два.

— Силача.

— Это отца Онисима вам?

— Онисима, Онисима! — припоминает Бердеба.

Деревенские попы вообще живут бедно, а у нас особенно. Церквей понастроено много. Чуть не в каждой деревне церковь. Приходы поэтому маленькие — взять ему и негде. Прежде помещики помогали, ну, а теперь все это изменилось. Ужасно бедно живут...

Меня поэтому и удивило благосостояние Онисима. Это уже не изба. Это городской деревянный домик. Каков он

снаружи, теперь, ночью, я не мог разобрать, но внутри-то я видел, что ничего похожего нет даже на обыкновенные поповские дома. Когда мы подъехали, Онисим сидел на крыльце с кем-то и разговаривал. Мы отрекомендовались.

— Вот и чудесно, — сказал он. — Пожалуйста. У нас просто. Эй, Дарья, подогрей-ка самоварчик, — крикнул он проходившей тут же возле крыльца бабе. Потом Бердебе сказал, чтобы он лошадь поставил на двор, отпряг бы ее, а сам бы приходил «в дом». Это и действительно был дом. Сам Онисим и на вид мужик бодрый. Волосы серые, волчиного цвета, лицо умное, немного рябоватое, борода редкая. — Пожалуйста... пожалуйста, — повторял он и шел передо мной из одной комнаты в другую. Я шел за ним. Везде «городская» мебель, лампы, картины, кое-где ковры на полу. Я был в высоких охотничьих сапогах и в сером охотничьем же пиджаке с зелененькими кантиками, с пуговицами в виде каких-то кабаньих, оленьих голов. Костюм вовсе не для гостиной.

— Вы извините меня... я так одет, — сказал я.

— Пожалуйста уж... Мы люди простые...

Из второй или третьей комнаты он повернул направо. Я за ним. Мы вошли в просторную большую, светлую комнату с турецким диваном, с креслами, с этажерками.

— Вот здесь и селитесь. Может, умыться хотите с дороги? Сюда нам и самовар подадут.

Я никак не мог свыкнуться с мыслью, что я у деревенского попа в гостях, и все оглядывался. Он куда-то сходил. Я слышал, что он что-то приказывал, и опять вернулся ко мне.

— Поохотиться хотите в наших местах?

— Да-с, хотелось бы...

— Охота удивительная. Теперь, знаете, у нас как-то не принято, чтобы попы на охоту ходили, а прежде, когда в семинарии еще был и приезжал на лето, на вакации, тоже записной был охотник... С помещиком-то нашим вы не знакомы?

— Дорогой познакомился, вот как сюда ехал из Петербурга.

— Познакомьтесь... покороче познакомьтесь. Теперь его нет, а вот дня через два, через три он вернется... Поехал супругу встречать из-за границы... Теперь сын его здесь...

— Один? — спросил я.

— Вы с ними ведь, говорите, вместе ехали из Петербурга? — в свою очередь спросил он.

— Вместе... а что?

— Изволили, значит, видеть эту персону, которая при них?..

— Настасью Михайловну?

— Да-с.

— Видел.

— Так вот, он с нею-с...

— Где же она? В доме живет?

— Нет-с, не в доме...

Он посмотрел на меня и улыбнулся. Я повторил вопрос.

— Чудные нынче эти молодые люди, — как бы про себя сказал он, не спуская с лица иронической усмешки...

— А что?

— Так-с.

— Рано обзавелся?..

— Нет-с, не в том... Приехали это они все трое: родитель, сын да вот эта персона, и сейчас за мной. Пошел. То, се, наконец князь спрашивает: «Не можете ли, батюшка, маленькое одолженье нам сделать». — «Какое?» — «Нельзя ли вам на летнее время у себя одну девицу поместить? Вы одинокий. Помещение у вас большое...» — «Какая же, говорю, это девица?» — «Она вроде гувернантки...» Что такое, думаю, за оказия? Дом у них большой — вы не изволили быть? — комнат тридцать, и вдруг места нет для гувернантки... «А у вас-то, говорю, разве тесно?» — «Не тесно, а, знаете, неловко... приедут дочери...» — и объяснил все... Такая меня досада взяла, что я вам и рассказать не могу. Смотрю я на него и удивляюсь. А он опять: «Вы, говорит, понимаете, что это неловко?» — «Понимаю, говорю, как этого не понять?.. Только вы-то, ваше сиятельство, кажется, не понимаете, что ведь и попу неловко тоже...»

— Чем же кончилось?

— Чем кончилось? А вот-с чем. Есть у нас в версте отсюда помещик один — Хорьков фамилия, — в нужде он теперь большой, так вот и согласился принять ее за тысячу рублей к себе в дом.

— Семейный человек?

— Два сына и три дочери. Старшей пятнадцать лет. На будущий год невеста.

— И князек ездит туда к ней?

— Каждый вечер. Утром назад... Да-с... Чудно это нынче как-то стало...

— Отец избаловал.

— Нет-с. Отец тут ни при чем. Отец невинный человек. Это все мать-с. Совсем шалая...

— Вы говорите: дня через два, через три она приедет сюда? — переспросил я.

— Непременно... А вы сколько хотите у нас прогостить?..

— Не знаю-с. Хотел бы вот поохотиться. Святой отец, ведь я вас стесняю?

— Вот уж нисколько-то. Живите себе хоть целое лето. Напротив: очень рад... Завтра воскресенье. Вы уж охоту-то с вечера начинайте, а утром в церковь сходите, всех там увидите...

— И князек будет с гувернанткой?

— Наверно. От скуки куда ж им деваться. Наверно, приедут...

Мы напились чаю, немного погодя поужинали и всё болтали. Онисим оказался типом все чаще и чаще теперь встречающимся — попом-кулаком. Он снимает земли, скупает телят, свиней, кормит их, потом продает с барышом. Ездит по аукционам, там скупает. Так купил он и этот дом и всю мебель в нем на аукционе у одного из прогоревших здешних же помещиков.

— Что ж делать? Век такой, — как бы оправдываясь, заключил он.

— А службу-то справляете?

— Признаться сказать — редко. У меня тут нанят один заштатный попок — он за меня и справляет... Некогда самому-то... Завтра, впрочем, сам буду служить... Приходите в церковь-то... Велеть вас разбудить?

Мне постлали на диване очень хорошее белье, дали подушки, одеяло. На столик поставили графин с водой, свечку, пепельницу.

— Святой отец, нет ли на ночь чего почитать?

— Почитать? Да чего же... Книг-то, признаться, нет... Впрочем, вот намедни была у меня дочь-становиха и жур-

нал забыла. — Он пошел и принес мне несколько нумеров «Модного магазина» за прошлый год...

— Покойной ночи.

— Покойной ночи. Так я перед обедней-то велю вас разбудить. Приходите — посмотрите...

6

Я попал в церковь в пол-обедни. У паперти стоял чей-то тарантас, беговые дрожки, премиленький кабриолет, запряженный парочкой каких-то маленьких лошадок. Церковь была полна народу. Протискиваться мне не хотелось — все равно при выходе всех увижу, решил я и стал у дверей. Когда обедня, наконец, кончилась и народ повалил из церкви, я перешел на паперть и стал смотреть. «Аристократия», стоявшая по обыкновению впереди, выходила теперь последнею. Вышло какое-то помещичье семейство и село в тарантас. Наконец я увидел и «гувернантку». Она тоже отличила меня в толпе мужиков и баб, удивилась сперва, потом рассмеялась и подошла:

— Вы как сюда попали? Ведь вы, помнится, говорили тогда, что живете далеко отсюда?

— На охоту приехал.

— Значит, как же, ехали мимо церкви и заехали?

— Нет, я тут у священника остановился.

— Долго пробудете?

— С неделю, пожалуй. Здесь удивительные места для охоты.

— Говорят. Вот тут есть помещик Хорьков — меня там поселили, — так он тоже каждый день ходит на охоту и кормит нас с Эспером дупелями... Здесь действительно очень недурно. Я думала, что будет хуже...

— Ну что ж, выбрали вам заглавие?

— О да. Я объявлена женой какого-то офицера, которую Эспер будто бы отбил и увез у него. Я ужасная, страстная женщина, которая опутала сетями своей любви этого несчастного «мальчика» Эспера, и он погибает от меня... Все ему сочувствуют. Очень романическое, но и очень глупое положение мое. Впрочем, мне до этого никакого дела нет... Это их дело. Вы знаете, на днях «maman»

будет... его сестры приедут. За всеми за ними поехал этот несчастный отец... Ах, как все это глупо!

— Но выгодно?

— Да, выгодно... Ах, если бы мне одна штука удалась!..

— Какая такая?

— План такой у меня есть в голове... И я его исполню. Наверное, исполню...

Из церкви выходили уж последние. На паперти показался, наконец, и поп Онисим. Он увидал меня с «гувернанткой» и подошел к нам.

— Здравствуйте. А чаем, святой отец, угостите нас? — спросила она его.

— Это другое дело... милости прошу.

— Вы знаете, меня ведь хотели у него, у святого отца, поселить...

— Знаю, слышал...

Мы пешком дошли до дому. Она все болтала, разумеется, ломаясь и разыгрывая из себя что-то оригинальное из ряда вон. За чаем — она нам наливала его — она начала было уж пересаливать. Он остановил ее просто, спокойно, нисколько не обижая.

— Вот что, матушка, — продолжал он, — судить не мне вас — господь с вами, но ведь и похваляться тут нечем...

— А они могут меня покупать? Им это можно? Только мне нельзя? Что вы думаете, это любовь у него, что ль? Летом к нему его товарищ по училищу приедет — так вот он и будет хвастать мной... Нет-с, я тоже понимаю в чем дело... Эту дрянь нечего жалеть...

— Ну, себя пожалейте.

— Вот я себя и жалею. Чем больше вытяну из них, тем и лучше... Жиды говорят же: уж если есть свинину, так жирную. Так и я. Уж если пошло на это, так было бы из чего...

— У него ведь еще сестры есть. Им тоже надо... Надо их пожалеть.

— Они их не жалеют, а я буду жалеть? Все я да я!..

Она просидела с нами около часа и стала собираться уезжать.

— Херувим-то мой проснется — надо его чайком тоже напоить...

Она уехала, а мы пошли к «шкафчику» выпить водочки.

— Удивительное-с воспитание... Времена для дворянства, кажется, пришли тяжкие теперь, а выходит вот что... И ведь это-с не он один такой растет. Тут по соседству я знаю еще трех-четырех таких же. Я объясняю себе это так: просто затмение на них нашло. Божеское наказание. Ей-богу-с... Вам рябиновой?

Дупелиные места в Покровском действительно удивительные. И все эти мочежины и низы тянутся на многие версты. Ходишь по ним точно по мягкому ковру. Рано, чуть займется заря, Бердеба придет и постучит в окно: пора, значит, выходить.

— Ну, теперь куда же?

— Да, по-моему, опять на те же места.

— Где вчера были?

— Да. За ночь «они» опять налетели.

И в самом деле: идем утром точно по свежему месту, где еще никто не стрелял.

— Ну, места!..

— Становому спасибо. Без него мы бы так и не знали.

Я жил у Онисима в доме, Бердеба — в избе. Мы уходили на охоту на заре, брали с собой водки, чего-нибудь закусить, закусывали, когда доходили до изнеможения, выбирались на сухое место и прямо на земле врастяжку, усталые, засыпали часа на два. Вечером вплоть до зари опять охота. А там, пока дойдем до села, пока что, уж и темно.

Онисим сидит на крыльце и с кем-нибудь разговаривает, пьет чай с лимоном.

— Поздравить можно? — кричит он.

— Можно, святой отец... Что это за места у вас!..

— Редкостные, редкостные... Однако, я слышу, вы всё по одним и тем же местам-то ходите: вы дальше проходите, там дупель еще сильнее.

— Да и здесь — чего же лучше?

— Говорю вам: там он еще сильней...

Так прожил я у Онисима уж дня три. По вечерам, за ужином, мы с ним беседовали каждый день. Он был не прочь выпить, и у него были очень хорошие настойки и наливки.

— Святой отец, не довольно ли?

— Ну, по одной еще.

— Это уж последняя?

— Последняя только у попа жена.

И расхохочется...

— Давно, батюшка, овдовели?

— Да уж лет двадцать, пожалуй.

— Трудно вам?

— Теперь-то ничего... А прежде, конечно, было трудно... Мужик я сильный, здоровый... Да ведь прежде-то люди духом сильнее нынешних были.

— И теперь попадаются...

— Не то-с, совсем не то-с. Да вот хоть бы отрок княжеский... Разве это прежде слыхано было, чтобы отец сыну блудницу нанимал?..

— Ну так ведь это безобразие, исключение.

— Уж докладывал я вам, что это не исключение. Тут у нас в околотке не он один так растет.

— Дурацкое воспитание.

— Господи помилуй! Какого еще воспитания? В самом первом что ни на есть училище... Кажется, больше тысячи рублей в год на одни науки платят родители-то. Потом так, на то, на другое, на папироски, на конфекты да вот теперь еще на это... «ей»... Чего же больше и требовать от родителей...

— Вы говорите, что это она, княгиня, всем орудует?

— Она-с. Он кроткий господин...

— То есть просто глуп.

— Как вам сказать-с? Воспитанием-то она заведует, а вы вот изволили выразиться, что воспитание это дурацкое... Может, если бы не она, умная, а он, глупый, заведовал этим делом, так и иначе было бы... Он бы все, как жавороночек, по полям бы летал. Он деревню любит и мужика жалеет. В народе про него ничего дурного не услышите. Вы не смотрите, что он такой чистоплюй — в перчаточках да в башмачках. Это она его там, за границами, ко всему этому приучила. А тут у нас он был простой. Это она его с толку сбила. Она хоть кого с ума сведет. Шалая баба — избави господи, если попадется. И не такие: крепкие умом, и те от них дураками делались... Он бы сына, может, и к делу приучил какому.

— К какому же, например?

— Гм! Точно у нас мало дела! От дела не огребешься... Впрочем, конечно, дворянину, да еще княжеского рода...

— А разве, по-вашему, дворянину делом и заниматься не след? Чем же тогда?

— Службой-с... в офицеры... при дворцах-с...

— А жить чем?

— Как чем? Жалованье же идет им на это... Доходы с имений...

— На жалованье, святой отец, жить нельзя. Доходы теперь сами знаете какие с имений-то...

— Да-с, доходы не те-с!.. Нет-с, далеко не те-с!..

— Из чего же служить-то?

— Из чести-с...

Он поднял на меня глаза: кроткие, но сколько в них злой, беспощадной насмешки... Вообще над прогорающим дворянством никто так зло не смеется, как духовные. Это, надо полагать, не я один заметил...

— Не те, святой отец, времена, чтобы за этой честью гоняться.

— Времена трудные-с. Это точно. Это вы изволили совершенно верно заметить-с...

— Значит, какая уж тут честь, когда нечего есть...

— Да-с, трудные времена. А вот подите же...

— Ну и прогорят...

— Бывает-с и это...

И опять кроткая улыбка, а глаза полны смеху...

7

На четвертый, кажется, день моего пребывания, вечером, когда я пришел с охоты, отца Онисима не было дома. Я спросил, где он. Мне сказали, что приехала княгиня из-за границы и за ним прислала. Вскоре, так через час, он вернулся.

— Приехала?

— Да-с. Теперь все в сборе...

— Начнутся, значит, представления у вас?

— Не без того-с...

— А что, разве уж что начали? — спросил я, заметив какую-то странную у него улыбку.

— С завтрашнего дня начинается. Завтра просила приехать и побеседовать с сыном. Хочет и с ним и с этой персоной ежедневные беседы устроить...

— Обращать на путь истинный?..
— Надо полагать...
— Кто же этим будет заниматься?
— Я-с... в ее присутствии.
— Стало быть, «она» теперь у них в доме будет жить?
— Нет-с, только привозить ее для беседы будут, а потом на ночь опять отвозить.
— И он будет уезжать?
— Да-с, пока не обратим его...
— Гм... Ну, а мне как-нибудь посмотреть на них, на эти беседы-то, нельзя будет?
— А что же вы думаете? Я полагаю, она вам и рада будет. С ним, с князем-то, вы знакомы ведь?
— Да вот на дороге, как я вам вот рассказывал...
— Я скажу, что вы охотитесь и у меня остановились... Наверно, просить будут к себе. А вы уж там и наведите разговор...
— Пожалуйста...
— С великим удовольствием...
Когда на другой день вечером я пришел с охоты, он встретил меня, по обыкновению, на крыльце, за чаем:
— Ну что? Были у княгини?
— Был-с.
— Обо мне говорили?
— Говорил-с. Очень рада, говорит, познакомиться. Я, говорит, всех его родных знаю... Завтра утром уж вы на охоту-то не ходите, отдохните... Перед завтраком она экипаж за вами пришлет... будет приглашать... Мы и поедем туда...
— А «беседы» были у вас сегодня?
— Нет-с. Сегодня только соображения о беседах у нас были. Беседы с завтрашнего дня начнутся. Сперва молебен будет...
— А как же мне пристроиться к вам?
— Ну, уж как-нибудь там пристроитесь...
Надо было приготовиться к завтрашнему представлению. Ехать туда в охотничьем платье нельзя было, конечно, и мы с Бердебой распаковали чемоданчик, вынули оттуда сюртук, крахмальную рубашку и проч. и все это разложили и развесили в моей комнате.
— Стало быть, завтра не будить?
— Нет... отдохнем...

Утром, часов в одиннадцать, мы сидели с Онисимом на крыльце, пили чай (он пьет его целый день) и толковали о предстоящем нам визите. Он рассказывал удивительные вещи.

— Да, может быть, она сумасшедшая?

— Нет-с. Так просто, шалая... Вот увидите. Теперь сейчас за вами пришлет... Вы бы, знаете, одевались бы... Они ведь недалеко отсюда. И версты не будет. Вот их усадьба-то. Изволите видеть лес? Это сад их, а в саду и дом. Истинный рай божий... Если бы этакое сокровище да в хорошие руки!..

Действительно, вскоре по дороге показался экипаж.

— Ну, вот-с это за нами.

Я пошел одеваться. Онисим также встал.

— Надо и мне, видно, почище одеться сегодня. Пожалуй, народу там много сегодня наберется...

Мне было прислано необыкновенно любезное приглашение на французском языке, на бумаге с княжеским гербом. Писала сама княгиня и выражала надежду, что я исполню ее просьбу, доставлю ей случай познакомиться со мной.

Мне подал это письмо лакей, ужасно загорелый, с белесоватыми волосами, в ливрее, очевидно сшитой не на него, в нитяных перчатках и с рыжей шляпой в руках. Кучер — за нами прислали коляску парой — был одет тоже с претензией и тоже во всем сильно потертом. Мы сели с отцом Онисимом и поехали мимо церкви, на ту сторону огромного выгона, где кончались вытянутые в один длинный ряд мужицкие избы и где виднелся сад и усадьба. Большие, толстые, закормленные серые лошади возли нас торжественно, чуть не шагом. Через несколько минут мы, наконец, въехали в эту усадьбу.

Таких домов теперь уж помещики не строят. Их мало даже и осталось теперь. Это очень старинного фасона дом, с белыми деревянными колоннами, с маленьким балконом, с маленькими стеклами в огромных оконных рамах, с деревянной крышей и, разумеется, с неизбежным в таких домах мезонином. Громадные старые липы и березы близко обступили его со всех сторон и разложили свои раскидистые ветви на крыше, на подъезде, на отворенных окнах. Сад был старинный, тенистый. В глубине его, сквозь деревья, виднелась блестевшая на солнце вода.

— Что это; пруд?

— Пруд. Караси какие у них! Нигде таких нет...

На дворе перед конюшней стояло несколько отпряженных экипажей. Кучера в красных рубашках ходили вокруг них, убирали сбрую, мыли колеса.

— У вас гости? много? — спросил я лакея.

— Нет-с. Это Чемцовы господа да Белоснежкины... больше никого-с.

У крыльца он соскочил с козел и высадил нас.

8

Я вошел в огромную, почти пустую переднюю. Там другой лакей взял мое пальто и отворил дверь в зал. Передо мною открылся целый ряд комнат, длинных, больших и низких. Окна все были открыты. Сирень, акация, липы так и смотрели в них, заслоняя собою солнце. В комнатах от этого было темно, чувствовалась прохлада, пахло цветами. В жаркий день это очень хорошо. Мебель в комнатах, зеркала, бронза, даже паркет на полу — все старинное такое, которого теперь нигде не встретишь. Но все это в таком порядке, чистота удивительная: нигде, кажется, ни пылинки...

Одновременно с тем, как я шагнул из передней в зал, из других, противоположных дверей показалась знакомая мне маленькая фигура старика Кундашева. На средине зала мы встретились с ним. Он был такой же чистенький и свеженький, каким месяц назад я увидал его в вокзале московской железной дороги.

— Ну, как же я рад!.. Ах, как я вам рад! — твердил и повторял он, обеими руками пожимая мою руку. — Вы не поверите, как я вам рад... — И он по-прежнему, по-собачьи, заглядывал мне в глаза и улыбался...

— Я тоже очень рад, — сказал я.

— Ах, как я рад, ну, как же я рад... пойдемте, я вас с княгиней познакомлю. И она вам так рада... Она вам понравится... Конечно, она нервная, больная женщина... но...

Он замялся немного, но потом собрался, должно быть, с мыслями и тихо, почти шепотом, как бы про себя, проговорил:

— Ну что ж делать?..

Из следующей комнаты, такой же почти обширной, но иначе совсем меблированной — это была гостиная, — одна дверь вела на террасу в сад. Дверь была отворена.

— Вот, сюда, сюда... Они все тут, и она тут...

Когда я ступил на террасу, я невольно остановился. Шагах в сорока передо мной лежало огромное и буквально как зеркало гладкое, спокойное озеро, все залитое солнцем. Отсюда, со стороны дома, берег был открытый, а там, дальше, по нем шла сплошная высокая стена разнообразной зелени лип, березы, тополя. Озеро было все в саду. Удивительно это было красиво и вместе неожиданно както. В первый момент я никого не заметил на террасе, и у меня невольно вырвалось: «Ах, как хорошо!» Вслед за этим восклицанием направо послышались голоса. Я оглянулся и увидал целое общество в нескольких шагах от себя.

— Ну вот, мой ангел, ну вот и он... — указывая головой на меня, говорил князь, а кому он это говорил и кто этот ангел — я никак не мог догадаться. На балконе сидело таких ангелов, в виде сорокалетних дам и девиц, штук шесть или семь. Все они на меня уставились, улыбались и молчали. Вдруг одна из них как-то закивала головой, сделала гримасу и поднесла к глазам носовой платок.

— Вот видите... это нервы... — сказал князь и стал в выжидательную позу. Все молчали. Я стоял как дурак, не зная, что мне делать, не зная, но чувствуя, что чем-то я тут виноват. Наконец она отняла платок, как-то уронила руку с ним на колено и слабым мановением головы позвала к себе. Я приблизился.

— Какое сходство... Ах, какое сходство!.. — тихо говорила она, рассматривая меня. Потом взяла за руку и привлекла к себе. Я не знал, что она хочет со мною делать, и слегка упирался. Но она обеими руками взяла меня за голову и поцеловала в волоса.

— Садитесь... вот тут... Ах, какое сходство...

Это была женщина лет сорока семи-восьми, очень полная. На лице несомненные следы косметиков. Все пальцы в кольцах. Полная (и даже очень) грудь подтянута корсетом чуть не к самому подбородку. На голове черная

кружевная наколка. В волосах два живых розана — белый и красный.

— Вы помните его?.. Вашего дядю, Сергея Григорьевича?.. — начала она. — Ах!.. Когда он приехал к нам тогда на бал в этом своем гусарском мундире... Этот ментик... этот взгляд... Я помню, тогда я только что вышла замуж... Знаете, все это вместе... Вы его не помните?

— Нет-с.

— Да, он тогда приехал... и уехал. Больше мы его и не видали... Ужасная смерть... Вы знаете, пуля попала ему прямо в сердце...

Она опять немного подержала у лица платок, поморгала глазами и начала расспрашивать про родных, припоминая совершенно неизвестные даже мне родословные ветви и линии.

Я сидел, окруженный дамами и девицами, почему-то продолжавшими молчать и кротко улыбаться. Судя по сходству, одна из девиц была, должно быть, ее дочь. Тут же на стуле, заложив ноги за ножки стола, сидел князь, молчал и тоже улыбался. Я слушал всю эту чепуху ее про родню, а сам посматривал то на озеро, то на дверь из гостиной, в которую я вошел и в которой до сих пор почему-то не показывался приехавший со мною отец Онисим.

— И вы нигде не служите? — продолжала она.

— Нет-с.

— Зиму в Петербурге?..

— А лето в деревне...

— Охота... книги... Отчего же вы не прямо к нам... не у нас в доме остановились, а...

— У отца Онисима? Я его знал немножко и ранее... Вас не было...

— Он славный... только он недостаточно ученый... Ах, вот за границей, в Италии... Это никакого даже сравнения с нашими... С ними обо всем можно говорить, советоваться. — Она замолчала и как бы задумалась, что-то соображала. — При воспитании детей... особенно когда они достигают известного возраста, — опять начала она, — бывает столько случаев, когда духовник так необходим, когда одно его слово может... а у нас!.. у нас мать, занимающаяся воспитанием своих детей, совершенно беспомощна... Ей не на кого опереться... Она сама должна

научить духовника, что ему делать, что говорить... Сегодня я хочу сделать маленький опыт... Отец Онисим ничего вам не говорил?

— Ничего... — нерешительно сказал я, не зная, следует мне признаваться или нет. — Вот что-то про молебен...

— Я хочу сделать... маленькую духовную беседу под его руководством... Это нынче принято... и в Петербурге... в высшем обществе...

— То есть это как же?

— А так, просто, мы будем его спрашивать, а он нам будет объяснять... Вам это покажется скучным...

Я, разумеется, поспешил ее уверить, что, напротив, ужасно и сам люблю духовные беседы, часто упражняюсь в этом и т. д.

— Серьезно? — удивилась она, и это, видимо, обрадовало ее. — В таком случае, значит, и откладывать нечего. Мы, позавтракавши, соберемся в зале...

Она посмотрела маленькие золотые часы, висевшие у нее на груди, и, обращаясь к князю, сказала:

— Скоро час... Что же завтракать?

Он засуетился на стуле, но в это самое время на террасу вошел лакей во фраке, в белом жилете и белых нитяных перчатках и доложил, что «фрыштыкать» готово.

— А где же Эспер?.. Вы с ним знакомы?.. Неужели его еще нет?

— Мой друг... нет, его еще нет... — отвечал князь.

— Но он, может, и совсем не приедет?.. Это будет очень мило... Вы хоть бы этим озаботились...

— Послать за ним?

— Об этом надо было раньше подумать...

Она встала, спросила мою руку, и мы открыли шествие. Мы проследовали по гостиной, еще по каким-то двум большим комнатам и вступили в столовую, окнами выходившую уж не в сад, а на двор; я опять увидал отпряженные экипажи перед конюшней. Стол был сервирован довольно жидко, но опять и тут претензии.

— А где же священник? — вдруг спохватилась она.

Лакей сказал, что он, кажется, приехал, но что-то вспомнил и опять уехал сейчас же, обещал вернуться через час; наконец мы уселись. Подали цыплят с белым соусом, какие-то котлетки, еще что-то. На столе стояли две

начатых бутылки — красного вина и хересу. В ползавтрака она вспомнила и спросила меня, не пью ли я водку?

— Пью-с.

— Вы вечно забудете спросить, —упрекнула она мужа.

— Мой друг... — что-то было начал он, но она, не слушая, перебила его и велела лакею подать.

— Он не пьет... Эсперу я тоже не позволяю.

— Княгиня, вы не беспокойтесь, для меня ведь это тоже не необходимость какая, — сказал я.

— Да? В таком случае я очень рада. Я ужасно боюсь за тех, кто пьет. Не нужно... неси назад, — приказала она лакею, появившемуся в дверях с графинчиком водки на подносе из накладного серебра с полинялыми, покрасневшими краями...

Перед самым концом завтрака, когда мы пили уже кофе, в столовую вошел приехавший, наконец, Эспер. Он был такой же точно зеленый, угреватый, в щегольском сереньком костюмчике, с пестрым галстучком и мокрыми волосами, коротенькими и расчесанными на лбу; глаза мутные, красные, подпухшие. На опытный глаз сразу было видно, что ночь проведена не особенно скромно и покойно. Он сделал общий поклон, потом подошел и почтительно поцеловал руку у матери, небрежно, мимоходом ткнул губами отца в щеку и сел за прибор.

— А ты разве не узнаешь Сергея Николаевича? — спросила его мать, указывая на меня глазами.

— Я кланялся, — отвечал он и, сидя, сделал мне еще что-то вроде поклона, раза два откачнувшись от спинки стула. Он наскоро съел кусок цыпленка с простывшим уже соусом, поковырял еще чего-то и попросил кофе.

Когда кончился завтрак и все встали, она отвела его несколько в сторону и о чем-то спрашивала. Я расслышал несколько отрывочных фраз: «И «она» тут?.. Ты «ей» скажи... я все-таки хочу посмотреть на «нее».

9

Из столовой общество разбрелось по всем комнатам. В зале слышалось двиганье стульев, что-то упало. Я пошел туда. Там лакеи устанавливали стулья в один ряд полукругом. В середине полукруга и шагов на пять перед



ним были поставлены визави друг другу два кресла. Один стул был поставлен вне полукруга, на несколько шагов в сторону. Тут же в зале ходил и отец Онисим в голубой рясе, заложив руки назад. Я очень обрадовался ему.

— Куда это вы пропадали?

— Да забыл-с. Я, признаться, телят скупаю на корм. Сегодня в Юрасовке базарный день, должны были пригнать их оттуда, а я не распорядился. Здесь ведь придется, пожалуй, до вечера пропутаться...

В зал вошла княгиня и подошла к нам.

— О, сколько забот с детьми! Я умоляю вас, батюшка, помогите мне... Я одна, совершенно одна... На мужа, вы знаете, я не могу рассчитывать. Одно ваше слово...

— Хорошо-с... — ответил он. — Что могу-с.

— Дочерей я удалила. Им неприлично «ее» видеть. И потом вы, может, коснетесь в беседе «ее» поведения...

— Ну, уж из этого как бы... знаете... она ведь... отчаянная... Да и зачем вы ее сюда пригласили?.. Это бы с ним с одним...

— О нет. Это необходимо. Он мальчик впечатлительный и когда увидит, что она начнет раскаиваться, — это и на него подействует... Он весь в меня... Он ужасно нервный... С ним надо осторожно...

— Хорошо-с, — повторил он.

— Значит, можно и начинать? Кажется, все готово... Ведь вы знаете, в чем дело? — спросила она, обращаясь уж ко мне.

— Да-с... вот догадываюсь...

Мало-помалу все собрались в зал. К тому креслу, которое было поставлено против полукруга, поставили маленький столик, а на него положили какие-то толстые книги в кожаных переплетах, закапанных воском. Очевидно, духовные.

— Ну... сядемте же... батюшка, садитесь... — сказала она и пошла к креслу, которое стояло в середине полукруга стульев. Все последовали ее примеру и сели направо и налево от нее. Батюшка сел в кресло, у которого стоял столик с книгами, запахнул и оправил рясу, кашлянул и положил руку на книги, как это изображается на архиерейских портретах. Все сели и замолчали. Через несколько мгновений послышался шелест шелкового платья, и из дверей, что вели в коридор, той торопливой и

как бы спотыкающейся походкой, какой выходит на сцену певица Демидовского сада, в зал вошла «гувернантка». Она была вся в черном, в черной же шляпке и с густым черным вуалем на лице. Она оглянулась направо, налево, увидела отдельно поставленный стул и села на него. Все обернулись и смотрели на нее. Прошло по крайней мере с полминуты. Наконец княгиня прервала молчание.

— Батюшка, — сказала она, — объясните нам обязанности детей в отношении родителей... — Потом, обращаясь к обществу, продолжала: — Батюшка нам будет объяснять, а мы будем слушать и делать ему вопросы. Одним словом, будем беседовать...

Онисим подумал, переложил одну ногу на другую.

— Дети должны почитать своих родителей, любить их, повиноваться им... — Потом он привел какой-то текст об этом и замолк.

— Если, например, дети видят, что они делают что-нибудь неприятное родителям?

— Должны этого стараться избегать...

Она посмотрела на Эспера.

— А если кто-нибудь научает их быть непослушными, соблазняет их?.. — И она повернулась в сторону «гувернантки», наставила на нее лорнет...

Я не помню, что уж отвечал на это Онисим. Я смотрел туда же, куда и княгиня, и видел, что «гувернантка» вся трясется от смеха. Не было ни малейшего сомнения, что скандал разразится вот-вот, сейчас.

Так, разумеется, и вышло. Следующий вопрос она предложила о том, что надо делать с людьми вредными, соблазняющими детей?.. Онисим начал в ответ ей какую-то длинную историю с текстами, но в это время раздался неудержимый хохот. Грешница встала, откинула вуаль и, стараясь удержать смех, покачиваясь пошла к нам.

— Да очень просто, — говорила она, — надо, княгиня, заплатить что условлено и отправить такого дурного человека туда, откуда его привезли. Вы меня простите... я не могу... Это ужасно глупо. Я согласилась приехать, потому что думала, что это будет все-таки умнее, а ведь это — ха-ха-ха... ну, разве это? ха-ха-ха...

Все, конечно, встали, все были смущены. Онисим тоже встал и прохаживался между нами. Княгиня вступила в какие-то пререкания с ней, но очень, однако, мирные...

— Он еще ребенок почти... я вас умоляю... Хотя доктор ему и разрешил... — говорила она.

— Да, хорошо, хорошо. Будьте покойны... Не сахарный же ведь он у вас в самом деле...

Я и представить себе даже не могу, чем бы, то есть какой бы еще глупостью завершилось все это, если бы не послышались у крыльца колокольчики и бубенчики. Лакей доложил, что приехал становой с бумагами. Как ни была занята княгиня беседой, но известие о приезде станового ее живо заинтересовало.

— Туда... в кабинет... князь, по-ди-те же. Я приду сейчас.

Приезд станового выручил всех. Княгиня повернулась между нами раза два-три еще и исчезла. Грешница «гувернантка» торжествовала. Она то подходила к Онисиму, с ним смеялась, то ко мне. Спрашивала, сколько я еще тут проживу. Звала Эспера, приказывала ему пригласить меня.

— У нас превесело. Эти Хорьковы, у которых я живу, простые люди, и мы отлично живем... Нынче всю ночь у нас такой кутеж шел!..

Дамы куда-то исчезли, и в зале осталось нас четверо: она, Онисим, Эспер и я.

— Ну-с, я поеду... Вы еще здесь останетесь? — спросил меня Онисим.

— Надо проститься...

— Однако и мне ведь надо ехать. Что ж я тут? Эспер, ты меня проводишь? Прощайте... — Она схватила левой рукой юбки и побежала к дверям точно так же, как делают это французские певицы, убегающие со сцены переодеться, чтобы ехать потом ужинать... Эспер раскланялся и поспешил за ней.

Я остался один посреди комнаты между двумя-тремя дюжинами стульев, в беспорядке стоявшими вокруг меня, точно после какой-нибудь детской игры...

10

Теперь, если помещик строится, то есть если строит дом, службы, разбивает сад, цветники и проч., то всему этому придается какой-то городской или уж по крайней мере дачный вид. Конечно, «по нынешним временам» по-

мещикам редко приходится доставлять себе это удовольствие (больше продают на своз и вырубают), но если приходится, то предпочитают именно вот этот дачно-городской стиль и вкус. Многоугольные домики с башенками, фонариками, балкончиками и прочими архитектурными украшениями, может быть, и действительно красивей и удобней старинных «домов», как красивей и приличней подстриженное деревцо раскидистой липы; но я родился и вырос в доме старинной постройки, без башенок и фонариков, и не лежит у меня душа ни к таким хорошеньким домикам, ни к подстриженным деревцам. Смотрю на них, и мне всегда кажется, что люди там не поселились, а приехали «провести лето» и живут не как коренные жители, а так — гости, пролетные птицы. Мне все кажется, что и интересы, и задачи, и вообще вся жизнь их обитателей идет, так сказать, à la fourchette.[1] Очень уж что-то непрочное в них...

Теперь все такие новенькие и хорошенькие усадьбы строятся на бугорках, вообще чтобы было повыше, побольше солнца, повеселей. Прежде — наоборот. Прежде усадьба была «под изволок». Помещики «для тепла» селились прежде «в низах», чтобы была защита от ветра. Для этого же они обсаживали усадьбу и деревьями: почти все старинные помещичьи дома обсажены сиренью, акацией, липами и березками чуть не вплотную, так что летом они едва видны из-за зелени. Это очень характерное внешнее отличие прежнего помещичьего быта от теперешнего. Прежний помещик когда приезжал в усадьбу, он в ней оседал и жил прочно, не наездом, а лето и зиму. Летом везде хорошо, а вот зимой — другое дело. Поживи-ка зимой в деревне, в холодном доме. Дома, разумеется, большей частью деревянные, и как их ни конопать и ни обшивай тесом, а если на юру, под ветром, зимой наверно будет холодно, сколько ни топи. Этих соображений у теперешнего помещика, приезжающего в деревню «провести лето» и «обязанного» жить зимой «для воспитания детей», для службы, «для предприятий» и проч. в столице или вообще в городе, — понятно, быть не может, и их у него нет. Зиму он живет в городе и, может быть, даже

---

[1] Закусывать, не присаживаясь за стол *(франц.)*; в данном случае — неосновательно.

и не знает, теплый ли у него дом в деревне. Ему и летом нужна другая обстановка. В городе он отвык от безобразных раскидистых деревьев, от кудлатых диких кустов сирени, орешника. Ему гораздо приятнее цветник с благоухающими левкоями, резедой, бальзаминами, пестрыми вазочками и гипсовыми амурами. А если нужна тень, так ведь на это есть соломенные шторы, жалюзи, маркизы и проч. Все это можно купить в городе, и все это, конечно, гораздо красивее и приличнее и дупловатой липы и безобразно косматого неуклюжего дуба...

Такая вот именно старая усадьба была и у Кундашевых.

Когда «беседа» кончилась и все разошлись — князь и княгиня в кабинет к становому, Онисим — домой, «гувернантка» с Эспером тоже к себе, и я остался один с пустыми стульями, — я почувствовал себя несколько в глупом положении. Ну зачем, в самом деле, я попал сюда? Уйти к Онисиму не простившись — неловко. Кто-нибудь, конечно, сейчас явится ко мне и начнет меня занимать... Потом начнут просить остаться обедать... Это значит сидеть несколько часов подряд и слушать всякий вздор... видеть эти ломанья, эти притворства... Ах, как глупо...

Окна в зале были все отворены. Посаженная под ними, возле самого фундамента, сирень была в полном цвету, и ее лиловые и белые кисти с крупными зелеными листьями разлеглись на подоконниках, другие стояли прямо и точно смотрели внутрь дома...

«А пойду-ка я в сад, — пришло мне в голову. — Там похожу. Похожу кругом озера...» Я закурил сигару и вышел на террасу. Там сидели каких-то две старухи с буклями на висках, в чепчиках. Перед завтраком, когда я приехал, они сидели тут же и улыбались своими мертвыми улыбками во все время моей беседы с княгиней, или, лучше, во все время ее воспоминаний о моем дяде гусаре... Я спустился по ступенькам вниз и поскорей пошел в глубь сада, чтобы кто-нибудь не окликнул меня, не остановил бы. Я шел все дальше. Тишина. Ни души. Широкая липовая с кленом аллея, по которой я шел, сняв фуражку, тянулась вокруг всего озера, шагах в двадцати — тридцати от берега. Я дошел по ней до того самого места, что было как раз по другой стороне озера против дома. Сад в порядке. То есть это, конечно, не порядок город-

ского сада с утрамбованными дорожками, с выщипанной травой, а порядок, свидетельствующий о том, что сад не заброшен, что за ним смотрят; подгнившие, но еще живые зеленые деревья, надломившиеся толстые сучья — все подперто подпорками, и видно, что сделано это внимательно. Там, где, очевидно, прежде тоже стояли старые деревья, сломанные когда-то ветром или разбитые грозой, теперь были посажены новые, молодые. Возле них колья, к которым они и привязаны, чтобы не раскачал их ветер, не поломал бы снег зимой. Словом, видно было, что сад этот кому-то дорог, кто-то его любит, бережет, жалеет, как говорят мужики... На том месте, где я остановился, стояла скамейка, не такая, какие стоят в городских садах, а простая, на ножках, вкопанных в землю, треснутая, очевидно уж старая, но несомненно недавно, уж этой весной, покрашенная зеленой краской. Я присел на нее. С озера тянуло свежим водяным воздухом. Так хорошо, прохладно... Я не заметил прежде, но теперь, когда обгляделся, я увидал на кольях, к которым были привязаны два посаженные здесь молодые деревца, какие-то железные дощечки с надписями. Я подошел и прочитал на одной: «Посажен этот клен в день рождения князя Эспера Иваныча Кундашева». Год, месяц и число. На другой дощечке такого же содержания надпись о насаждении липы в день рождения княжны Конкордии Ивановны.

В голове невольно мелькнул вопрос: «Кто бы, однако, этим занимался?..»

Вскоре там, в стороне дома, послышались колокольчики, бубенчики, позвякали, дальше, тише и совсем не слыхать. Становой, очевидно, уехал. В голове мелькнул другой вопрос: «А зачем он приезжал?.. Зачем он так смутил ее, что она про всех нас забыла и поспешила в кабинет, куда он прямо пошел?..»

11

Пока я делал все эти наблюдения и соображения, прошло, пожалуй, с час. Неловко. Может, ищут. Надо идти... В одной из аллей, на каком-то повороте, навстречу мне попался князь. Лицо как будто несколько сконфу-

женное, однако улыбается. На голове та самая, заграничного фасона, фуражечка с махорчиком или шишечкой наверху, в которой я видел его в первый раз на вокзале Николаевской дороги. Он подходил ко мне, протягивая обе руки:

— Извините... пожалуйста... я думал... Эспер там, с вами... насилу освободился...

— От станового?..

— Да... Ах, эти дела, дела...

— Сад у вас какой дивный, — сказал я, чтобы переменить разговор. Мне показалось, что визит станового его как-то шокировал: первый раз, дескать, человек приехал и прямо на станового наткнулся. Становой известно зачем «по нашим временам» ездит... Неловко...

— А кто у вас садом-то занимается — вы или княгиня?

— Нет, я. Где ж ей. Больная женщина... нервы...

— Вот и надо бы садом-то заниматься... Это укрепляет, здорово...

— Ну, вот и вы тоже. Я всегда это говорил... А то что это путешествия, одни хлопоты, неприятности...

— Она каждый год путешествует?

— Каждый, то есть прежде не каждый, а теперь вот уж пятый или шестой год...

— И вы с ней?

— Непременно. Как же ее одну...

— И не помогает?

— Нет. То же... даже хуже...

— И потом, ведь это дорого...

Он быстро посмотрел на меня и опять опустил глаза.

— Дорого это, говорю я, — повторил я.

— Страх... впрочем, мы поправимся. Тульское имение у нас покупают. Что ж делать, надо продать... нельзя не продать...

Когда мы встретились, мы повернули назад и теперь опять подходили к скамеечке, на которой я сидел, и к этим деревцам с дощечками.

— Князь, у вас ведь двое детей? — спросил я.

— Двое. А что?

— Так. Вот я деревца эти видел...

— Это я сам сажал. А вот в тульском-то имении у меня есть дерево — березка, моя ровесница. Батюшка-покойник посадил ее.

— И теперь приходится продавать...

— Что ж делать... с банком шутки плохие...

— У вас заложено?

— Оба: и то и это...

Он помолчал и, как бы что-то припоминая и в то же время скрывая от меня самую суть, спросил:

— Вы знакомы с банками, то есть с этими правилами их о продаже?..

— Какие же правила? Не заплатил, будут публиковать, а потом продадут...

— Нет. Подробности... Как все это делается у них?

— То есть сроки вы хотите знать? Как скоро все это совершится?

— Ну да. Вот именно сроки...

— Ну, полгода.

— А затянуть нельзя?

— Не знаю. А вам разве нужно это?

— То есть, вот видите... Конечно, надо поспешить тульское продать. Тогда ничего. Тогда можно будет и это спасти.

— Как спасти? — почти вскрикнул я. — Разве...

— Нет... «он» говорит тоже, что это еще можно затянуть, а все-таки лучше, покойней...

— Кто это «он»?

— Становой... Только вы, пожалуйста, и виду не показывайте ей, что знаете... Она... такая нервная, раздражительная. И потом, она такая самолюбивая... Если бы она догадалась, что вы знаете об этом... Она ужасно самолюбива... знаете, у нее это даже до странности. В прошлом году, в Ницце, у нас как-то все деньги вышли... даже в гостинице... ну, там было по счетам... Только в это время была подписка в нашей русской колонии... Один проповедник туда приезжал... Так с ней чуть нервный припадок не сделался... Я уж насилу достал тысячу франков...

— И припадок прошел?

— Только от этого... Вы вот, может, не верите...

— Нет-с. Извините...

— Вы, может, думаете, что она притворяется?..

— Нет. Может, и не притворяется, а так... в привычку это обратилось...

— Нет... вот и доктора тоже...

— Нервы?

— Да...

За нами пришел из дома лакей и доложил, что ее сиятельство просит нас.

— Хорошо. Сейчас. Ступай...

Лакей ушел, а он принялся чуть не умолять меня, чтобы я и виду не показал, что знаю, зачем приезжал становой.

12

Она сидела на том же покойном, широком кресле, на котором я застал ее утром. Те же дамы и старухи с буклями на висках расположились вокруг нее.

«Однако я сейчас распрощаюсь с ней и уеду, — решил я. — А то это опять сейчас начнутся воспоминания...» И начал было откланиваться. Но это оказалось не так-то легко.

— Как? Без обеда?.. Нет... я вас не пущу. Вы и ночевать у нас оставайтесь. Мне хочется о многом, многом с вами поговорить...

Делать было нечего, пришлось, разумеется, остаться. Она усадила меня возле себя. Потом вдруг обратилась к мужу:

— А где же Эспер?.. Я думала, он с вами...

— Он, мой друг, я спрашивал, — он «туда» поехал... прикажешь послать за ним?..

Она усмехнулась и передернула плечами:

— Удивительно! Обо всем я должна думать. Сами вы не могли догадаться.

— Я сейчас...

— Князь, — крикнула она вслед ему. — Об равиольках-то не забудьте.

— Как же, как же...

— Он ужасно рассеянный. Если бы можно, он, кажется, по целым дням бы в саду возился, — сказала она. — Дела, семейство — все он забывает... Я думаю, если бы меня не было, он никакого образования детям не дал бы...

— Любит сад? Это хорошо, — ответил я, чтоб что-нибудь ответить ей.

— Но нельзя же забывать свои обязанности. Он отец, он глава семейства... — Потом вдруг, точно вспомнила и боится опять забыть: — А вы, кажется, не знакомы с моей дочерью?

Я сказал, что нет. Она позвонила. Явился лакей.

— Попроси сюда княжну... Ах, как она рисует! Когда мы были в Италии, она брала уроки у лучших художников там. Во Флоренции мы прожили тогда около месяца, и она нарисовала кисть винограда. Удивительно! Потом в Риме — мы были там как раз на пасху — она нарисовала лист и на нем муху... Ну как живая... Так и кажется, что вот сейчас полетит...

Немного погодя пришла и княжна — девушка лет шестнадцати, некрасивая, но с умным, серьезным лицом.

— Вы звали меня? — спросила она у матери, подходя к нам.

— Моя дочь — Конкордия... Сергей Николаевич. — Она назвала мою фамилию. — Сергей Николаевич очень интересуется твоими работами... покажи нам свой альбом... И потом эти рисунки... Знаешь, что вот во Флоренции... в Риме на пасхе...

— Вы, мама, всегда расскажете про мое рисованье, а мне показать нечего... Я только начала учиться, и то потому, что маме это нравится и она настаивает, — сказала она, обращаясь ко мне.

— Ты все-таки принеси...

Девушка пожала плечами, сделала какую-то скучную улыбку и пошла.

— Вся в отца... Она тоже готова все забыть... — провожая ее глазами, сказала княгиня. — Книга, целый день книга... Точно она готовится в эти... как их?.. Ну, вот в эти ученые акушерки... Я без ужаса подумать не могу о том, когда придется ее вывозить...

Княжна принесла богато переплетенный альбом, раскрыла его и подала мне.

— Ну вот, любуйтесь...

Любоваться действительно было нечем. Самая робкая, даже грубая, ученическая работа, и притом видно было, что никакой охоты, никакого таланта.

— Где этот лист с мушкой? Ты найди его... Покажи... — говорила княгиня... — Ну что? разве это не живая муха?

Я, разумеется, хвалил.

— Ах, Италия, Италия! — продолжала она. — Эта зима последняя, которую мы проведем там.

— Почему так? — спросил я, но, вспомнив об их денежных затруднениях, о которых сейчас перед этим говорили с князем, я испугался: пожалуй, еще догадается.

— Надо будет жить в Петербурге. Эспер на будущий год кончает курс, поступает в полк... Нельзя же мальчика одного оставить... За ним все-таки надо следить... руководить его. Конечно, мое здоровье... я, может, окончательно убью его в этом климате... Если бы я могла положиться на князя-отца... вам нечего говорить... вы сами видите...

На балконе показался Эспер, очевидно приехавший сейчас только от «гувернантки».

— Ну, теперь отнеси альбом.

Княжна взяла его, сложила и пошла, мельком бросив взгляд на брата.

— Ты где был? — спросила его мать.

— Там. Должен же я был «ее» проводить...

— И потом приехать, вернуться...

— Я и приехал.

— Когда за тобой посылали...

— Напрасно... гм!..

— Ты хочешь, кажется, окончательно испортить свое здоровье...

— Maman!..

Он покосился на меня.

— Ничего. Сергей Николаевич все уж знает... Ну что же, подействовала все-таки на «нее» сегодняшняя-то беседа?..

Он что-то такое промычал ей в ответ. Кажется, что: «да, подействовала...»

— Впрочем, — продолжала она, — с нашими проповедниками разве можно что сделать? Вы, кажется, видели, ну что он говорил? Разве это нужно? Ах, как еще далеко нам до Европы!..

— А вы, князь, тоже всякий год ездите за границу? — спросил я Эспера.

— Гм... Как вам сказать? Меня возят... да, почти каждый год... Maman боится, что на меня может дурно подействовать Вена, Париж, одним словом — большие города, и потому она возит меня только по каким-то немец-

ким и швейцарским местечкам... Я не могу сказать, что я был за границей... я был черт знает где...

— Вот на будущий год, окончишь, бог даст, курс, поступишь в полк и съездишь в Париж...

— Если... — начал он и запнулся.

— Что такое?.. Что ты сказал? — спросила она.

— Если... к той поре будет еще... уцелеет еще...

— Я не понимаю, про что ты говоришь. Какая-то чепуха...

Но она поняла, на что он намекал. Глаза у нее злобно сверкнули, и она показала ими в мою сторону...

Я насилу дождался, когда нас позвали обедать, когда, наконец, этот обед кончился и я мог уехать...

13

Прошло лето, прошла и осень. Надо было собираться на зиму в Петербург. Перед отъездом — я всегда почти уезжаю в одно и то же время, в конце октября — от нечего делать я сидел в кладовой и смотрел, как бабы щипали рябину для наливки. Вдруг дверь отворилась, и на пороге я увидал высокую, широкоплечую фигуру отца Онисима в теплой, ваточной зеленой рясе.

— А-а... святой отец!

— Был у зятя, у станового и, признаться, думаю, как не заехать...

Я обрадовался ему. С тех пор, то есть с мая, мы не видались. Я побывал с Бердебой и в Орле, и в Воронеже, и в Рязани, собирался и к нему на осенних дупелей, но как-то не подошло в ту сторону, — так и не попали.

— Спасибо, спасибо, святой отец... Чем же угощать? Чайку?

— Можно. От чаю я никогда не отказываюсь.

Мы пошли в дом. Он внимательно, зорким, опытным глазом окинул усадьбу, постройки.

— Родители ведь еще... слава богу?

— Живы, как же.

— У себя?

— Нет, никого нет: я один. Завтра и я уезжаю.

— В Петербург? На всю зиму?

— На всю. Да что ж тут делать?

— Конечно... молодому человеку... А родители здесь остаются?

— Здесь.

— Конечно... и то сказать, молодому человеку ежели да с этих пор... Вот и наши тоже укатили...

— Кундашевы-то? Ну, а что с этой... «персоной», как вы ее называете?..

— Это вы про мамзель-то? Уехала... Все уехали.

— А не знаете, тульское имение продали они? — спросил я.

— Продали... нашли покупателя... только, знаете, ведь это ни к чему... Разве с «ней» можно что сделать? Как попались деньги, сейчас — нервы, и пошло... Какой мой долг, и то не могли заплатить...

Я взглянул на него.

— А они и вам должны?

— Есть малость.

— А как? Не секрет?..

— Отчего же... нет... тысчонок пятнадцать будет... с процентами-то...

— Да-а?

— Наберется... Не мои все, вот и зятнины есть тут же...

— Не боитесь, что пропадут?

— Нет-с — пропасть как можно, тоже ведь следим... знаем поди, что даем-то...

Он рассмеялся.

— А ведь имение — прелесть!

— Золотое дно. Только, я вам скажу, обременено уж очень.

— Неужели не выпутаются?

— Не думаю. Да вот извольте прикинуть. Земельным банком оценено оно в сто восемьдесят тысяч... Две трети по оценке они еще когда получили... частных долгов тысяч сорок, пожалуй, есть... да вот-с теперь по второй закладной мне...

Я невольно остановился и взглянул на него.

— Как же так-то давать? — спросил он, как бы в ответ на мое удивление. — Так нельзя давать. Они теперь в Петербурге-то векселей, может, на сто тысяч надают... А я потом и получай по двугривенному за рубль...

— Бедняга, мне жаль его, — сказал я.

— Известно... слабость...

Мы вошли в дом.

— Старинная построечка... дубовый? — спросил отец Онисим, подходя к стене и всматриваясь в бревно (у нас нештукатуренный дом). Мы прошлись с ним по всем комнатам. У матушки в спальне он увидал много образов в ризах. Сделал крестное знамение и сказал:

— А вот тоже у нас помещики Чемезовы были, так когда пришли в упадок, через свое легкомыслие, а имение их было продано, образа они потом распродали, — не в осуждение будь сказано — есть нечего было. Один образ-то, Казанскую божию матерь, в окладе, знаете, старинный, жемчугом вынизан весь, я и купил просто за бесценок. Архиерею потом, как летом объезжал он епархию, я и поднес... «Откуда, говорит, ты такую редкость раздобыл? Этому образу, говорит, ста два лет будет...» Много это нынче можно, с деньгами если, у помещиков купить...

У отца в кабинете очень порядочная библиотека. Есть и старинные книги.

— Это уж ваше занятие? — спросил Онисим.

— Нет, это отцовские. Моих здесь мало. Я здесь только летом, а летом я почти ничего не читаю.

— Всё светские?

— Почти всё...

— Стишки больше?.. Вот у зятька моего, у станового, тоже такое пристрастие к стихам... и сам пописывает. Известно, молодой человек. Тоже вот опять: живет у нас, может, слышали, в монастыре на покое архиерей один — Феодосий. Старец совсем древний, ослеп почти, а к книгам необыкновенное имеет пристрастие. Сам читать-то уж не может, так служку все заставляет, и главное — газеты. «В такое, говорит, мы время живем любопытное, что про все хочу знать...»

Он остался у меня ночевать. За ужином мы, разумеется, выпили и рябиновки и каких-то других попробовали наливок. Как известно, после них человек делается общительнее и откровеннее.

— В Петербурге-то на всю зиму? Наших там будете встречать?

— Может быть.

Он немного помолчал и посмотрел на меня.

— А если бы я вас о чем попросил?..

— Пожалуйста... Что такое?..

— Так вот... если бы что услыхали, сейчас бы записочку.

— То есть про что?

— А вот-с про наших-то...

Я решительно не понимал, на что он намекает, и переспросил.

— А я все насчет их имения... это такое, я вам скажу, сокровище...

— Я-то что ж тут могу?..

— А вот-с, если услышите, что они там на векселя занимают, сейчас мне записочку... Или, может, услышите, продавать вздумают... А уж если к рукам бог поможет прибрать, я вам за это вот что: запрет положу, чтобы кроме вас никто бы с ружьем и ходить не смел по всем этим местам, где вот дупеля-то... Приезжайте тогда с егерем и хоть все лето живите...

— Что ж, вы векселя хотите скупить и имение за собой оставить? — спросил я.

— Да-с...

Я уж столько видел разорения помещичьих гнезд, так насмотрелся на подготовительную работу всех этих купцов второй гильдии Подугольниковых и т. п., что на меня всякий раз находит какое-то невыразимо неприятное чувство, когда я случайно даже слышу о чьих-либо приготовлениях «слопать» еще одно чье-либо гнездо. А тут вдруг такое откровенное и любезное приглашение на участие в этом, и притом еще и с вознаграждением за это...

— Нет-с, вы уж на меня не рассчитывайте, — сказал я.

— Нет-с, я так: будете в одном городе жить, услышите, может, отчего же и не прислать записочку, не предупредить...

— Все равно не рассчитывайте...

Он посмотрел мне в глаза, улыбнулся.

— Жалеете? — с презрительной усмешкой спросил он.

— Да-с, жалею. Мне жаль его.

— Все равно-с. Не я, так другой.

— Только без меня. Без моего участия...

Он отлично заметил и понял, какое произвел на меня впечатление.

— Ведь это я так-с. Вы извините, если...

— Ничего-с. Это дело ваше. Я только в стороне хочу быть от этого... Дупелей вы мне все равно ведь позволите стрелять, — шутя сказал я, чтобы смягчить сцену.

— Господи боже мой! Да сколько угодно... Да вот если бы это и вышло, все-таки для него же было бы лучше. Если кто другой купит — выгонит, а я бы отвел ему флигелек, и живи он у меня, смотри за птицей, за садом... Разве он объест меня?..

14

Я всегда сплю в отцовском кабинете на диване. Онисиму приготовили постель в комнате рядом. После описанного разговора наша беседа уж как-то не клеилась.

Я провел его в его комнату, и мы расстались. Я долго не спал в эту ночь. Перебирал разные бумаги, записки, письма, как всегда это бывает, когда надолго уезжаешь из деревни. Бердеба помогал мне укладывать сумки, чемоданы. В доме была мертвая тишина. Вдруг из комнаты, в которой спал Онисим, вырвался подавленный, отчаянный стон. Я даже вздрогнул.

— Господи, что с ним?..

— Завалился, видно, — отвечал Бердеба и осклабился, — известно, мужик сырой, могучий, выпил, ну и давит его...

Я все-таки подошел к дверям и послушал — ничего, тихо.

Наутро он встал раньше меня. Умылся, оделся и пошел все осматривать на дворе. Когда я встал и подали самовар, он уж вернулся.

— Хозяина-то сейчас видно: все-то в порядке... Здравствуйте, — сказал он.

— Как спали, святой отец?

— Спал бы недурно — только все как бы кто наваливался на меня. И борьба у нас с ним была...

— С кем?

— А разве это можно знать, кто он. Иаков тоже борьбу имел, а разве он знал, с кем. Меринка я у вас на конюшне сейчас видел — не продадите?

— Это уж не по моей части. Я в это не вмешиваюсь.

— Значит — как старик?..

— Да.

— Я бы хорошие деньги дал. У меня, признаться, парочка-то таких уж есть — третьего и недостает к ним. А охотника на примете имею. Барышику можно взять...

Я усмехнулся.

— И охота вам хлопотать? Из чего?

— А отчего же не нажить? Какие ж тут хлопоты?

— Для кого вам? Человек вы одинокий. Дочь у вас пристроена, обеспечена.

Он посмотрел и улыбнулся.

— Да право... — продолжал я.

— А я вот этого не понимаю: если что на полу валяется, отчего не поднять?.. В жизни все так. Один роняет — другой поднимает...

— Как вот, например, ваши Кундашевы, — сказал я.

— А хоть бы и они. Вот вам почему-то это не нравится, а я вам скажу, что ничего-то дурного тут нет.

— По крайней мере не помогать им терять...

— И помогать нечего. И сами потеряют...

Мне наскоро приготовили позавтракать. Мы выпили с ним, закусили. Подали тарантас, уложили все. Пора ехать на станцию. Верст пять нам было по одной дороге с ним. Мы уселись вместе — Бердеба с кучером на козлах.

— Ну, уж если помочь мне не хотите, — сказал он, — так им помогите.

— То есть как же?

— А вот как. Если услышите, они будут жаловаться, денег искать, вы им про меня припомните: что, мол, к попу не обратитесь — может, он даст... Я еще дам...

— Чтобы уж совсем к рукам прибрать? Ах, святой отец...

— Ну так уж ничего лучше не говорите... Как бы и разговору у нас этого не было...

Мы доехали до свертки, остановились, простились. Он в своей тележке с батраком поехал в одну сторону — я в другую...

15

Я прожил в Петербурге уж месяца три. О Кундашевых я, разумеется, и не вспоминал. Но в конце января или в самых первых числах февраля мне пришлось с ними столкнуться, и вышло это так.

Есть у меня любимая опера такая — «Вражья сила». Ужасно разбивает она мне нервы, но я все-таки непременно еду — не могу не ехать. Так было и этот раз. Я сидел в пятом-шестом ряду и слушал — весь под таким вот впечатлением. Дело подходило к концу, к развязке. Наступил последний антракт. Усталый, измученный, я встал. Справа кто-то тихо назвал меня по имени. Я оглянулся. Рядом, в бенуаре, сидели Кундашевы. Впереди «Шалая» с дочерью, позади князь и еще кто-то. «Шалая» улыбалась и кивала мне головой. Я подошел к ложе. Она совсем некстати уж начала говорить какие-то глупости, что «мы» всегда ездим к итальянцам, а сюда, дескать, попали случайно, чуть ли не по вине лакея, перепутавшего театры, и т. п. И опять, как там в деревне, по какому-то поводу: «Ах, какая разница — у нас и за границей! Что это такое? Ведь это слушать невозможно... Какой сюжет...»

— Так зачем же вы слушаете? Поезжайте домой, — невольно сорвалось у меня. — Не понимаю. Уж если... — но я опомнился и не продолжал.

Она тем не менее позвала меня бывать у них. Спросила, когда я приехал, на всю ли зиму и т. п.

— А я жду вот, когда князь отвезет меня в Италию... Я не могу выносить этот ваш климат.

— За чем же стало?

— Ах, ведь вы знаете. Он все перепутает всегда... Там у него какие-то всё расчеты с банком, в котором мы берем деньги... Я не знаю...

Кундашев слушал, улыбался и посматривал — то на жену, то на меня. Он тоже, разумеется, звал бывать. Наконец антракт кончился, все начали собираться, усаживаться. Я раскланялся, обещал на днях побывать, отошел и уселся дослушать мою любимицу и мою мучительницу.

Как это часто бывает, иной раз чуть не целый год не сталкиваешься с человеком, а потом встретишься и пойдет: куда ни поедешь — везде непременно столкнешься. Так было и тут. На другой день я видел Кундашева на улице и раскланивался с ним. Через день или два опять встретились, разговорились. Расставаясь, он сказал:

— Я хотел бы с вами поговорить... У меня есть... этакое... — он щелкнул пальцами, улыбнулся и посмотрел мне в глаза.

— Что же это такое?

— Нет, это не теперь. Это долго... Это после... Я приеду к вам, вас когда застать?

— Скажите, и я буду ждать.

Мне он был ужасно жалок. На моих глазах уж много таких, вот именно как он, остались чисто нищими. Они примащиваются, пристраиваются потом куда-нибудь, к кому-нибудь, но ведь это легко сказать: в пятьдесят, в шестьдесят лет, после довольной и сытой жизни остаться «на ветру» и начинать примащиваться...

— Однако все-таки о чем вы хотите поговорить? На какую тему-то? — полюбопытствовал я.

— Нет, нет... после.

— Ну как хотите.

Несколько дней спустя был теплый серенький дождливый денек, какие часто бывают в Петербурге среди зимы. Я ужасно люблю такие деньки, и если нет какого-нибудь уж особенно нужного дела, готов ходить по улицам с утра и до ночи. Я уж не помню, как и попал на Надеждинскую. Там, у подъезда одного какого-то громадного дома, столкнулся лицом к лицу с «Шалой».

— Вы к нам? Очень рада... — Швейцар отворил подъезд, и мы начали подниматься по лестнице.

— Ах, это ужасно. Мы живем под самыми небесами... Князь всегда отличится, — говорила она.

Но квартира оказалась чуть ли не во втором этаже, и лестница была превосходная.

«Эх, крапивой бы тебя, да хорошенько», — подумал я, но, конечно, не сказал...

Квартира была огромная, но как-то пустовата. Ни картин, ни бронзы. Ужасно какая-то странная — ничего семейного, оседлого. Ни одного теплого, уютного уголка... Дома, оказалось, никого не было. Княгиня поместилась в гостиной у окна перед столиком с тарелочкой для визитных карточек, я — против нее.

— Ну, кажется, мои мучения, наконец, кончились, и я еду, — сказала она.

— В Италию?

— Да. Князь водил, водил меня с деньгами... Слава богу, теперь нашелся, наконец, человек, который сам предложил нам.

«Уж не Онисим ли?» — пришло мне в голову, и я спросил:

— Кто?

— Вы его едва ли знаете. Он такой скромный... Карапет Сергеевич Карапетов...

— Армянин?

— Отец его был... Он русский... Он такой почтительный. Вы, конечно, обедаете у нас. Пожалуйста. И он будет. Вы его увидите. Он с князем поехал к нотариусу и оттуда сейчас сюда приедут. Эсперу нужны были деньги, так он и его однажды выручил...

Действительно, минут через десять в передней раздался звонок, и вскоре в гостиную пришли вместе рядышком князь и высокий, широкоплечий армянин с грязными руками, унизанными кольцами, с большим, посаженным набок носом, с ушами и с лиловыми от пробивающихся бритых волос щеками.

— Ну что? кончили? — тревожно и вопросительно посмотрев на них обоих, спросила «Шалая».

— Кончили, кончили... — ответил армянин и довольно фамильярно уселся.

Князь очень обрадовался, встретив меня. Повертелся немного, потом что-то сказал жене и исчез. Она пошла вслед за ним, извиняясь, что оставляет нас одних.

— Вы оттуда, из ихней стороны будете? — спросил меня армянин.

— Да-с, оттуда.

— Хороши там земли?.. А какие цены у вас там?

Я сказал.

— Вот весной князь зовет туда вместе с ним ехать...

— Погостить?..

— Гм — да, и там... дело есть...

И князь и княгиня скоро вернулись к нам. Она сияла. Он тоже улыбался, но как-то все избегал встретиться со мной глазами.

— Тэпэрь кнэгиня наши улетит от нас, — начал армянин.

— Ах, сколько еще у меня дела! Вот... Эспер... Конкордия...

— А разве вы все уезжаете? — спросил я.

— Нет. Эспер остается, он ведь в этом году кончает курс. Я так боюсь за него. У него такое слабое здоровье... И потом этот товарищеский кружок. Такие шалуны... они совсем о здоровье и не думают. Князь так мало на него имеет влияние, так слаб... Он такой добрый маль-

чик, что его все балуют. Вот и Карапет Сергеевич тоже... — глупо улыбаясь, сказала она.

Армянин осклабился.

— Да как же не дать. Ну, посудите вы, — обратился он ко мне, — приезжает ко мне с товарищем молодой человек и говорит: «Карапет Сергеич, дай денег». А на что нужно? И как же я дам незнакомому человеку? «До зарезу, говорит, нам нужно три тысячи. Дай!» Вижу я, из такого они самого аристократического что ни на есть училища, знаю, что там всё князья да графы, — как, думаю, не дать. А я такой глупый, не могу никак отказать. Ну вот что хочешь, не могу отказать...

— А они, представьте, в одну ночь эти деньги и прокутили... — сказала княгиня, и опять эта глупая улыбка. Она точно хвасталась этим. Ей было положительно приятно это: вот, дескать, какие мы!..

— Не могу — ну вот что хочешь, не могу отказать, — опять повторил он.

Я хотел было уходить, но и она и князь пристали непременно остаться у них обедать. К тому же он мне сказал, что ему что-то очень важное надо мне сказать.

Я согласился и остался.

Вскоре откуда-то возвратилась и княжна. Она очень сухо поздоровалась с нами, посидела немного и ушла, должно быть к себе в комнату.

— Надо жениха княжне. Пора. У меня есть такой жених... вот, пальчики оближешь, один кавказец... молодец такой... князь... У него с братом у нас на Кавказе сто тысяч голов овец, двадцать тысяч голов лошадей... — врал армянин, а княгиня слушала и приятно улыбалась. — И такой тихий, скромный, как девушка какая... Бывают и из наших буяны, а этот такой тихой... Только на войне уж такой храбрый, такой храбрый... Один двадцать пять неприятелей убил!..

16

Вообще он был у них своим человеком. Шатался по всем комнатам, вертел папироски и всюду курил их, напуская целые облака дыму. Я посматривал на него, и это еще несколько стесняло княгиню. Но она была уж положительно шокирована, когда приехали двое каких-то мо-

лодых людей, удивительно расчесанных, с удивительно прекрасными манерами. Она суетливо позвала к ним дочь, и молодые люди занялись с нею. Они повертелись вокруг нее минут пятнадцать — двадцать, передали ей какие-то ноты и уехали, брезгливо и косо посматривая на армянина. Перед самым обедом явился дальний родственник, служащий гражданским чиновником в военном ведомстве (есть и такие чиновники). Это был мужчина средних лет, с необыкновенно хорошо вычищенными сапогами и с бриллиантом необыкновенно чистой воды. Он был в самых хороших отношениях с армянином, даже чуть ли не на «ты».

Наконец нас позвали обедать. За обедом мне пришлось сидеть рядом с княжной. Она была по-прежнему суха и серьезна.

— Вы рады, конечно, что уезжаете за границу? — спросил я.

Она посмотрела на меня.

— Почему же это: конечно?

— Так вообще... Там же ведь лучше нашего.

— Вы думаете? Вы бывали?..

— Бывал...

— Ах, вы с ней никогда не сговоритесь... Она ничем не довольна, — вмешалась княгиня, и я заметил, как злобно блеснули ее глаза.

— Я всем довольна, — сухо сказала девушка. Помолчала немного и грустно усмехнулась.

Армянин опять начал что-то о женихе. Она не выдержала и резко, громко, нервно сказала:

— Я уж вас просила не говорить при мне об этом. Это вы можете маме рассказывать, если она вас будет слушать, а меня, пожалуйста, оставьте в покое...

Вышла, одним словом, сцена. Мне было ясно, что она единственный тут живой человек, понимает и все безобразие и всю безвыходность своего положения... Однако что ж она может поделать со всем этим?.. Наконец этот обед кончился. Князь сказал, что у него есть какие-то необыкновенные сигары, которыми он хочет меня угостить.

— Где вы, князь, этого армянина раздобыли? — спросил я. — Это не секрет?

— Это Эспер его достал. Осенью, как мы приехали, он у него денег занял... Ну, отдать, разумеется, в срок не мог, он и пришел к нам...

— И теперь на поездку дал?

— Да, и теперь тоже... А что?

— Так...

— Он, знаете, недурной, кажется, человек...

— А что вы тогда хотели мне что-то очень важное сказать? — спросил я.

— Ах, это тогда, на улице-то?

— Да.

Он замялся, тяжело вздохнул, как-то отдуваясь, и, по обыкновению, улыбнулся, избегая встретиться глазами.

— Это длинная история...

— Так что ж?

— Нет... Это лучше я к вам приеду... Здесь неудобно...

— Да ведь никого же нет?..

Он оглянулся, взял меня за руку, отвел в самый дальний угол комнаты и почти шепотом сказал:

— Я хочу ее обеспечить...

— Кого? — так же тихо спросил я.

— Конкордию... дочь... Вы не думайте... ведь я все вижу... я ведь все понимаю...

— Так что ж, как же вы хотите это сделать?

— Вот я и не знаю... Хоть несколько тысяч ей бы дать... Ну хоть пять-шесть, что ли...

— У вас они есть?

— Нет.

— Как же тогда?

Он хитро улыбнулся.

— Я вот как хочу... Я напишу вексель, получу по нем деньги и дам ей... Только вы, ради бога, об этом никому не говорите... А то ведь она нищей останется... И за что!.. Она добрая, славная девушка. Вы не смотрите, что она такая серьезная...

Послышались чьи-то приближающиеся шаги. Он торопливо повторил просьбу никому не говорить ничего и начал рассказывать о чем-то совсем постороннем.

Вошел дальний родственник с армянином.

— Братец, — сказал он, обращаясь к князю, — у вас в Покровском сколько именно пахотной, удобной земли?..

— А что?.. Не помню хорошо...

— Так вот мы с Карапет Сергеичем соображали, сколько при хорошем хозяйстве можно получать доходу...

Я скоро распрощался и уехал. И дорогой и дома потом я все соображал: кто, однако, победит, кто «слопает» это Покровское — Онисим или Карапет?..

17

Прошло два года. Опять настала весна, и я опять уехал в деревню. Все это время я очень редко сталкивался с Кундашевыми, да и то как-нибудь случайно — на улице, в театре. У них я совсем не бывал. Я знал однако, что прошлый год они ездили к себе в Покровское — следовательно, оно еще было цело...

По обыкновению, в тот же день, как я приезжаю в деревню, у меня происходит свидание и беседа с Бердебой. От него я узнаю все «наши» охотничьи новости: кто из прошлогодних приятелей наших, у которых мы останавливались, умер, погорел и т. п. Мы пьем с ним чай, и он мне рассказывает. Так было, разумеется, и в этот мой приезд. Он сказал мне между прочим, что отец Онисим помещиком стал.

Я, разумеется, очень хорошо тогда же видел, что так или иначе, рано или поздно, а дело все-таки этим кончится. Но уж как-то скоро, неожиданно...

— Когда же это он успел?

— Да уж с месяц, пожалуй, будет. На санях еще ездили... Я ведь с обозом туда ходил...

— С каким обозом?

— А от станового-то... Я на базаре был, он увидел меня и подзывает. «Ты, говорит, теперь свободный человек, ничего не делаешь?» — «Ничего», говорю. «Знаю я, братец, что ты при господах прежнее время во всяких должностях служил и всякое обращение понимаешь. Поэтому я хочу тебе препоручение дать». — «С нашим, говорю, сударь, удовольствием». Он и говорит: «Купил мой тесть моей супруге имение. Она туда теперь и хочет ехать. Так вот ты с ней поедешь, да кстати и за вещами дорогой присмотри: отсюда я кое-что в имение отправить

хочу, потому что хоть и куплено оно у помещиков, только ничего-то там нет. Нынче, говорит, господа-то хуже нашего брата служащего живут — совсем отощали...» — «Это, говорю, как угодно, — все предоставлю». — «Ну так вот после завтрего приезжай в мою становую квартиру. Всё сберете, уложите и поедете...» Трое суток ехали... Да там двое суток разбирались...

— Господи, да что же такое вы везли? — невольно удивился я. От того села, где квартира станового, до кундашевского имения много-много верст пятьдесят.

— Весь дом привезли. Приехал я, как сказал он мне, и сейчас к нему явился. «Ну вот, говорит, отлично. Наняты у меня тут четыре подводы, вы на них уложите все, укроете хорошенько, веревками увяжите... четырех подвод, я думаю, довольно будет...» И барыня вошла — становиха: «Я, говорит, сейчас к вам выйду и все амбары и кладовые отопру». Выдвинули мы на середину двора эти четверо саней, положили в них для мягкости соломки. Вышла она к нам. Отперла первый амбарчик: «Берите, говорит, укладывайте». Начали это мы оттуда головы сахару таскать. Уж таскали-таскали — штук сорок натаскали. Целую подводу наложили. На вторую у нас пошли масла бочоночки, яйца, мед, чай, кофей... Наконец всё повытаскали из этого амбарчика... Второй она отперла. Я как заглянул туда, так и ахнул. Верите ли, сударь, там окороков до ста висело... «Это, говорю, сударыня, на двух подводах не увезешь. А если еще окромя ветчины что будет, так и говорить уж нечего». Тут сам становой пришел. Мы ему всё объяснили. «Ну, говорит, ветчину можно и после». А становиха: «Нет, говорит, душа моя, я хочу уж все сразу. Ты оставь себе для хозяйства один окорочек, а к пасхе новые поступления будут... На что тебе ее тут держать?..» Так ведь, что я вам скажу: всё-то насилу-насилу уж в девятеро саней уклали... К вечеру уложились, изготовились и утречком, чуть зорька, и тронулись — становиха в повозке парой впереди, а сзади мы с обозом. Всю дорогу шагом ехали. Снег-то уж таять начал, дорога испортилась, а воза тяжелые, нагрузили мы их во как... Однако все в исправности доставили. На крыльце — мы прямо уж туда на барский двор въехали — сам поп встретил. Становиха как вылезла из повозки, бросилась ему на шею и просле-

зилась... «Вы, говорит, папенька, для меня чашу купили, а мы с супругом ее теперь наполнять будем...»

Я продолжал его расспрашивать, и он мне со всеми мельчайшими подробностями рассказал эпизод водворения становихи в апартаменты, еще так недавно принадлежавшие «Шалой».

— На третий день становой прилетел. Мы уж всё убрали, — продолжал Бердеба, — к амбарам новые замки привесили. Обошел он с тестем-то, с Онисимом, все хозяйство. «Большое, говорит, здесь запущение было...» После обеда собрали мужиков к барскому дому... водки три ведра поставили. «Вы, говорит, хотя и свободные, вольные люди теперь, а все-таки это понимайте, что вам такого послабления, как при прежних господах, не будет. Потому я во всем люблю законность...»

— Ну что ж мужики?

— Да что ж, известно: «Рады, говорят, вашей милости послужить...» кланяются... Он-то бы еще ничего, а вот она...

— А что?

— Очень уж до всего доходит...

— Так... А кто ж теперь у нас на его место? — спросил я. Я почему-то предположил, что он вышел в отставку и «занялся» имением.

— Он же все... Она там живет. Онисим хозяйство ведет, она ему помогает... А становой тут по-прежнему. Только наезжает к ним... Я его и то спросил: как же, мол, теперь, сударь, в отставку подадите или останетесь?.. «Нет, говорит, по нынешним временам от таких должностей не уходят...» И то сказать, — продолжал рассуждать Бердеба, — чего ему: живет, как никакой барин теперь не может... уважение... А там, в имении-то, Онисим лучше его еще управится...

18

Через неделю, как я вот говорил, мы собрались с Бердебой походить по Рязанской губернии. Мы отправились, по обыкновению, в телеге в одну лошадь. Погода стояла чудесная. Было начало мая. Все зелено, ярко, свежо — еще ничего не запылилось, не завяло. После пе-

тербургской осени, зимы, да еще весны, так, право, хорошо, весело все это кажется...

— А что ж, к Онисиму-то заедем? Уж он нас так встретит... обрадуется...

— Пожалуй...

Мне, впрочем, и самому хотелось посмотреть, что там теперь. Я ужасно люблю посещать эти разоренные помещичьи гнезда. Тяжелое, конечно, чувство, но меня тянет к ним... Заехали, разумеется... На дворе навален лес. Плотники что-то рубят. Масса щепок. Запах сосны. Отличный это запах. Если бы я был богатый человек, я бы, кажется, разорился на постройках. Ужасно я люблю смотреть, как плотники работают... и потом этот запах свежих сосновых щепок и стружек... На одном из обтесанных уже белых бревен сидел Онисим в нанковом подряснике и в порыжелой бархатной скуфейке. Он сейчас же, конечно, узнал нас и действительно обрадовался.

Мы походили с ним по двору, потом пошли в дом. Все совершенно так же, как и было. Даже, сколько я мог припомнить, и мебель стояла на тех же местах.

— Вы, значит, совсем, всё купили? — спросил я.

— Все. Да что все-то? Поверите ли, ни в одном амбаре ни одного зерна... Провизии — никакой. Хозяйство — одно название...

В комнате, следующей за гостиной, нас встретила становиха — его дочь.

— А вот и сама хозяйка, — сказал Онисим. — Дочка моя, Лизавета Онисимовна... — Он назвал ей и меня.

Становиха — очень развязная дама, худощавая, в шелковом платье без воротничка и без рукавчиков, так что я увидел даже ее острый, худой локоть, — сказала, что хоть и не имела до сих пор удовольствия быть со мной знакомой, но знает, что я их стана. По обеим сторонам ее, ухватившись руками за ее платье и прячась в складках, ежились ее дети. Она старалась их отцепить от себя.

— Что ж не здороваетесь с дяденькой? Ну? здоровайтесь...

— Ваши внучата? — сказал я Онисиму, указывая глазами на становят, и поманил их к себе. Но они еще больше уцепились за мать.

— Такие дички... А ты бы нам самоварчик велела поставить, — сказал он. — А то, может, с дороги закусить не хотите ли?

Я остался у него, разумеется, ночевать. Он долго рассказывал мне, как все это совершилось, то есть как он «вырвал», по его выражению, это имение «из пасти» у армянина Карапетова. Оказалось, чего я не подозревал, он ездил два раза в Петербург. Вел там переговоры с самой «Шалой», вел упорную борьбу с Карапетовым и, наконец, победил его. Это была целая эпопея...

— Что ж вы там ко мне не заехали? — спросил я.

— А признаться, уж мне не до того было. Что ведь хлопот-то было, ах, что хлопот!..

— Все-таки выгодно купили?

— То есть... да-с... оно, конечно...

— Где ж они теперь?

— А вот уж этого и не могу вам объяснить. Он-то, князь, в начале апреля сюда приезжал для купчей... и опять туда уехал.

— Пришлось ему, святой отец, что-нибудь дополучить?

— Малость...

— А как?

— Да уж это я из жалости больше прибавил, а зять с дочерью так и слышать не хотели. Три тысячи я подарил... И, помолчав немного, продолжал: — Я ему, впрочем, сказал, что если в Петербурге он там обнищает, чтоб приезжал сюда, ко мне. Пока я жив, приют у меня ему будет. Там зять с дочерью как хотят, а я его и накормлю, и одену, и согрею. Он ничего. Он не виноват. Это все она...

Про дочь и про сына он мне ничего не мог сказать.

Когда, наконец, пора была уж и спать идти, — всё переговорили, — Онисим взял свечку и повел меня в мою комнату.

— На ихней самой кровати отдыхать будете, — сказал он, вводя меня в бывшую спальню «Шалой». — Теперь зять тут с дочерью спят, когда они приезжают: так-то она с детьми в детской спит, ну, а как он бывает, она уж сюда переходит...

Это была довольно большая, просторная комната, к одной стене которой была приставлена громадная двухспальная красного дерева кровать с резными изображе-

ниями амуров, стрел, пылающих сердец и т. п. Такие кровати теперь уже редкость. Они деланы крепостными столярами, и у помещиков их мало где встретишь. Они чаще всего попадаются теперь на постоялых дворах, у кабатчиков, в номерах гостиниц, в уездных городах, у волостных писарей и проч. Когда я остался один и стал раздеваться, я заметил на стене какие-то фотографические портреты. Я взял свечку и подошел. Это были портреты «Шалой», ее мужа, дочери, сына и еще чей-то, мне неизвестный. Лучше всего удались «Шалая» и ее сын. Он был в форме училища статских юнкеров, необыкновенно серьезен и исполнен достоинства...

«Вот, я думаю, насмотрелись вы, господа, и наслушались тут... — подумал я. — Выпрошу, однако, я их у него завтра... А впрочем, зачем они мне?..»

Утром я проснулся довольно рано. День начинался чудесный, ясный. Я отворил окно — оно выходило не в сад, а во двор, — в комнату потянул прохладный весенний воздух, запахло березками, свежими сосновыми щепками, стружками. Среди двора стоял Онисим и что-то толковал трем-четырем мужикам, указывая куда-то рукой. Внучата-становята в красненьких рубашках и в игрушечных уланских киверах резвились вокруг него, лазали и прыгали по бревнам...

Я напился чаю и уехал...

19

По обыкновению, и эту зиму я жил в Петербурге. Я был занят тогда одной работой, и мне надо было для нее часто бывать в публичной библиотеке. Раз к столу, за которым я сидел и делал выписки, подошла с целой горой книг на руках молодая девушка, очень скромно, но чисто, прилично одетая. Когда она опустила на стол эту гору книг, две или три из них упали прямо на мою работу. Я невольно, разумеется, поднял на нее глаза... Что-то знакомое... Господи, где это я ее видел?.. Она попросила извинения, несколько сконфузилась и поспешно уткнулась в книгу... «Где это я ее видел?» — повторил я про себя и никак-то не мог припомнить. На другой день она опять была в библиотеке, но села за другой стол. Так

продолжалось с неделю. Мы несколько раз сталкивались с ней у прилавочка, за которым выдают книги. И тут, на свободе, в ожидании выдачи, я почти каждый день напрасно ломал себе голову все над тем же вопросом. Но я заметил, что и она на меня как-то странно посматривает: неужели, дескать, не узнаешь?

Я заметил, что она приходила каждый день аккуратно в одиннадцать часов и уходила в четыре. Она тоже делала какие-то выписки и работала, что называется, не разгибаясь. Обыкновенно я уходил позже, но раз как-то случилось, что и я кончил свою работу тоже в четыре, и мы вышли с ней вместе из библиотеки. Она повернула налево, на Невский, перешла его и пропала в толпе на той стороне. Я шел позади ее, шел тише и все это видел. Я тоже перешел Невский и потихоньку направился домой обедать. Попадались знакомые, мы останавливались, говорили. У самого Аничкова моста я встретил земляка, соседа по деревне, тоже по зимам жившего всегда почти здесь в Петербурге. Мы поздоровались.

— Из библиотеки? — спросил он.

— Да. А почему вы это знаете?

— Кундашеву сейчас встретил. Она рассказывала, что каждый день вас там видит...

Тут только я вспомнил, что ведь она и есть.

— Вот, батюшка, труженица-то. Вы знаете, имение у них уж того... их же поп приходский купил...

— Знаю... был даже там.

— Ну, она теперь и работает, чтобы жить... Средств никаких...

— А не знаете, где ее отец? Здесь?

— Не знаю... Я знаю, что она живет здесь у одних знакомых и по вечерам с их детьми-гимназистами занимается...

На следующий день при встрече я уж, разумеется, с ней раскланялся, спросил про родных.

— Папа ищет места... ему обещали... Мама... она у знакомых живет... Вы знаете, наше Покровское теперь уже не наше...

У меня не хватило духу рассказать ей, что я там был и что́ там встретил...

— А брат ваш?

— Он служит...

— Помогает старикам?

— Нет. Если бы он и желал — не может. Они все там первое время, как выйдут из училища, получают что-то рублей по тридцати в месяц... Я понять даже не могу, как он изворачивается... Разумеется, весь в долгах...

— Зато после сановником будет...

— Когда это будет, а пока я ужасно боюсь за него... Надо иметь средства, чтобы бывать в этом кругу, одеваться, ездить... я не знаю, откуда он их достает... Кто им дает деньги?.. Это худо кончится...

— Ну, а вы, княжна, что ж тут делаете?

— В библиотеке?.. Видите, один педагог, — она назвала довольно известную фамилию, — составляет учебники... для них надо делать выписки... я вот это и делаю... Он мне платит двадцать пять рублей в месяц...

Я помолчал немного и со всевозможными оговорками, чтобы не обидеть ее, спросил, осталось ли у них хоть что-нибудь на черный день?

— Тысяча рублей у меня есть. Только я их не могу тратить. Ну, если папа или мама заболеют, — что тогда?.. А больше ничего нет...

Ее предчувствие относительно брата сбылось, кажется. Я помню, несколько лет тому назад по городу ходили какие-то слухи о приключении в одном из маленьких французских ресторанов, кончившемся мордобитием. Потом рассказывали о какой-то странной дуэли, где, вместо выстрелов, противники вновь обменялись пощечинами, и тем дело и кончилось. И в приключении в ресторане и в приключении на месте поединка он играл одну из видных ролей. Я уж не знаю, где и что он теперь...

Старика Кундашева я встретил тоже довольно неожиданно. Это было на станции одной из южных дорог. Дело было осенью. Когда поезд подошел к вокзалу, шел мелкий, частый холодный дождик. Платформа была вся мокрая. Окна в вагонах забрызганы. Я хотел было уж совсем не выходить, но поезд должен был стоять целых полчаса. Мне наскучило сидеть, я не вытерпел и вышел. По пустой почти платформе взад и вперед ходил какой-то небольшого роста господин в форменной фуражке, очевидно служащий на дороге. Воротник у пальто был поднят, так что вместо лица виднелся только нос и серенькие усики. Я помню, что он вызвал во мне чувство сострадания: этакая,

дескать, погода, а он, бедный, должен торчать здесь. И вообще вид у него, несмотря на суетливость, был какой-то хилый. Я, разумеется, больше не интересовался им и, вероятно, так бы и уехал, не узнав, кто это; но вышел такой случай. В нашем же поезде ехал управляющий дорогой, инженер, большая для служащих птица. Этот барин тоже вышел на платформу. Почему-то остановился возле меня и крикнул: «Князь!..» Старичок, суетившийся все время, торопливо, почти бегом подошел к нему. «Вы... однако... вот чтобы это...» — тянул инженер, указывая на что-то. Я между тем пристальней всмотрелся в лицо «князя». «Это он!» — чуть не вскрикнул я.

— Здравствуйте, князь, — сказал я.

Инженер покосился на меня, сказал ему еще что-то и пошел в вагон. Мы обнялись и поцеловались. Я так мало был с ним знаком, так редко виделись, но я так был рад, увидев его теперь. Он тоже точно ожил в одно мгновение, приободрился.

— Вот здесь... вот, как видите... помощником начальника станции... пятьсот восемь рублей жалованья... квартирка... ну, дрова...

— Одни вы здесь?

— Один. Они все там... у вас, в Петербурге... Летом, впрочем, Конкордия ко мне приезжала. Знаете... ей все-таки... деревенский воздух... Ну, а билетик на проезд и обратно я ей достал... отчего же и не доставить удовольствия... Она говорила, что встречалась с вами... Как же-с... мы вспоминали...

Я сказал, что и я тоже нередко вспоминал его, сказал, где и как встречался с ней...

— Ну что ж... уж лучшего образования какого же и желать для девушки... Италию, да и вообще Европу, как свои пять пальцев знает... На пяти языках... Музыка, рисует... — точно оправдывался он передо мною. — Теперь вот и Эспер... Конечно, у него не то совсем сердце... Но вы посмотрите, он пойдет, далеко пойдет... С его воспитанием... у него там связи... Теперь такие люди нужны... Конечно, ему теперь трудно... Но посмотрите...

Я, разумеется, не стал с ним спорить. Даже, кажется, поддакнул. Прощаясь, он просил, если встречусь, кланяться от него дочери.

— А ведь я ей все-таки уберег... Помните, тогда говорили... Немного, — а все-таки на черный день у нее есть. Мало ли что: может заболеть...

Дали последний звонок, все уселись. Поезд тронулся. Я опустил оконное стекло в вагоне, и долго еще он виднелся мне один на мокрой платформе, с поднятым воротником, в фуражке с позументиками...

20

«Шалую» я видел последний раз года четыре тому назад. Одним словом, это было в тот год, когда возвращались войска из Турции. Я попал на какое-то загородное гулянье, устроенное в пользу раненых воинов, их сирот, — не помню уж хорошо. Когда публика уселась и запели что-то на сцене, по рядам пошли какие-то дамы и кавалеры с блюдами и кружками. Я сидел в задних рядах. Дошла, наконец, очередь и до нас. Я вынул рублевку и приготовился положить ее. Приближалась, протискиваясь и подпрыгивая, довольно уж пожилая дама. Когда она была шагах в пяти от меня, я узнал в ней «Шалую»... Очень дрогнула... Шляпка на голове, мантилья — все это более чем сомнительной свежести. Она и прежде не чуждалась косметиков, но теперь была уж положительно намазана... Она тоже меня узнала, улыбалась и кивала мне:

— Вот встреча-то... ах, как я рада... Мне надо вам много сказать...

Я ответил что-то вроде «весь к вашим услугам» и приготовился выслушать какую-нибудь скучную и длинную ерунду. На сцене между тем пение началось, и она меня атаковала. Молодой человек с пестренькой кокардочкой в петлице и с блюдом в руках тоже остановился и спрашивал ее, куда же ему нести деньги, что лежали у него на блюде?

— Блюдо вы отдайте Степан Степанычу, а деньги я потом уже сдам...

Она смяла в горсть бумажки и сунула их к себе в карман. Потом то же самое сделала и с серебряной монетой. Я невольно как-то покосился на этот карман. Покосилась на него и проходившая мимо публика...

— Ах, что у нас дела!.. Вы не поверите... Вчера я собирала в Павловске... Завтра надо ехать в Царское... Нам надо столько денег, столько денег... Мы собрали уж довольно, но что это в сравнении с тем, сколько надо... Перед войной все так жертвовали, а теперь... если в день соберешь каких-нибудь тридцать — сорок рублей — и то много... Теперь образуется у нас новое еще дамское общество... Нам нужен будет секретарь... Графиня К., княгиня Б... — Она так и посыпала громкими фамилиями. — Хотите, я вас представлю? — Она говорила все это бессвязно, пóшло, торопилась, оглядывалась, была в какой-то ажитации...

— Княгиня, как здоровье ваших? — спросил я ее.

— Они все... здоровы, ничего... Я ведь вся отдалась этому делу... Это святое дело... Мы русские... Знаете, это долг каждого русского.

Я молчал.

— А что, вы не знаете Г—на? — вдруг спросила она. — Ведь он у нас тогда строил эти дороги... он разбогател...

Я сказал, что знаю.

— Я хочу к нему завтра утром заехать. Он должен нам пожертвовать... Как думаете?

— Не знаю-с...

— Он, говорят, скуп? Поедемте к нему вместе... Он посовестится знакомого и не откажет...

Я насилу отделался от нее. Чем она живет и где — я не знаю. Но она перебывала тогда у всех земляков, и все поплатились более или менее...

IV
НЕУТОЛИМАЯ

1

Это было в шестьдесят втором или в шестьдесят третьем году. Как раз, одним словом, в самое веселое для помещиков время. В нашей степной по крайней мере глуши веселее этого времени не было. Страхи перед объявлением «Нового положения» с объявлением его прошли. Оказалось, что ничего даже подобного тому, что рассказывали французы-гувернеры и француженки-гувернантки о революции, у нас и в помине не было. Было три-четыре «бунта», которые и я видел, но и по мотивам и по последствиям своим они были не более как некоторого рода пикники, на которых очень мило и весело провели по двое и по трое суток исправник, посредник, становой, стряпчий и какие-то заседатели каких-то теперь уж не существующих судов... Там, где-то далеко от нас, совсем в другом углу России, было на эту тему что-то серьезное, но это «там», а не у нас. У нас весело. И самый «бунт» даже ничего, кроме предлога съехаться, поспорить, хорошенько пообедать и выпить, не представлял и не мог нам представить. Единственный человек, который во время «бунта» и некоторое время после него чувствовал себя неловко и даже как бы в глупом положении, — это тот самый помещик, у которого такой «бунт» случался. Обыкновенно причина «бунта» была какая-нибудь невозможная глупость с той или другой стороны, болтовня отставного солдата, толкования статьи «Положения» полуграмотным дьячком и т. п. А так как в то время всяких подобных недоразумений между мужиками и помещика-

ми уездное и губернское начальство ужасно боялось, то и собиралось так называемое «временное отделение» при первом слухе о беспорядках в какой-нибудь Ивановке или Сосновке. Туда стремглав скакали становые, заседатели и прочие вышеупомянутые начальники. Туда же торжественно приезжал и сам председатель такого «временного отделения», сам уездный предводитель. Все они, разумеется, останавливались у помещика, бывшие подданные которого «бунтовали». В кабинете происходили какие-то совещания, письмоводители предводителя, исправника, станового и проч. писали и переписывали какие-то бумаги. Так как двери в кабинет были затворены и так как все немилосердно курили, то там было сине от дыму. Туда же, в кабинет, на большом подносе лакеи проносили водки и закуски. Оттуда же, из кабинета, прямо с рассыльным исправник посылал кому-то и о чем-то рапорты... Хозяйка дома была в хлопотах по случаю обеда и то и дело посылала за поваром.

Если у помещика, очутившегося неожиданно в таком вот приятном обществе, были дочери «взрослые девицы», они тоже не оставались чуждыми событию. Широкие блузы заменялись платьями. Надо было велеть лучше вычесать голову, затянуться в корсет. Девицы отправлялись в зал и «в четыре руки» играли какие-нибудь сонаты Бетховена, под аккомпанемент которых там, в кабинете, «временное отделение» держало военный совет, пило водку, херес, закусывало, а письмоводители писали и переписывали постановления, рапорты и донесения этого отделения...

Очаровательные звуки льются рекой, лакей Никандр в белых нитяных перчатках с необыкновенно просторными пальцами уже второй раз относит в кабинет различные добавления к закуске. Голоса там становятся все громче и громче. Наконец дверь отворяется, и оттуда с несколько раскрасневшимся лицом, сопровождаемый хозяином, выходит предводитель; исправник держится несколько сзади его. Девицы как бы не замечают их и еще громче и усерднее извлекают из рояля очаровательные звуки... Наконец: «ах!» — и начинаются расспросы про Марью Ивановну, про Катеньку, про Наденьку, и т. д., и т. д. Внешний вид «бунтующей» деревни имелся такой. На барском дворе пять-шесть отпряженных тарантасов.

Возле конюшни, в кучке, свои и чужие кучера что-то рассказывают, куда-то уходят, приходят, садятся, одним словом, оживляют своими особами обыденный пейзаж. Деревня, то есть этот длинный ряд изб, не представляет ничего особенного — все по-прежнему, как было и вчера и третьего дня. Но вот ужó, после обеда, часов в шесть, когда будет приказано собраться всем на барский двор, деревня оживится, потому что мужики съедутся с работ, сберутся в кучу и кучей пойдут. Впереди старики с палочками, позади их люди среднего возраста и уж в самом хвосте молодежь. Это всегда так бывало и иначе никогда не было. Это очень характерно, и, может быть, благодаря этому именно и все обходилось так благополучно...

Конечно, этой встречи ужó с мужиками несколько побаивались, но как? Все очень хорошо знали, что серьезного ничего не произойдет и опасности никому никакой не предстоит. В самом крайнем случае дело окончится «отеческим внушением» двум-трем Иванам или Семенам, пришедшим «подвыпивши» и потому рассуждавшим несколько громче и развязнее прочих... Повторяю, эти «бунты» никого тогда не тревожили, были очень веселыми пикниками «временного отделения», и единственным результатом их было три-четыре прогульных дня. В горячее рабочее время это, конечно, потеря, но ведь не бог весть же что уж такое...

То время было хорошее время. Все так верили в жизнь, все так полны были надежд самых розовых. После мрачных, томительных годов, проведенных в ожидании «Нового положения», теперь все вздохнули, все увидели, что опасаться было нечего, что все идет тихо, мирно. Общее настроение, я помню, у всех было такое, какое бывает после продолжительной и тяжелой болезни у выздоровевшего настолько уж, что доктор ему почти все разрешил и советовал быть лишь на всякий случай повоздержней. Это была пора надежд и упований на заводившееся тогда всеми «рациональное хозяйство». В каждой почти усадьбе можно было встретить валявшиеся изломанные сеноворошилки, почвоуглубители, сеялки, веялки... Они были выкрашены в ярко-красные, синие, зеленые цвета и очень мило пестрели и скрашивали обветшалые усадьбы, где преобладали цвета серый и гаванна... Славное время! Я не могу равнодушно вспомнить ни его, ни этих, так ра-

зочаровавшихся впоследствии, героев его... Действительно, такого оживления с тех пор уж нет в деревне. То и дело, бывало, слышишь: Иван Петрович уехал в Петербург, Петр Иваныч уехал в Москву, Иван Михайлович уехал за границу. Потом они, конечно, приезжали, рассказывали, привозили с собою невиданные в глуши машины, органчики, люстры, портсигары, лампы, и хотя все это очень мало способствовало процветанию вновь заводимого хозяйства, но как-то оживляло домашнюю обстановку. Я, например, никогда не забуду, как Иван Петрович привез из Петербурга в подарок дочери своей Катеньке розовый фонарь в ее комнату. Его зажигали, затворяли ставни, если представление происходило днем, и все гости пробывали несколько минут в комнате, любуясь розовым освещением предметов и своих собственных особ.

2

К такому вот именно времени относится и по такому вот именно случаю, то есть по случаю «бунта», произошло мое первое знакомство с «Неутолимой». Я был тогда еще в университете и приехал домой, в деревню, на лето. Я был очень молод. Степь, старинный сад, бесконечные равнины пшеницы, ржи, луга веселые, зеленые... Я был в самом лучшем настроении — верил в себя, верил в людей, в здравый смысл, словом — верил во все, во что так хотелось бы верить теперь, но верить во что так «строго запрещается» рассудком... Я, впрочем, не один был таким и, к сожалению, более или менее таким и остался. Встречаясь теперь с товарищами, из которых некоторые достигли уж до вашего превосходительства и смотрят даже и дальше сего, я все-таки замечаю, что они этого невинного восторга не утратили, и хотя опыт умудрил их, но они попрежнему невинны и незлобны... Такое уж было время, и оно наложило на всех нас свою неизгладимую печать. В некотором отношении это, впрочем, недурно: чувствуешь себя постоянно как бы немного «навеселе»...

Помню, был жаркий июльский полдень. Я сидел на террасе, что выходит у нас прямо в сад, и под тенью спущенного парусинного навеса с красными фестончиками читал и разрезывал новую книжку только что полученного

с почты журнала. В зале сестра играла какой-то вальс. Матушка в саду на берегу пруда (для безопасности от огня), окруженная няньками, экономками, ключницами и какими-то воспитанницами, вечно подраставшими и куда-то потом исчезавшими, варила варенье. Отец был по хозяйству в поле. Картина была, словом, самая мирная, даже, можно сказать, идиллическая. Вдруг я услыхал колокольчики, ближе, ближе... Это к нам. «Кто бы это?» — подумал я. Минуты через две оказалось, что это приехал исправник. Мы поздоровались с ним.

— А Николай Николаевич? — спросил он.

— Он в поле, — сказал я. — Послать за ним? Хотите?

— Нет, зачем же. Я ищу предводителя. Мне сказали, что он к вам поехал... У Емельянова бунт... Я спешу туда...

— Оставьте на всякий случай ему записку, — сказал я. — Может, он и в самом деле к нам приедет... а вы уедете... я передам ему.

Пока он писал ее, марал и переписывал, приехал отец с поля и почти вслед за ним и предводитель, недальний наш сосед. Они начали расспрашивать исправника, в чем дело и из-за чего вообще этот бунт.

— Ведь, наверно, пустяки?..

— Конечно, серьезной опасности откуда же, а все-таки...

— Ничего. Оставайтесь обедать, а потом и поедете, — предложил отец.

Они сделали некоторые легкие возражения и последовали его благоразумному совету.

— Только нельзя ли пораньше... отобедать... все-таки... знаете... как-то неспокойно на душе...

«А поеду я с ними. Посмотрю, что это такое?» — подумал я и спросил их, нельзя ли как-нибудь и мне присутствовать при этом.

— Вы, Николай Павлович, меня возьмите письмоводителем, — сказал я нашему премьеру.

— С удовольствием! Пожалуйста. Вы с Емельяновым знакомы?

— Немножко. У них, впрочем, я не бывал.

— Это премилое семейство... А старшая-то дочь, Варенька, что это за красавица, — добавил он, обращаясь к

отцу. — Намедни я ее у К—новых встретил. Что за роскошь!..

Мы пообедали часом раньше. Выпили по чашечке кофе, рюмочки по две, по три fine champagne, закурили сигары, нам подали лошадей, мы уселись все втроем в предводительской коляске и с легким сердцем, покуривая и болтая, отправились усмирять «бунт» и любоваться на Вареньку.

Имение Емельяновых, куда мы теперь ехали, было от нас верстах в сорока, совсем в другом углу уезда. Проехать сорок верст в одну запряжку — конец хороший. Когда мы въехали в деревню, начинало уж смеркаться. По обыкновению, мужики сидели перед избами и ужинали. Имение было большое — дворов полтораста — целая улица. Перед одной избой предводитель велел остановиться. Ужинавшие на траве мужики встали и самым почтительным манером поклонились.

— Что, ребята, у вас тут глупости какие-то затеялись? — сказал он.

— Да вот, Николай Павлович, все насчет земли-то мы сомневаемся...

— А ослушаний никаких не было?

— Кабыть ничего... Говорили, это точно...

— Ну, ладно. Завтра потолкуем. Может, я и улажу. С богом. Пошел!..

У нас и совсем на сердце стало покойно. Мы проехали деревню, обогнули сад, переехали по плотине пруд и увидали широкую просторную усадьбу с большим барским домом. В окнах уж светился огонь.

— Так я, Николай Павлович, буду в роли вашего письмоводителя? — спросил я.

— Э, к чему это! Я просто представлю вас как приятеля-соседа. Ведь никакого «бунта» нет и не будет. Так, наверно, глупость одна...

В зале мы встретили целое общество. Кроме всех заседателей, стряпчих и проч., о которых я уже говорил выше, был еще гвардейский кавалерийский офицер — сосед Емельяновых — молодой человек замечательной красоты. С хозяином и со всем этим обществом предводитель сейчас же, разумеется, познакомил меня. Все были веселы, все смеялись. Повторяю, съехались точно на пикник.

Да и действительно это был пикник.

— Ну, господа, пойдемте же... милости прошу, там, в саду... — приглашал хозяин.

В саду перед балконом на большом круглом столе, покрытом белой скатертью, был сервирован чай. В стеклянных колпачках на столе горело несколько свеч. За самоваром сидела хозяйка, дама с необыкновенно добродушным и несколько утомленным лицом, и рядом с нею в легком кисейном платьице ее красавица дочь. Когда я увидел ее, я действительно невольно остановился. Кто-то — исправник или предводитель — дорогою говорил, что ей шестнадцатый год. Но она была года на три старше на вид. Совершенно сложившаяся, с высокой, роскошной грудью, с тяжелой, черной почти косой, стройная, гордая, недоступная такая... Я и впоследствии был плохой дамский кавалер, а тогда уж положительно смотрел медвежонком. Помню, я ужасно сконфузился, когда меня представляли ей, и к тому же тут как-то так вышло, что я за этим чайным столом очутился рядом с нею. Я чуть не проклинал себя, зачем я увязался с ними ехать. Но она оказалась очень разговорчивой. Начала меня расспрашивать про Петербург, про университет.

— Эту зиму мы будем там жить, — сказала она. — Вы будете, конечно, бывать у нас?

— С удовольствием, — глупо отвечал я.

— Мы будем ездить... вы всё мне покажете... Да?..

— Хорошо-с...

Разговор шел, разумеется, о причине пикника. До меня долетали слова: «неповиновение... статья 1, 503 Положения... земельный надел... изделыная повинность...», но я ни во что не вслушивался и все боялся не разлить мой стакан с чаем, тем более что сидели друг к другу довольно тесно. Мало-помалу я, однако, оправился, огляделся, попривык. Разговор между тем все оживлялся. Говорили всё громче. На столе, кроме лимона и сливок, был еще очень вместительный граненый пузатенький графинчик с ромом, которым радушный хозяин очень усердно потчевал своих гостей.

— Вы не хотите ли рому? — спросил он меня. — Варенька, что ж ты не угощаешь?..

Я начал благодарить, отказываться, уверять, что не пью.

— Неправда, он пьет! — рассмеялся предводитель.

Варенька — в уме я ее почему-то называл тоже Варенькой — взяла графинчик и, не спрашивая, сама «ухнула» мне в стакан, так что чай полился через край стакана на блюдечко. Я кинулся защищать его и чуть не опрокинул. Меня даже в жар бросило: ну, избави господи, если бы опрокинул...

— Ничего, пейте. Хотите, я и себе налью. Это очень вкусно. Я люблю. — И она ухнула точно так же и себе. Она пила чай из стакана.

— Варенька! — покачивая головой, сказала ей мать и, улыбаясь, посмотрела на нее своими усталыми, добрыми глазами.

— Это, мама, ничего. Это здорово...

Красавец офицер сидел визави с ней, болтал, смеялся и как-то особенно переглядывался. Но ведь он их сосед, старый знакомый. Может, даже и росли вместе...

После чая они пошли в дом. Потом я услыхал рояль и сильный, густой женский голос. «Господи, неужели она еще и поет... и такой голос», — подумал я и поднялся на террасу. В окно я увидал, что и играла и пела действительно она. Офицер стоял возле и перевертывал ноты. Я сел на окно, слушал и любовался. Когда она кончила, я видел, что он нагнулся к ней и, как бы рассматривая ноты, вскользь поцеловал ее в щеку. Она несколько отшатнулась, что-то сказала и громко рассмеялась. Вдруг оба они оглянулись в мою сторону. Я прижался в угол, встал и незаметно отошел от окна.

«А, так вы вот какие...» — мелькнуло у меня в голове...

Она еще что-то пела. Потом и он и она опять пришли к столу, где всё еще сидели и пили чай с ромом.

— Мама, мы хотим ехать на лодке кататься... Дмитрий Дмитриевич умеет грести, — сказала она.

Офицер начал уверять, что никакой опасности здесь нет, что он отвечает за все. Старушка начала было возражать, но они ее очень скоро уговорили и вприпрыжку пошли к берегу, где, должно быть, стояла лодка.

— А вы разве не поедете с ними? — спросила она меня, увидев, что я остался тут, у стола.

— Нет, я не умею грести, — сказал я и подумал: «Я — лишний, я им мешать там только буду...»

Минут через десять оттуда, с темной поверхности сонного пруда, опять ее голос. Она пела «Матушку голубушку», и как пела!.. Потом это пение кончилось, и там все затихло. Я несколько раз посматривал туда, в темноту. Тихо, ничего не видать, ничего не слыхать. Я посидел со старухой. Она расспрашивала про родных. Оказалось, что она многих знает, но живут так далеко друг от друга... Посидел и с мужской компанией. Болтали о лошадях, об охоте, рассказывали анекдоты... Однако, в самом деле, зачем я сюда приехал?.. Наконец лакей доложил, что кушать, то есть ужинать, готово.

— А где же Варенька? Неужели они всё еще катаются? — спохватилась мать. — Пойдемте их звать...

Мы пошли с ней к берегу.

— Ва-а-ренька!.. — раздался ее старческий голос и оборвался.

— Мы здесь! — отвечали с воды в нескольких саженях от берега. И смех. — Я вся мокрая... лодка течет.

— Ну вот... я говорила... Ах, какая ты... И ноги намочила?

— Намочила... Это пустяки. Что ж такое? Теперь лето.

Лодка причалила, и они вышли, выпрыгнув из нее. Офицер поцеловал ручку у старухи и, смеясь, успокаивал ее, уверяя, что теперь не осень и простудиться нельзя.

Ужин прошел очень весело. Нас, наконец, начали укладывать спать. Мне приготовили постель в той же комнате, где и моему патрону-предводителю.

— Ну что, неправду я говорил? Какова красавица?

— Красавица... А кто это этот офицер?

— Сосед их... я ведь говорил вам... Он в отпуск приехал...

— Нет, не про то, а в качестве чего он?

— То есть как в качестве чего?

— Жених?

— Гм... не думаю. А что?..

— Так, ничего...

— Он товарищ ее брата... Они в одном полку и служат, кажется... Ах, если б эту историю глупую нам бы покончить завтра...

— Да ведь ничего нет серьезного?..

— Кажется, что ничего... А там кто их знает... С нашим народом надо умеючи тоже говорить... Заварить-то кашу легко, а потом как ее расхлебывать... Вот увидим завтра...

Мы поговорили еще немного и заснули.

3

На другой день утром, после чая, решено было собрать мужиков на лугу возле церкви, часов в двенадцать, и между прочим пригласить туда на всякий случай священника с крестом и евангелием. Может, придется обратиться к духовной помощи, то есть к убеждениям посредством их духовника. А между тем наскоро готовили нам завтрак, на траве накрыли стол, лакеи бегали с бутылками вина, устанавливали тарелки с закусками...

Днем Варенька была еще лучше. Она казалась несколько утомленной и как бы нездоровой. Должно быть, вчера, во время катанья на лодке, действительно простудилась. Этот утомленный вид и некоторая бледность шли к ней удивительно. Офицер был опять тут...

— Я тоже хочу туда ехать, — говорила она за завтраком.

— Вы-то что ж там будете делать? — спросил ее предводитель.

— Так, посмотрю, что вы будете делать.

— Ну-с... это... вам едва ли будет удобно.

— Почему же?

— Так, знаете... С народом надо говорить иногда таким языком...

— Ну, я поеду верхом и стану подальше от вас, чтоб не слыхать, а только видеть...

Офицер начал ее поддерживать, сказав, что и он приехал нарочно верхом, чтоб сопровождать ее, и даже на всякий случай взял саблю...

Разумеется, все смеялись, и она настояла-таки на своем, велела, чтоб, когда все поедут, была готова и ее верховая лошадь...

От дома до церкви, где велено было собраться мужикам, около версты. Мы поехали целым цугом. Предводитель с хозяином и со мной, в качестве письмоводителя, впе-

реди: за нами — исправник, становой и проч. Варенька с офицером путались между экипажами, то отставая, то опережая их. На ней была черная кашемировая амазонка, очень ловко сшитая, и все буквально ахали — удивительно была хороша она и эффектна...

Мужики уж ждали нас. Кто стоял, кто сидел, кто лежал на лугу. При нашем приближении все встали и сняли шапки. Мы вышли из экипажей и пошли к ним.

— Здорово, ребята... нам надо потолковать... В чем у вас тут недоразумение? — спросил предводитель.

— Да вот всё сумлеваемся это мы насчет земли-то, — разом заговорило несколько человек.

Нас обступила толпа со всех сторон, так что мы очутились в кругу. Толпа была самого мирного настроения, но все-таки толпа... Их человек пятьсот — нас шестеро или семеро. С час, пожалуй, шел разговор, уловить в котором какую-нибудь основную мысль было решительно невозможно. Ясно было, впрочем, одно: они не понимали, что такое «постоянное пользование»... Наконец предводителя осенило вдруг какое-то вдохновение.

— Стойте, молчите! — закричал он, — я теперь вас понял и все вам объясню. — Все замолчали.

— Ты женат? — спросил он старика, который ближе всех стоял к нему.

— Женат, батюшка.

— А ты?

— И я женат.

— И у тебя есть жена?

— И у меня есть.

— Хорошо. Чья же она?.. Ведь ты ее ни заложить, ни продать не можешь, а пользоваться ею можешь постоянно. Так вот теперь сделано вам и с землей. Вот вам и постоянное пользование!..

В толпе послышался хохот, остроты про баб более или менее нецензурные, но выходка подействовала. Объяснение непонятного термина «постоянное пользование» было найдено, пришлось всем по сердцу, всем понравилось, и все удовлетворились. Это произошло все так скоро, просто, так весело, что вопрос оказался сразу исчерпанным. Повторяю, я видел несколько таких «бунтов», и все они кончались ничем, разумеется, так же как

и этот, но все-таки тянулись, шло разглагольствование, и эта канитель продолжалась дня по три, а тут сразу. Потолковали еще с полчаса, и все почувствовали, что дальше делать уж больше нечего. Надо разъезжаться и расходиться...

Он сказал им еще что-то в виде наставления, просил, если опять встретится какое недоразумение, обращаться прямо к нему, раскланялся, толпа расступилась, и мы пошли садиться в экипажи.

Варенька с офицером, стоявшие шагах в тридцати или сорока от толпы, подъехали к нам.

— Что ж, все разве кончено? — спросили они и сделали гримасу.

— Все кончено. А что же еще?

— А я думала... — протянула она... стегнула хлыстиком лошадь и поскакала домой.

Мы рассмеялись.

— Счастливый возраст,— сказал предводитель, герой эпизода.

— Гм... да... — ответил ему ее отец.

Мы возвратились домой в самом веселом, разумеется, настроении. Гора свалилась с плеч, и так легко, скоро все это устроилось. За обедом — конечно, мы все остались обедать — мы выпили что-то очень много шампанского и стали еще веселей. Кто-то вспомнил про бунтовщиков и посоветовал послать на деревню несколько ведер водки. Предложение было, разумеется, немедленно исполнено, и к кабатчику поскакал нарочный.

Наконец настало время и уезжать. Премьер должен был доставить меня — мы соседи ведь с ним, в нескольких верстах.

Прощаясь, Варенька напомнила, что зимой они будут жить в Петербурге и чтобы я не забыл обещание бывать у них. Я повторил его. Подали коляску, и мы с премьером уехали, провожаемые с крыльца хозяином, исправником, заседателем и проч. С балкона с нами раскланивались хозяйка, ее дочь и этот офицер...

Когда мы ехали опять по деревне, выпившие мужики весело махали шапками. Один какой-то закричал нам даже что-то вроде «ура!..», но голос у него хрипло оборвался, и он, шатаясь, махнул рукой...

4

Первый снег везде хорош. Все вдруг повеселеет, все светло, чисто. Он хорош и в городе — ему и там всегда рады. В деревне же первый снег — событие, и разве уж только больной какой не выйдет на улицу, чтобы вздохнуть новым воздухом — этим славным, мягким, здоровым воздухом. Не всегда сразу станет зима — выпал снег и не сходит, чаще — полежит денек-другой, и опять слякоть, грязь. Но не воспользоваться первым снегом тому, кто любит ходить с ружьем, — как-то даже невозможно. Слишком уж много искушений: и ходить по нем лучше, чем по грязной земле, и всякий след виден, да и так вообще разве можно в этот день усидеть дома? Особенно хорошо в это время ходить за зайцами на зеленя. Они все лежат вдоль борозд — уши прижали, вытянулись и лежат смирнехонько, подпускают шагов на тридцать, на двадцать даже. Я не знаю, отчего они такие смирные в это время. Бердеба уверяет, что они с первым снегом глохнут дня на два. Это, впрочем, уж его дело...

В деревне в этот год мне пришлось пробыть позже обыкновенного. Осень была отвратительная — дожди, ветер, слякоть, холод, и началось все это чуть ли не с самого августа. На охоту я, конечно, все-таки ходил, но в дождик, ветер — это уж не то. Наконец как-то утром просыпаюсь — в комнате светло, весело, заглянул в окно — зима... Разумеется, сейчас же за Бердебой, он пришел такой румяный. На ногах снег. На рукаве полушубка тоже снег. Теперь снег мягкий, липкий. Чуть дотронься до него — он и пристает как вата точно...

— Много следов?

— Страх что! Весь сад пестрый. Зайцев сила...

Денек был чудесный, ясный, мягкий. Закусили, подтянулись, «убрались», и в путь. По межам да целинам к вечеру забрались верст за пятнадцать. Парочки три зайчиков взяли. Умаялись и сели отдохнуть. Стрелять весело, а вот уж назад идти, да еще тащить с собой пару или две русаков, — этого я уж не люблю... И начали мы соображать, как бы нам дотащиться до ближайшей деревеньки, нанять там подводу и таким манером добраться до дому. Было уж часа четыре, и скоро должно было начать смеркаться. Надо спешить... Сообразили мы всё это и с межи на межу

стали выбираться на дорогу, что вела к ближайшему поселку. Выбрались. Прошли эдак с версту — назади колокольчики... ближе, ближе... видим, четыре экипажа друг за другом. Что за поезд? Целая свадьба. Но это оказалась не свадьба. Когда они нас нагнали, дело объяснилось. Это Емельяновы собрались на зиму в Петербург и теперь ехали на станцию железной дороги. Остановились, разговорились.

— Вы разве тут близко живете? Это вон ваша деревня?

— Так садитесь к нам, мы вас подвезем.

Дорога им шла действительно почти что мимо нашей деревни, и я, разумеется, очень охотно примостился к ним. Бердеба устроился где-то позади, где ехали няньки, горничные и проч. «Варенька» сидела против меня в шубке, в капоре. Смеялась, говорила, что она голодна и что ей будто бы так хочется кушать, что до станции не доедет и дорогой умрет с голоду.

— Ах, какой славный... бедненький... — говорила она и гладила мордочку висевшего у меня на ремне зайца. — Подарите мне его...

— Сделайте одолжение.

— Варенька, ну что ты с ним будешь делать? На что он тебе? — останавливала ее мать.

— Так... он такой хорошенький... я его в Петербург привезу...

— Милая моя, да он у тебя дорогой испортится...

— Испортится — тогда брошу... Вам не жалко?

Я повторил, что очень даже рад, если это доставляет ей удовольствие, и стал развязывать ремешок.

— Не так... Вы не умеете... дайте сюда... Мама, у тебя есть с собой бумага? Я его в бумагу заверну.

Бумага оказалась в другом тарантасе, где сидела их бывшая гувернантка, а теперь нечто вроде компаньонки, и пришлось остановить весь поезд.

— Иван, ты попроси у Анны Карловны побольше бумаги, — кричала она лакею, который отправился туда, назад, к тем экипажам.

Мать смотрела на нее, на меня, улыбалась и покачивала головой: вы, дескать, извините ей эти ее дурачества — совсем еще глупенькая...

Они подвезли меня до свертка... Я поблагодарил и пожелал счастливого пути.

— Путь-то у нас будет счастлив, а вот вы смотрите не забудьте к нам в Петербурге-то приехать. Ведь у нас там никого почти нет знакомых. Не забудете? А его вам не жаль?.. — смеялась она и взяла зайца на руки, как берут закутанных в беленькое одеяльце детей.

Я улыбнулся, сказал, что явлюсь непременно, и еще раз раскланялся. Они поехали дальше, а мы с Бердебой зашагали по дороге к дому.

— Всё везут с собой, — говорил он мне, — и посуду, и серебро, и повара, две горничных, барышнина нянька... мамзель... Всем домом выехали...

— Да? — сказал я, чтобы что-нибудь ему ответить.

— И все это барышня ихняя. Повар рассказывал — господа-то не хотели ехать, а барышня в слезы... Три дня с ней бились... Поставила-таки на своем. Если, говорит, не поедете — одна убегу..

— Что ж, влюбилась разве в кого?

— Нет. Так, уж такой нрав у нее, значит: что в голову пришло — сейчас и подавай... ужасть какая «нравственная»...

«А все-таки какая она веселая, славная», — думал я.

Домой мы пришли, когда уж совсем стемнело и зажгли огни. У нас кто-то был из соседей. Я сказал, что встретил Емельяновых: едут в Петербург на зиму.

— Товар повезли...

— Какой товар? — спросил я.

— А дочку-то...

В этот же вечер я узнал, что у них есть, кроме «Вареньки», еще два сына, — что один сын еще учится где-то — в лицее или в правоведении, а другой уж офицер и сочиняет векселя.

— Странные люди, старики-то...

— А что?

Оказалось, что Михаил Михайлович Емельянов — этот вечно молчаливый, радушный и добродушный старик, которого я никак понять не мог, был какими-то судьбами замешан в дело декабристов, был отправлен на Кавказ, и уж много лет спустя его вернули оттуда. Сосед не мог мне, однако, ничего определенного рассказать об этом, но меня заинтересовало уж и то, что́ я узнал от него; в Петербурге я буду бывать у них и буду его расспрашивать...

— И она — Лизавета Дмитриевна — тоже предоб-

рая, — продолжал он. — Она ведь из гувернанток. Она жила у Х—ковых. Он ее там увидал и женился... Хорошие, очень хорошие люди...

Ночью опять повалил снег, подморозило, и так несколько дней. Зима сразу «дружно» стала. Я прожил еще недели две и уехал в Петербург.

5

Из дому от отца я получал сто рублей в месяц. Для студента это большие деньги. Это такие деньги, на которые и теперь можно жить отлично, а тогда уж и подавно можно было хорошо и жить и одеваться. К тому же я жил очень скромно: ничего почти не пил, в карты не играл. По субботам, однако, у меня собиралось несколько человек товарищей, и тут иногда еще происходило некоторое легкое взыграние, но все-таки вообще очень скромно, тихо. Такой уж был кружок. Я жил тогда на Васильевском острову и нанимал рублей за двадцать пять две больших, очень недурно меблированных комнаты. В одной из них висела почему-то и для чего-то старинная люстра с стекляшками. По субботам мы вставляли в нее фунта три свечей и зажигали их. Комната освещалась, разумеется, прекрасно, ярко даже. Это всем нравилось: в светлой, освещенной комнате ведь гораздо веселей. Дворники, — тогда они не были такими мрачными скептиками, как теперь, — в шутку говорили, что в пятнадцатом номере сегодня у студентов шабаш. Кажется, мы еще и сами поддерживали их в этом убеждении, уверяя, что мы жидовской веры. Одним словом, весь двор — квартира была во дворе — любовался на эту старую, обломанную люстру с перебитыми наполовину стекляшками, но так ярко горевшую каждую субботу.

В один из таких шабашов, когда все мы были уж в сборе и люстра наша горела, обращая на себя внимание кучеров, кухарок, дворников, горничных и проч., — зашел ко мне наш же товарищ Н—в, теперь уж ваше превосходительство, но тогда очень простой, веселый малый, довольно красивый брюнет, постоянно в кого-нибудь влюбленный.

— Послушайте, господа, какую я сейчас красавицу видел! Ах, что это за красота! Ай-ай-ай, какая прелесть, —

говорил он. — И в этот дом прошла... с каким-то стариком... по парадной лестнице... Я хотел у швейцара узнать — не нашел его. Может, еще и живет здесь!.. Кто это — ты не знаешь?..

Он принялся рассказывать ее приметы, описал все очень подробно, очень восторженно, но это все ни к чему не повело, так как ни я и никто из нас такой удивительной красавицы здесь в доме не знал и не встречал. Посмеялись мы, так это и забылось, конечно... Недели через две он как-то опять рассказывал при встрече, что эту же самую удивительную красавицу он видел где-то на улице с офицером.

— Ну и что ж?

— Ничего... видел только... удивительно хороша...

Скоро я узнал однако, кто это.

Раз как-то в одну из суббот, возвращаясь из университета домой обедать, я вспомнил, что у меня нет свечей для люстры, спустился в первую попавшуюся лавочку, мне завернули там несколько фунтов, и я нес их под мышкой. Я шел, о чем-то задумавшись.

— Сергей Николаевич, куда это вы? — окликнул меня очень что-то знакомый женский голос, и притом так близко, чуть не перед самым лицом. Я даже вздрогнул. Передо мной стояла «Варенька» — цветущая, смеющаяся...

— Здравствуйте... Куда это вы? — спрашивала она.

— Домой... обедать... здравствуйте...

Она, казалось, выросла, стала еще стройней, эффектней, опушенная бобрами: на ней была коротенькая бархатная кофточка. И на голове бобер, и кругом шеи бобер, и обшлага и края кофточки, — вся в бобрах. Она за это время положительно еще похорошела...

— Вы здесь, на острову, и живете?

— Здесь.

— И мы здесь живем. Вон, видите, в этом доме.

Я сказал, что и я там же живу.

— Так что ж вы не заходите?.. — удивилась она.

— Не знал... непременно зайду...

— Непременно, и сегодня же.

— Нет, сегодня не могу. Сегодня суббота, ко мне товарищи придут...

— А-а-а! Суббо-о-та... Понимаю... понимаю... — смеясь, протянула она. — Эта люстра-то знаменитая у вас, значит?

— У меня...

— А это свечи, наверно?.. Вот оно что. Вы знаете, я раз посылала даже узнать, кто это там живет, но горничная мне сказала, что там жиды живут, и у них шабаш... Кто же у вас там бывает?

— Никого... Товарищи одни.

Она на мгновение задумалась.

— А если бы я пришла?.. можно мне?.. я с братом приду... нет, лучше с папой... Я хочу посмотреть, как студенты живут... я никогда не видала, как они живут... Можно?

Она говорила все это скоро, уверенно, не допуская никаких возражений. Я, разумеется, сказал, что будем ей очень рады и еще что-то в этом роде.

— Отлично... Ну так до свидания. Я непременно приду...

Мы расстались. «Вот сюрприз-то, — подумал я. — Однако ведь ей другое надо угощение приготовить...» Я взял извозчика и поехал купить винограду, фруктов, печений и т. п. Когда я приехал назад, я застал у себя записку от старика Емельянова. Он извинялся, что не может зайти ко мне сам, и убедительно просил хоть на минуту прийти к нему. Понятно, пошел. Меня встретили очень любезно, даже как-то уж чересчур любезно, но в то же время я заметил, что и он, старик, и она говорят и чего-то не договаривают, точно им неловко мне высказать это что-то. «Вареньки» не было. Они, должно быть, только что пообедали. Наконец минут через десять он сказал, что хочет показать мне свой кабинет, и позвал туда. С разными извинениями и оговорками он начал:

— Вы, ради бога, извините меня... Вы пригласили к себе Вареньку сегодня на вечер... Согласитесь... я понимаю, отчего же молодым людям и не покутить... не пошалить... но ведь... я сам был молод... я это понимаю, и ничего, решительно ничего дурного тут нет, но... как же так... она ведь...

Я рассказал все как было, ничего не прибавил, ничего не скрыл. Он призадумался.

— У вас что же там будет? Жженка?..

— Никакой жженки... просто будем чай пить... пунш... чай с ромом... петь будут... так собираемся.

Что-то зашелестило. Я оглянулся. В дверях, отстраняя одной рукой портьеру, стояла «Варенька». Я поклонился. Она подошла к нам.

— Ну, вы скажите: ведь у вас никаких там безобразий не будет? — спросила она.

Я повторил то, что сейчас сказал.

— Так отчего же нам не прийти?

Глаза у нее, я заметил, были слегка заплаканы и покраснели. Время от времени она нервно не то вздыхала, не то всхлипывала. И вся сцена и мое положение было какое-то глупое: ну что я, в самом деле, за Дон-Жуан такой, совращающий с пути молодых, неопытных девушек?

— Что ж, теперь ты убедился, что там ничего не будет? — спросила она отца. — Теперь, значит, можно? Пойдем?..

Он как-то нерешительно посмотрел на меня и, пожимая мне руки, сказал:

— Я уж надеюсь на вас... извините, ради бога... мое положение... вы должны меня извинить...

Она кинулась ему на шею и начала целовать, как ребенок.

— Так вот-с... часов в девять — ваши гости, — сказал он, улыбаясь уж, и пожал плечами...

Между тем у меня начали уж собираться товарищи и, не дожидаясь меня, орудовали вокруг люстры, развертывали сыр, колбасы, мешочки с виноградом, печеньями и проч. Они встретили меня вопросом:

— Что это ты сегодня, братец, раскутился так?

— Случай такой... гости будут... особенные...

Я хотел было не говорить им о предстоящем сюрпризе, но они пристали, и я рассказал все свои приключения.

— Это, должно быть, и есть та самая красавица, которую тогда Н—в встретил. Помните? — сказал я.

Мы прибрали хорошенько комнату. Разложили все сласти и закуски на тарелки. Откупорили ром. Подали самовар, стаканы, блюдечки и принялись ждать их... Ровно в девять часов они явились. Я, разумеется, всех представил, познакомились, уселись... Она первое время была такая смирная, кроткая, все поглядывала на мебель, на

стены, на тарелочки с закусками. Точно она искала чего-то особенного, ждала этого и вот теперь не находит. Скоро, однако, завязался общий разговор и мало-помалу от застенчивости ее или недоумения не осталось и следа. Она смеялась, болтала, подливала ром в стаканы...

— Так вот как вы живете?.. А я думала, что студенты совсем не так живут, — говорила она.

Ей кто-то начал объяснять, что они и действительно не так живут. Что так живут только очень немногие. Масса бедна, и даже ужасно бедна.

— Отчего же их не содержат так вот, как кадетов, например? Иль вот тоже: я была намедни у брата в лицее — они там все отлично живут...

Все она хотела знать, обо всем расспрашивала, все ей надо было объяснять. Но она все это делала как-то беспорядочно, совершенно по-детски. Говорит об одном, потом вдруг повернет на другое. И все это торопливо, скороговоркой... Впечатление получалось как от беседы с умным семи-восьмилетним ребенком, а между тем перед нами сидела семнадцатилетняя красавица, роскошно, не по годам даже, сложившаяся...

Она пробыла у нас часа два и стала собираться уходить. Старик Емельянов был, видимо, доволен, что все обошлось благополучно, пожимал нам руки, высказывал всякие благопожелания, а меня звал заходить к ним почаще.

— Я теперь дорогу узнала к вам... как увижу, что у вас шабаш, так и ждите меня, — смеялась она. И, не надевая в рукава, она накинула себе на плечи свою бобровую кофточку, набекрень надела шапочку, со всеми попрощалась за руку, потом сделала всем общий поклон и грудью вперед, молодцом, пошла к дверям. Старик-отец пошел за нею. Все, конечно, их провожали, светили...

6

На другой день после «шабаша» я отправился к Емельяновым с визитом. Я зашел к ним прямо с лекций из университета, и меня оставили обедать. У них было несколько человек посторонних, и в том числе тот самый красивый офицер, которого я видел у них в деревне при

усмирении «бунта». Я не знаю почему, но теперь он держал себя как-то иначе, совсем не так, как там, в деревне. И «Варенька» относилась к нему тоже совсем иначе. Он все делал какие-то намеки на что-то, подпускал какие-то шпильки. Она или ничего ему не отвечала, хмурилась, или удивленно взглядывала, кисло усмехалась и пожимала плечами. Общее впечатление было такое, что ей он порядочно таки надоел всем этим. Это его раздражало, и вот он теперь острит, посмеивается, показывая вид, что ему «все равно». Может, ему и в самом деле было «все равно» в смысле чувства, но ведь кроме чувства есть еще самолюбие, которое очень щекотливо и всегда зло...

Остальные были: какой-то старик — полковой товарищ ее отца, с сизым «унылым» носом и маленькими седыми, круто напомаженными усиками, с сонными, свиными глазками, и потом двое или трое совершенно безличных молодых людей, которых всегда непременно встретишь в каждой гостиной часа в четыре. И, наконец, непременная принадлежность всякого приезжего в столицу помещичьего семейства — дальняя родственница, постоянно живущая в Петербурге на какие-то никому не известные средства и вечно нуждающаяся. Они, эти родственницы, всегда несчастны в супружестве, обременены семействами, всё видели и всё знают. Они бывают полезны в том смысле, что знают, где что подешевле купить, и наизусть знают репертуар, хотя самостоятельно театра и не посещают... Разговор шел самый бессодержательный, бесцветный. Просидеть в гостиной час — вообще подвиг, но просидеть час в такой гостиной, где хотят еще что-то такое показать, что-то такое разыграть из себя, где вообще к бессодержательному времяпрепровождению примешивается еще и претензия, — это подвиг поистине большой. Тем не менее, однако ж, часа полтора, в ожидании обеда, таким подвижничеством мне пришлось заниматься. Я очень мало участвовал в разговоре, смотрел альбом, карточки визитные, какую-то книгу с картинками. Но я все-таки вслушивался и присматривался. И «Варенька» меня удивляла. Она была здесь совсем не та, какою я знал ее до сих пор. Она была сдержанна, выдрессирована, застегнута наглухо, так сказать... Это очень хорошо, может быть, но для чего и для кого это? Неужели надо так ломать себя из удовольствия принимать этих совершенно

бесцветных и безличных молодых людей?.. Перед обедом они исчезли — им надо было обедать где-то в другом доме — и все вздохнуло, ожило: «работа» кончена, можно и посмеяться и отдохнуть... За обедом она спросила меня:

— Что ж, и эту субботу у вас будет шабаш?

— Непременно...

— Я опять приду... Можно?

— Конечно, можно...

Офицер — это свой, домашний человек, — очевидно, ничего не знавший о том, что было вчера, удивленно посмотрел на нее, на меня и спросил:

— Какой шабаш?

— Шабаш... какой бывает шабаш... — отвечала она.

— Жидовский?

— Нет, студенческий...

— Вот как!.. — протянул он. — И вы ходите на эти шабаши?

— Хожу... то есть буду ходить... а что?..

— Ничего... новость для меня... Кстати, скажите, пожалуйста — ведь вы это теперь должны знать, что все эти... нигилисты, что вот у Тургенева (тогда только что вышли «Отцы и дети»), похожи они... такие и есть... такие?..

Она посмотрела на него и ничего не ответила. Он, улыбаясь, перевел глаза на меня.

— Да, такие... — сказал я и подумал: «А тебе какое дело?.. какие они ни на есть — все-таки сильнее же тебя?..»

— Любопытный народ, — продолжал он. — Это и я когда-нибудь приду посмотреть на этот шабаш...

— Этот шабаш бывает у меня, — сказал я, — и состоит из четырех-пяти моих приятелей-товарищей...

Он удивился.

— Ах, в таком случае извините... я не понял, — спохватился он.

В сущности, вышла сцена, разумеется, глупая, но тогда было время такое и такие были мои годы... Когда он начал извиняться, Варенька усмехнулась и, улыбаясь, посмотрела на меня. Я помню, я встретил этот взгляд ее с таким чувством, с каким, быть может, ни Цезарь, ни Август не принимали подносимых им лавровых венков... Короче, я ушел к себе домой после этой встречи проникнутый

гордым уважением к ней и чуть не почтением к собственной особе...

В субботу я опять купил и винограду, и фруктов, и печений.

— Будет «она?» — спрашивали товарищи.

— Непременно...

Она, однако ж, не пришла. Мы прождали ее понапрасну часов до двенадцати и начали ужинать, то есть есть колбасы, сардинки, сыр и проч., одни... «Наверно, гости у них сегодня, и ей нельзя прийти с отцом, а одной неловко... боится...» — решили мы.

На неделе я опять зашел к ним, но ее не застал. Ждали мы ее и эту субботу, и опять понапрасну. Наконец я ее как-то встретил и спросил.

— Нельзя теперь. Мы абонировались на итальянскую оперу, и по субботам наш абонемент. Я, впрочем, все-таки приду... непременно приду..

7

Время шло к весне. Дни стали заметно длиннее, воздух резче, живее. Стало пригревать на солнце. Кое-где показались лужицы. Наступила масленица. Во вторник или в среду — лекции еще читались — перед университетским подъездом собралось множество чухонцев. Бубенчики так и звенели. Кто-то предложил нанять саней десяток и поехать прокатиться на острова. День был «теплый», чудесный. Мы уселись по двое и целым цугом со смехом и звоном покатили на Петербургскую сторону. На Каменноостровском то и дело нас обгоняли и попадались нам навстречу тройки. Из одной, обгонявшей нас, кто-то громко крикнул мое имя. Я, разумеется, оглянулся. Сидят какие-то офицеры и с ними кто-то штатский в медвежьей шубе. Я узнал старика Емельянова. Он кланялся мне и улыбался. Но я чуть не ахнул, когда сидевший рядом с ним офицер в шинели с бобрами снял фуражку и тоже раскланялся. Это была «Варенька»...

— Куда это вы? — спрашивала она.

— Никуда... Так вот прокатиться, дурачимся...

— И мы дурачимся... Я вот хочу править, а мне не дают...

— И хорошо делают.

— Это почему?

— Простудитесь... сани опрокинете...

— Ну вот!.. А ведь вы меня не узнали... идет это ко мне?

— Очень.

К ней это действительно шло. Впрочем, к ней тогда все шло...

— Они вот при встрече солдатам как-то кивают только, — жаловалась она, — а я им всем честь отдаю...

Тройка полетела дальше, наш чухонец во все лопатки пустился за ними, но, конечно, отстал.

— Эх, тоже лошадь! — с досадой сказал я.

Сидевший со мной М—ов — подобно всем нам любовавшийся на «Вареньку» — рассмеялся и, обращаясь ко мне, начал декламировать:

Не нагнать тебе бешеной тройки,
Кони крепки и бойки,
И ямщик под хмельком, и *с другим*
Мчится вихрем *корнет молодой...*

Мы посмеялись и поехали шагом. В самом деле, ну для чего гнать?..

Прошла масленица. Настал пост. У Емельяновых я бывал редко — недели в две раз — да и то если встретимся где-нибудь и позовут. Раз я застал там новую личность, — высокого, очень еще молодого офицера (тоже гвардейского, но более скромного полка — не из дорогих то есть), очень тщательно причесанного, с голубыми глазами, с розовыми, как у детей, губами. Он был такой тихий, даже застенчивый. Не знаю, почему-то я предположил, что он, наверное, остзейский барон. Когда нас знакомили, я с удивлением услыхал, что фамилия его Разлимонов. Черт знает что! Такая кротость, и такая ухарская фамилия...

Вареньки не было дома. Прошло с полчаса, когда она откуда-то приехала. Она взошла в шубке, в шапочке и, вероятно не заметив его, спросила у матери:

— А Разлимонова нет еще?

Но сейчас же увидала его и засмеялась:

— А я думала, что вас нет.

Он подошел и начал говорить с ней с каким-то благоговением, покорностью: так говорят с капризными

опаснобольными. Он рапортовал ей об исполнении им каких-то ее поручений. Она принимала этот доклад и понемногу разоблачалась — снимала шапочку, шубку, перчатки, платочек. Он все это принимал от нее и держал на руках.

— Ну, хорошо... спасибо вам... я вами сегодня довольна... — сказала она и отошла от него, рассказывая матери, где она была с сопутствовавшей ей дальней родственницей, что она покупала, почем и проч. Он бережно понес ее вещи в переднюю.

«Это что же, опять новый поклонник?» — подумал я.

«Поклонник», скромный и без нее, теперь, при ней, стал еще тише как-то. Я заметил, что он положительно глаз с нее не сводил и все время был точно в ожидании получить какое-нибудь еще новое приказание. В этот день я тоже обедал у них. Перед самым обедом приехал какой-то молодой человек с необыкновенно приличными манерами и удивительным пробором на голове. Как вошел, он начал болтать и без умолку болтал все время, весь обед. Рассказывал какие-то сплетни, новости, секреты, даже государственные тайны, и все это перемешано, одно за другим. Она смеялась, всех нас забыла и занималась, по-видимому, только им одним. После обеда перешли опять в гостиную. Белокурый офицер поместился в углу и сидел молча. Молодой человек с пробором продолжал болтать и рассказывать. Через полчаса он раскланялся и уехал в балет. Вдруг стало тихо. Она огляделась. Вспомнила, должно быть, про офицера и обвела глазами комнату.

— Вы что же там в угол забились? — спросила она его, встала и пошла к нему. — Я этого не люблю... Что вы раскисли?.. Это очень глупо... Что ж, я ни с кем не могу посмеяться?.. Ну, перестаньте... будьте веселей...

Он положительно ожил, улыбался, просиял весь.

— Ты, Варенька, в самом деле невозможно себя ведешь, — заметила ей мать. — Часа два она ни одного слова не сказала с Алексеем Павловичем...

— Ах, боже мой! Что ж, я еще и с ним должна стесняться?..

Эти отношения были для меня и сюрпризом и загадкой. «Что ж он, жених, что ли? — думал я. — Что-то странное...»

Перед самым праздником, на страстной, я опять зашел к ним. Дома я застал только одну Лизавету Дмитриевну.

Она сидела в гостиной, и перед ней стояла швейка, бледная, подсохшая и позеленевшая над работой, очень чисто одетая, но очень некрасивая девушка лет двадцати. Они разбирали какое-то полотно или батист. Тут же на креслах лежали кружева, прошивки, розовые ленты... Я поздоровался.

— Что это у вас, магазин целый? — спросил я.

— Да... Это все Варенька... Страх что хлопот. Заказывать ужасно дорого, а дома делать приданое... то есть белье, с ума можно сойти.

«Приданое?.. Какое приданое?» — подумал я и сказал это.

— Вареньке приданое...

— Да разве Варвара Михайловна...

— А вы не знали?.. — удивилась она.

— Нет... за кого же?

— Серьезно?.. Вот вы как у нас редко бываете... За Разлимонова... Он очень добрый и хороший человек... Я боюсь только, что он будет слишком слаб для нее. Она завертит его... Ей нужен муж-руководитель, а где ему...

— Когда же свадьба?

— Скоро. После святой...

Я посидел с ней с полчаса и ушел, все соображая: «как же это так?»

На святой в первый день праздника я был у них, и там при мне перебывало человек тридцать офицеров. Султаны, каски, красные груди, звяканье сабель, шпор, и среди всего этого звона и яркой пестроты — Варенька, сияющая, роскошная, цветущая. Разлимонов возле нее — с беспокойным взглядом, ко всему рассеянный, все забывший, кроме благоговейного поклонения ей... Я подошел и поздравил ее и с праздником и с помолвкой.

— А еще называетесь соседом, земляком, — упрекнула она, дружески пожимая мне руку. — Ждали случая, а так нарочно не могли зайти?..

— Я, право, не предполагал... Так вдруг это у вас все вышло...

— А для чего же тянуть? Сказано — и сделано...

Тут же я познакомился и с обоими братьями ее — гусаром, который жил отдельно, где-то на Сергиевской, и, как рассказывал там, в деревне, сосед, усердно занимался сочинением векселей, и с воспитанником привилегированного

заведения, занимавшимся науками и векселей пока еще не сочинявшим. Оба были, разумеется, с прекрасными манерами и совершенно свободно могли болтать что угодно на самом чистом парижском наречии. Я заметил в то же время, что в отношении Разлимонова, то есть жениха и будущего мужа их сестры, они оба держали себя несколько свысока. Это было очень неприятно видеть. В самом деле, чем он хуже их?..

Свадьба была недели через две или три после святой. Это было нечто крайне оригинальное. Скорей это был пикник, и уж всего меньше свадьба... Венчание происходило в какой-то маленькой церкви на Петербургской стороне, и все мы поехали туда в колясках тройками, с бубенчиками. Это было желание невесты, выраженное ею всем нам еще заранее. И отец ее и мать были при этом просто так, статистами какими-то... Троек было нанято, кажется, десятка два, если не больше. Когда мы ехали — венчание было днем, — на наш поезд все с удивлением смотрели, не понимая, что это такое. По ее желанию, здесь были все офицеры того полка, в котором служил ее жених. Кроме того — товарищи ее брата. Невоенных во всей этой толпе было, может быть, человек пять, в том числе и я. Из церкви опять таким же порядком домой. Стол был накрыт ранее обыкновенного, и мы прямо сели обедать. Она объявила, что сегодня ее день и что желает провести и распределить его так, как хочет, не сообразуясь нисколько ни с усвоенными приличиями, ни с чем... И уж действительно, вышло нечто удивительное. Дам, кроме нее, ее матери, дальней родственницы и еще каких-то двух старух, никого больше не было. Остальное — офицеры, человек пятьдесят. Когда обед кончился, она объявила, что хочет сама сварить для всех нас жженку. Предложение было встречено всеми с восторгом. Раздалось: «браво, ура!..» Кто-то из офицеров сказал, что если уж варить жженку по всем правилам, то эту операцию следует производить сидя на полу, на коврах. Началась суета. Лакеи убирали посуду, стол. Из всех комнат приносили ковры и устилали ими пол в зале. И все это среди смеха, говора, шума и без того уж достаточно подгулявшей компании. И старик Емельянов с своей длинной седой бородой византийского письма и его жена ходили теперь между нами какие-то странные. Странную же роль играл при

этом и молодой, как-то затерявшийся в толпе. И все это происходило в том же доме, в тех же самых комнатах, где в начале зимы, несколько месяцев назад, и хозяева и сама же Варенька старались устроить что-то необыкновенно чинное, церемонное, великосветское... В зале на полу, на коврах, теперь сидели и лежали с расстегнутыми мундирами — опять таки по ее же предложению — несколько десятков офицеров, а посреди в трех мисках пылала жженка и тут же, освещенная синим огнем горевшего рома и сахара, — невеста... Это все, может быть, было и очень красиво, но чувствовалось, чуть не ощущалось, что происходит оскорбление чего-то, что-то профанируется... Я подметил — я не ошибался — в этом веселье, разгуле, ухарстве что-то деланное, напускное, программное... Я уверен, что на совершенно трезвого человека эта картина и вообще все, что началось с момента возвращения с венчания, произвело бы впечатление крайне неприятное, непременно покоробило бы...

Когда жженка была готова и специалисты, отведав ее, объявили об этом и когда ее розлили по стаканам, Варенька сделала новое предложение — выпить со всеми брудершафт. Опять раздалось: «браво, браво!» Со всех сторон протянулись к ней руки со стаканами и раскрасневшиеся лица с смятыми и растрепанными прическами. Ее обнимали, целовали... Я искал глазами ее мужа, мне хотелось посмотреть на него, — но я не нашел его в обступившей ее толпе... Когда, наконец, она со всеми перецеловалась и суматоха несколько стихла, на ней не осталось уж и следа от венчального убора. Волоса растрепались, косы расплелись, лицо горит. Она выпила много должно быть, потому что уж и слова и язык начали както путать, голос срываться, как это бывает только у очень пьяных... Наконец какой-то усатый полковник сказал, что молодым пора, однако, и ехать, а то могут опоздать на поезд. Полк, в котором служил ее теперешний муж, стоит не в Петербурге, а в окрестностях, и они туда должны были ехать. Сговорились все проводить их до вокзала, а товарищи его поедут, разумеется, дальше, с ними же, в полк. Во всей квартире шла страшная толкотня. Искали каски, фуражки, кивера, сабли. По всем комнатам ходили в пальто, в шинелях... Ее одевали. Она смеялась и опиралась на руку то того, то другого, пока, наконец,

не взял ее под руку ее муж. Старики тоже ехали провожать... Опять зазвенели бубенчики, и тройки с пьяными седоками и пьяными кучерами понеслись по улицам, дивя и пугая народ...

Дня через три я уехал в деревню...

8

Прошло два года. Ни там, в Тамбове, ни здесь, в Петербурге, я не встречался с Варенькой и ее мужем. Я знал однако, что он вскоре вышел в отставку и живет с ней у себя в имении, недалеко от той деревни, где стоит их полковой штаб. Рассказывали, что он заводит у себя «рациональное хозяйство», выписывает машины, строит какие-то заводы. Рассказывали тоже, что у них в доме чуть не днюет и ночует весь полк, то есть все офицеры... Старик Емельянов между тем умер, и имение досталось его сыновьям, которые туда и наезжали летом. Варенька при замужестве получила приданое, то есть свою часть, деньгами, и что-то, помнится, порядочный куш: тысяч так пятьдесят. Они могли бы в деревне жить очень хорошо, так как у него было тоже очень порядочное имение. Но вообще я знал об них мало, почти даже потерял из виду.

Однажды я шел по той стороне Гостиного двора, которая к Думе, и из какого-то магазина как раз в то время, когда я проходил мимо его, дверь отворилась, и вышла Варенька. Сзади ее шел лакей, весь нагруженный картонками. Она, по-видимому, очень обрадовалась встрече. Начала расспрашивать, что я делаю, где живу, что нового там, в Тамбове.

— Я ведь с тех пор, как уехала оттуда, помните, еще встретили мы вас, и я отняла зайца, — я там не бывала... Вы знаете, папа ведь умер в прошлом году.

— Это я знаю. А Лизавета Дмитриевна?

— Она у нас живет... Она теперь тоже с нами приехала в Петербург... Приходите к нам... приходите сегодня. Я через полчаса буду дома. Придете?

Я обещал. За эти два года она еще похорошела, стала еще роскошнее. Когда мы стояли с ней и разговаривали, положительно все, проходившие мимо нас, заглядывались на нее. Удивительно была хороша... Через час я пошел в

гостиницу Демут — они там стояли. Она действительно была уж дома. Я застал и ее мужа и ее мать. Они занимали большой номер комнаты в четыре, но беспорядок в них был невозможный. Тут лежали на стульях и юбки и картонки. На столе — стаканы недопитого и уж остывшего чаю. Тарелки с объедками завтрака, а может быть, еще и ужина. На полу масса папиросных окурков. Видно было, что комнат уж несколько дней не убирали... Ее муж встретился со мной очень дружески. Но он, на мои глаза, ужасно изменился. Он как-то выцвел и одеревенел... К этому еще он был в штатском платье, в котором я его прежде никогда не видывал и которое он, как и вообще все военные, не умел совершенно носить. Лизавета Дмитриевна тоже и выцвела и подсохла еще более. Мы уселись и начали вспоминать и припоминать.

— А теперь вы, значит, уж постоянно в деревне живете. Сюда не надолго? — спросил я.

— Нет, на несколько дней. Как только все будет готово, так мы сейчас опять туда едем. Видите, у нас скоро будет полковой праздник в этом полку, где вот он служил, — объясняла она, — ну, и к этому дню я должна была заказать себе платье... потом, знаете, так, разные покупки... вот мы и приехали. Да кстати и у него дела здесь... Он берет подряды...

Они оба начали рассказывать о каких-то поставках или подрядах в казну, которые очень выгодны, и т. п. Это была такая пора, когда сюда в Петербург со всей России съезжались оскудевшие помещики, привозили с собой свои последние крохи, оставшиеся им от продажи их Ивановок, Сосновок, и здесь их проедали, или выманивали у них разные проходимцы и комиссионеры. Это была совершенно особенная пора, которая уж никогда теперь больше не повторится. Такой смеси глупости, наивности и в то же время вожделений самых корыстолюбивых, грязненьких трудно себе даже и вообразить тому, кто не видел, не знал этого, кто вообще не соприкасался с средой этого наезжего в Петербург населения... Я, однако, в прошлом году, когда печатал «Оскудение», так много рассказывал, что теперь здесь, пожалуй, не вправе повторять это... Оба они, одним словом, как я увидал это, были исполнены таких вот вожделений и надежд... Я понял, в чем дело, то есть понял, что дела у них, значит,

«швах», когда хватаются уж за проекты, подряды, изобретения и проч... Я уже столько насмотрелся на все это, что сразу могу по разговору определить, в каком периоде оскудения находится беседующий со мною помещик, и сделаю это нисколько не хуже любого опытного доктора, определяющего у больного чахоткой период его болезни: на все опыт... Этого опыта у меня тогда, конечно, еще не было, но я все-таки догадался более или менее верно.

Пока я сидел у них, то и дело приносили из магазинов разные свертки, коробки — это она всё накупила и велела прислать. Принесли между прочим и какую-то коробку из игрушечного магазина. Я узнал по этому случаю, что у них уж двое детей — оба сыновья.

— Господи, как время-то скоро идет! — невольно сорвалось у меня.

— Да, уж три года будет в апреле. — Она призадумалась немного. — А помните, как я тогда вам жженку-то варила?..

— Конечно, помню...

Я посидел у них еще немного, попрощался и ушел, унося с собой какое-то странное, неопределенное чувство.

9

Прошло еще три или четыре года. По обыкновению, летом я жил в деревне, зимой в Петербурге. Раз как-то поздней осенью мне надо было побывать в нашем уездном городе. Там в единственной «благородной» (где останавливаются приезжие помещики) гостинице, в коридоре, я столкнулся с младшим Емельяновым, тогда только что окончившим курс в училище статских юнкеров и поступавшим в ведомство, заведующее Бисмарками, Гамбеттами и проч. Он был очень серьезен, исполнен достоинства и сдержанно, спокойно объяснил мне, что по окончании курса был в деревне, нашел у себя невозможный беспорядок, сменил управляющего, «этого мошенника», на место его нанял другого, вероятно такого же, и вот теперь едет в Петербург в министерство, вероятно следить за Гамбеттой... Все это было несколько комично, но я выслушал его с серьезным лицом и спросил про сестру.

— Я очень мало могу вам сообщить об ней, — сказал он. — Она так редко пишет... Она теперь поселилась в Петербурге. Он какое-то место получил или хлопочет...

Он говорил это таким тоном, что по-настоящему было бы неделикатно продолжать его расспрашивать, но я сделал эту неделикатность и спросил:

— А что ж деревня?

— Не умею вам сказать: продана она или они сами ее продали... Это очень несчастная партия...

Я понял, что предопределение, значит, совершилось, и больше не стал его расспрашивать...

В Петербург в эту зиму приезжали какие-то «братья» — бухарцы, хивинцы, ташкентцы, — не помню уж. Я не помню также, по какому случаю в клубе художников в честь их был назначен костюмированный вечер или бал. Между многими поехал и я на этот бал. Публики собралось много, давка и толкотня были страшные. Когда я приехал в клуб, «дорогих гостей», то есть вот этих «братьев», еще не было, и публика особенно толпилась в аванзале, ожидая их появления. Я прислонился к колонне или притолке и тоже ждал, посматривал на сновавших взад и вперед старшин со значками на фраках, на костюмы масок... Случилось как-то так, что никого почти не было знакомых. «Дорогие гости» не ехали. Становилось жарко, скучно... В это время, протискиваясь куда-то, нечаянно толкнул меня высокий худой мужчина. Я посмотрел на него. Лицо показалось очень что-то знакомым, но сразу я никак не мог припомнить его. Он старался пробраться дальше, однако напрасно. Там стояла публика стеной, плечом к плечу. Он сделал еще несколько неудачных попыток, безнадежно пожал плечами и обернулся в мою сторону. Тут я узнал его. Это был Разлимонов. Он ужасно изменился: постарел, еще похудел и уж совсем выцвел, что называется. Он тоже узнал меня.

— Вот так давка! Это ужас! — говорил он.

— А Варвара Михайловна здесь? Здорова она? — спросил я.

— Здесь... благодарю вас... здорова...

— Приехали!

— Идут! Господа... позвольте... господа... — отчаянно устремляясь в публику, кричали и метались старшины и распорядители «праздника». Навстречу толпе, стоявшей

в аванзале, снизу, по лестнице, валила, точно на приступ, другая толпа, ожидавшая «дорогих гостей» там внизу. Во главе ее виднелись дорогие «гости-братья», в халатах, головы обмотаны платками или чем они их обматывают. Я удержал свою позицию у притолки и ждал, когда «братья» будут проходить мимо меня. Разлимонова куда-то оттеснила толпа. Возле меня его уж не было. «Братья-бухарцы» или ташкентцы шли медленно. Возле каждого шла маска. Они что-то говорили, но уж на каком языке и как они друг друга понимали, — это их дело. Когда они были уж близко ко мне, я увидал, что с «братом-бухарцем», который шел впереди всех и который, очевидно, был самый главный из них, идет до невозможности разголенная belle Hèlene. [1] В покойном клубе эта эксцентричность, как известно, не только не осуждалась, но прямо одобрялась и даже поощрялась... Бухарец — седой мужик лет пятидесяти, с утомленными, сонными глазами, как-то странно, искоса посматривал на свою даму, то есть, собственно, ей на грудь, на плечи, на ноги, обнажавшиеся до бедер при каждом ее шаге... Дама была действительно «роскошная» из рук вон: высокая, статная, с мраморными плечами и руками. Вокруг шеи и на груди нитки крупного жемчугу. В ушах бриллианты чуть не в орех — настоящие или фальшивые, но эффект чрезвычайный. На лице крошечная бархатная маска, обшитая дорогими черными кружевами.

— Плечи-то... плечи-то, ты смотри... — послышалось возле меня.

— Удивительная!

— Она с N. N.?..

— Говорят...

— Вы не знаете, кто это?.. — спросил я одного из говоривших.

— Разлимонова.

— Варвара Михайловна?

— Да...

«Гости» проследовали дальше. Толпа повалила за ними в зал, в гостиную... Аванзала опустела... Мне попался знакомый художник, старшина клуба, усталый, измятый.

---

[1] Прекрасная Елена *(франц.)*.



— Народу-то что! — как-то восторженно-радостно говорил он, утирая платком раскрасневшееся от духоты и толкотни лицо. — А каких красавиц-то «мы» «им» подобрали!..

— Это впереди Разлимонова? — спросил я его.

— Да. А вы знакомы?

— Значит... Она, что ж, часто бывает у вас в клубе?

— Да. Как же. Вот в живых картинах... Она каждый день... И так, если и вечера никакого нет, все равно она здесь...

— И что ж, получает за это что-нибудь?..

— Кто? Она-то! Нет... Так... для выставки... хе-хе... А что? — спросил он и посмотрел мне в глаза уж серьезно, без смеха...

— Ничего... Новость это для меня...

— То есть как новость?

— Так, новость... Я ее уж лет семь, пожалуй, знаю... еще до замужества знал. И давно это?.. У вас-то она?

— Да как вам сказать... уж вторую зиму... Отчаянная... Такая веселая... выпить что может!..

— Да-а? — переспросил я.

— Что это вас так удивляет?

— Говорю вам: новость это для меня... я ее совсем не такой знал.

— Она у нас тут первая скрипка. Для клуба ведь этакие барыни преполезны. Она с N. N. путается...

— А муж?

— И муж при ней... Он тоже здесь...

— Видел... Я с ним знаком... Что ж, этот N. N. содержит ее? Дает ей?

— Кто? N. N... У него и у самого ничего нет... Так... «ламур»... — И он глупо опять рассмеялся...

Я пошел в зал. Там довольно пусто, но в гостиных — не пройти. Все столпились и смотрят на «дорогих гостей». Они сидели перед столом, на котором был сервирован для них чай. Разлимонова сидела с ними и в качестве хозяйки распоряжалась у большого серебряного самовара. Она была уже без маски, но все в том же невероятно откровенном и соблазнительном костюме. Она очень пополнела в лице и как-то огрубела. Манеры стали совсем почти мужские, резкие, размашистые, как у француженок известного разбора... Она громко смеялась, клала руки на ко-

лени бухарцам, поправляла ежеминутно грозивший свалиться до талии лиф платья. Потом опять высовывала плечи и опять хваталась поправлять сползавший лиф. «Братья» косились время от времени ей на открытую почти грудь, что-то бормотали и дули чай... В толпе, обступившей «дорогих гостей», слушались разговоры всё о том же, то есть об ее плечах, руках, бедрах... Я несколько раз искал глазами ее мужа, но я не нашел его. Мне хотелось посмотреть их обоих вместе; неужели это она с его согласия?

Бухарцы пробыли с полчаса и уехали куда-то, сопровождаемые любопытной публикой чуть не до подъезда. Теперь мужчины обступили Разлимонову. Она хохотала, говорила, что устала, хочет пить, захватила одной рукой шлейф и направилась в столовую. Туда же за ней потянулись и мужчины... В зале между тем гремела музыка, танцевали.

— Варвара Михайловна, а вы разве не будете танцевать? — спросил ее кто-то.

— После. Я пить хочу...

Она зачем-то обернулась и увидала меня:

— А! и вы, скромник, тут? Где это вы пропадали? Я вас сто лет уж, кажется, не видала...

Она очень дружески поздоровалась со мной и начала расспрашивать: что новенького у нас на родине, где я все время был, отчего к ним не заезжал и проч. Так прошли мы в столовую. Она села за большой стол. Кругом ее сейчас же уселись ее поклонники. Кто-то спросил шампанского. Я хотел было отойти, но она начала меня знакомить, пригласила также садиться.

— Отчего вы не ходите в клуб? Вы у нас, кажется, первый раз сегодня?

Лакей принес бутылку, откупорил ее и хотел было разливать по стаканам, но она его остановила:

— Это что такое? Разве ты не знаешь, что я сама всегда разливаю?

Лакей осклабился очень фамильярно и подал ей бутылку, обернутую в салфетку. Она этой салфеткой обтерла смолу на горлышке и начала вываливать в стаканы замерзшее почти кусками вино... Нас было много, и все начали заказывать еще и еще шампанского. Она залпом осушила свой стакан. Потом взяла и выпила стакан у соседа.

— Смерть пить хочу... Я вам сейчас налью...

Смех, хохот. Разговор шел самый откровенный.

— Ну, Варвара Михайловна, бухарцы теперь всю ночь спать не будут.

— Это почему?

— Всё ваши плечи у них будут перед глазами...

— А разве с этими плечами нельзя спать?..

И т. д., и т. д. Откровенность росла после каждого стакана. Она уж не поправляла те узенькие полосочки кружев, на которых кое-как держался у нее на плечах лиф, и я того и ждал, что все это у нее сползет до самой талии, и она предстанет пред нами уж не в костюме прекрасной Елены, а праматери Евы. Этого, однако, почему-то не случилось... Она, наконец, начала рассказывать уж положительно невозможные вещи. Пила она удивительно — за двоих, за троих: совсем вот как ремонтеры у нас на ярмарках... Так, должно быть, около двух часов ночи к ней подвели пяти- или шестилетнего мальчика с завитой, кудрявой головкой, одетого как куколка. Он был совершенно сонный и тер ручонками глаза.

— Ты хочешь спать?.. Да?.. — спросила она его, подняла и посадила к себе на колени.

— Да-а...

— Ну, будь молодцом... Ты разве не знаешь этого дядю? Вина хочешь?..

Она дала ему ледяного шампанского, и я с удивлением увидал, что он очень привычно выпил почти целый стакан.

— Ну, няня, вы закутайте его хорошенько и можете везти домой...

Нянька взяла ребенка, нагнулась к ней и что-то пошептала ей на ухо. Она с сердцем, громко ответила ей:

— Не знаю! Я, может, поеду еще ужинать. Может, за город поеду... Это смешно! Так и скажите ему...

Ребенка унесли, а она обратилась к нам:

— Все супруг мой! Уехал домой... ревнует, злится и приказал няньке узнать, когда я вернусь. Точно я могу это знать?!. я вот еще мазурку хочу танцевать...

— Как? В этом-то костюме? — кто-то спросил ее.

— А что ж?

— Н... н... ничего... смотрите, как бы...

Ее, однако, уговорили не делать этого.

Потом она начала говорить, что в таком случае «засиживаться» на одном месте нечего и лучше ехать куда-нибудь ужинать. Стали обсуждать, куда. Кто звал к Борелю, кто в Ярославчик, кто за город, к Дороту.

— К Дороту разве можно? простудитесь...

— Я простужусь? Хотите, я так, вот как есть, без шубы даже поеду?

Она взяла у кого-то сигару, закурила ее и начала, что называется, палить.

— Разве сигары так курят?

— Я нарочно. Чтобы поскорей был пепел. Я ведь ем его. Это хорошо от изжоги.

Она действительно сваливала нагоревший пепел на руку, потом с руки стряхивала его в рот и запивала вином.

— И вкусно?

— Вкусно.

— Так что ж, едем к Дороту?

— Конечно, едем.

Она была пьяна. Когда мы расплатились за вино и встали, она немного даже шаталась. Но ведь и выпила же она — страх! Кто-то взял ее под руку и повел.

— А тройки есть?

— Тут всегда есть. Они уж знают... я ведь каждый день почти езжу отсюда... — говорила она, тяжело опираясь на руку какого-то инженера, который вел ее...

10

После биржевого краха шестьдесят восьмого года, когда полопалась на бирже такая масса всех этих киевских, одесских, варшавских и бердичевских «банкиров», нашествие которых в Петербург и гешефты которых считались «оживлением» торгово-промышленных и всяких других сил России, — наступил не то чтобы кризис — какой может быть в России кризис от жидовского погрома! — а так, просто перепуг. Зайцы и «банкиры» — лопнувшие и уцелевшие — попрятались куда-то, забились в свои норы. Мерзостное представление, которое бесплатно давали они в зале гостиницы «Демут» («Малая биржа». Одной большой им было мало!) прекратилось. «Деловой» Петербург

приуныл. Так как у этих зайцев и «банкиров» были на руках и деньги русских любителей скорой и легкой наживы и так как таковых любителей было немало, то, весьма понятно, приуныло вместе с ними немало и соотечественников. Некоторые были действительно разорены начисто. Бывало, куда ни приедешь, везде один разговор — о бирже и биржевом крахе.

— Да ведь вы же не покупали, кажется, акций?

— Нет. А все-таки сколько народу-то разорилось!..

— Ну и господь с ними. Это их дело. За чем пошли, то и нашли...

— Ах, как вы судите? Это отразится на всей России...

И никакие споры, никакие доказательства не выслушивались, не оценивались и в расчет не принимались: все были в перепуге и ждали, что три-четыре десятка лопнувших жидов и сотня втянутых ими в игру дураков славянского племени разольют бедствия и несчастия по всему обширному отечеству... Петербург в этом отношении прекомичный город. Не имея ничего общего с Россией, однако командуя ею, всякий раз, когда попадает впросак, начинает уверять и кричать, что это грозит опасностью для всей России и потому необходимо спасать его всеми силами и во что бы то ни стало. В этом убеждены все: и «банкиры» с зайцами на бирже, и инженеры, и директора банков и дорог, и даже француженки, ужиная у Бореля, тужат о грозящей нам беде, очень мило смешивая ее с бедой какого-нибудь покровителя с гортанным выговором и масляными глазами...

Но вот прошло несколько месяцев, полгода. Попрятавшиеся в свои щели и норы «банкиры», зайцы и дельцы ободрились, собрались с духом и опять из Варшавы, Одессы, Берлина и Бердичева мало-помалу стали собираться в Петербург. «Деловые» люди и передовые статьи в газетах, очень серьезно обсуждая экономическое состояние наше, находили, что мы необыкновенно «счастливо» пережили кризис и теперь, по-видимому, есть даже некоторая надежда на наступление лучшего будущего...

И действительно, «оживление» скоро началось. Съехавшиеся жиды и полужиды под руководством Саламатова, Пудельсона и других — их же имя легион — принялись за работу... И все это ко благу и на пользу «всем нам дорогого отечества», на «воспособление справедливым нуждам

стесненного земледелия и землевладения» — открытие всех этих кинешма-бердичевских и иных земельных банков — и на благо и пользу промышленности и торговле... Но правительство, уж проученное «банкирами», уже видевшее, что́ они делают и проделывают с акциями предприятий, основанных и прежде, тоже для блага и преуспеяния дорогого отечества, теперь поддавалось па удочку уж труднее, почти не верило в патриотизм бердичевских, варшавских и одесских уроженцев. Надо было придумать что-нибудь новое, оседлать нового коня и на нем выехать. Таким конем они избрали чуть ли не самую дорогую, самую святую силу России — земство... Как все это вышло и случилось и что из этого произошло в конце концов, — я тоже рассказывал в «Оскудении» и повторять здесь не буду. Было, одним словом, признано, что следует «прислушиваться к нуждам местного населения»... Саламатов с жидами озаботился, чтобы «лучшие» люди этого населения являлись сюда в Петербург и представляли кому следует писаные и печатные вопли о «неотложной и насущной необходимости для края» такого-то банка или такой-то питательной линии с земской гарантией... Патриотические и заботливые предложения берлинских и бердичевских «банкиров» чудесным образом совпадали с «нуждами местного населения». Где следует и кому следует всё это рассматривали, соображали и давали ход... Началась невиданная оргия... Петербург был запружен наехавшими вопленосцами, «банкирами», депутатами, агентами, комиссионерами... Все это хватало и урывало куски у казны, у земства... наконец друг у друга...

В это время мои земляки в общей свалке держали свое знамя выше всех. Почти все самые лучшие и самые сочные куски достались «нам». Очень понятно, что «мы» были высоки духом... на сколько могут поднять дух черт знает как и за что доставшиеся деньги... Их считали пачками, мяли, засовывали в штаны, швыряли трезвые и пьяные кому попало... Это было ужасное время. Это было, конечно, лучшее время для «женщин»...

— Ах, братец, какие «женщины» здесь у вас в Петербурге! — восклицал какой-нибудь приехавший из Усмани земец.

— Хороши...

И действительно, «женщины» в это время собрались в Петербург «самые лучшие». Все знаменитости Вены, Лондона и Парижа съезжались к нам, хватали, урывали с общей трапезы куски, прятали их, теряли, вновь урывали...

«Оживление» производительных сил страны было полное...

11

Я уж позабыл теперь, по какому именно случаю — «питательная» ли ветвь с земской гарантией была утверждена или праздновалось основание какого-нибудь виленско-новохоперского земельного банка — у Дорота был ужин. Дня за три уж по городу ходили об нем слухи. Предстояло нечто такое, что должно было затмить все доселе виденное у нас в этом роде. Часа в два или в три я ехал куда-то по Невскому. На Полицейском мосту мне попался навстречу земляк-директор. Он махал руками и делал мне знаки, чтобы я остановился. Мы вышли оба из саней и встретились на панели:

— Что такое?

— Вы куда?

Я сказал, куда я еду.

— Вот что. Вы будете сегодня там?

— Где?

— У Дорота.

— Звали... вряд, впрочем, поеду... — Мне эти попойки и безобразия тогда действительно до тошноты надоели.

— Нет, вы непременно приезжайте... — Он начал рассказывать, что там будет и кто там будет. Весь «цвет» делового мира, все его знаменитости должны были быть. Я видел их всех десятки раз, с очень многими был знаком, но я ни разу не видал их всех вместе за общей братской трапезой...

— И потом — ведь все «лучшие женщины» там будут.

Он начал перечислять их и между именами Эжени, Камиль и прочих назвал и Разлимонову.

— Как, разве и она... пошла уж?.. — спросил я.

— Вона! Вот что значит отстать-то, нигде не бывать...

Он назвал мне фамилию какого-то жидовского барона, с которым будто бы она живет и который платит ей ка-

кую-то баснословную цену, кроме квартиры, лошадей, театра и проч.

— Вы знаете, ведь она «наша»... из нашей губернии... — Он сказал это так, как будто она делала нам этим величайшую честь. — Она, впрочем, добрая... Особенно с земляками-то... ха-ха... Ивана Михайловича знаете?.. Дмитрия Васильевича?.. Они к ней ездят...

Видеть вместе всех светил биржи, концессий, гарантий, уставов... всех «лучших женщин»... Наконец, видеть во главе среди земляков землячку, которую я знал чуть не ребенком еще... Искушение большое...

— Я непременно приеду, — сказал я. — Может, попозже, но приеду наверно...

В этот день у меня была какая-то срочная работа, с которой я и провозился весь вечер и почти всю ночь. Часа в три утра я, наконец, кончил ее. Самая пора была ехать к Дороту. Теперь там, конечно, все пьяны, ужин уж кончился. Картины и сцены редкие встретишь... Я несколько раз бывал на открытиях железных дорог — недурно. Бывал на обедах директоров по окончании акционерных собраний — тоже недурно. Бывал, наконец, на ужинах с концессионерами в день получения ими так давно жданной концессии, когда они, утомленные канцелярскими проволочками и вымогательствами, ощущали, наконец, кусок уж у себя во рту — очень хорошо. Но я не видывал ничего подобного тому, что я увидал у Дорота в ту ночь... Здесь было действительно собрано *все* в самом полном смысле этого слова. Были и звезды, и залитые золотом мундиры, и сапоги бутылками, соболи, бобры, мерлушки... В воздухе стоял немолчный гул голосов. Слышались странные сочетания слов и звуков: «Ваше сиятельство...» — «Эх, ты! У елки стоял...» — «Ваше высокопревосходительство!..» и потом откуда-то кучерская поговорка, площадная брань... Гортанные выкрикивания иудея... Хохот и визг француженок... Ужин действительно уж кончился... Все разбились на кучки. Я обошел комнаты; потом спустился в сад. В беседке, которая там сделана из пустых портерных бутылок, я увидал Разлимонову, двух каких-то француженок и человек пять или шесть «наших».

Я подошел к ним. У «нас» вообще не принято сдерживать чувств при встрече, а тут, спьяна, и подавно. Меня встретили криками, начали обнимать, целовать, бранить,

зачем опоздал к ужину и, разумеется, сейчас же начали приставать с вином... Когда восторг и радость встречи несколько поуспокоились, начался прерванный разговор, то есть рассказывание самых непотребных анекдотов и каламбуров.

— Я не могу так пить... я сниму сейчас корсет... — говорила Разлимонова.

К ней кинулись помогать, платье затрещало, посыпались пуговицы... наконец корсет стащили с нее... Начались приставания и требования, уж положительно невозможные по-видимому, но и они исполнялись и удовлетворялись... Красные, потные лица, грязные и липкие от пролитого шампанского руки лезли и простирались к ней. Она целовала, и целовали ее. Тискали и мяли ее, шлепали по спине, по плечам. Кто-то запел какую-то глупую цыганскую песню — не вышло.

— Цыган!..

Но цыганы пели где-то там наверху, в другой группе.

— Пойдемте туда.

— Я не могу... Если я встану, у меня все: и юбки и платье свалятся. Я все расстегнула, — объявила Разлимонова...

Но «мы» ее выручили. Кто-то снял ремень, которым были подпоясаны у него панталоны, и дал ей его. Платье и юбки ей подвязали этим ремнем, и она пошла, все-таки путаясь в юбках и в платье...

Часу в шестом утра начали, наконец, разъезжаться...

— Знаете что? Поедемте ко мне чай пить, — позвала она. — Теперь булочные уж открыты... со сливками, с горячими калачами... А?

Человек пять, в том числе и я, согласились, уселись с ней в одни сани и поехали.

Она жила где-то на Сергиевской или на Шпалерной — не помню уж. Мы насилу дозвонились швейцара, потом начали звонить в ее квартиру.

— Звоните громче... эти негодные спят, — говорила она про горничных.

— Варвара Михайловна, а ваш муж? — спросил ее кто-то. Хмель-то уж начал понемногу проходить...

— Муж?.. фю-ю!.. У меня теперь мужей много!.. Я одна живу с детьми, — уж серьезно сказала она.

Наконец нам отперли.

— Самовар! Живо... сливки... горячие калачи чтоб были... ну!.. живо...

Сонная горничная заметалась. Мы сами снимали и вешали свои шубы. В гостиной слабо горела лампа. Туда мы и прошли. Квартира, очевидно, небольшая, но отделана богато, со вкусом. Везде ковры, шелковые драпировки, бронза, китайские вазы... Через несколько минут она вышла к нам уж переодетая в дорогой кружевной пеньюар.

— Господа, не хотите ли пока сельтерской?

Принесли сельтерской и начали ее пить... Уж рассветало. Окна побелели. Начинался короткий зимний петербургский день.

— Варвара Михайловна, вы устали, вам спать пора.

— А, нет. Я привыкла. Ведь это у меня почти каждый день так...

Разговор как-то не вязался. Когда хмель начинает проходить, самые разгульные безобразники делаются обыкновенно молчаливыми, скучными и неразговорчивыми. Наконец принесли самовар, горячих калачей, сливки. Она засыпала в чайник целую горсть чаю, заварила его и сейчас же начала наливать стаканы. Мы проголодались и ели калачи с маслом как голодные. Чай показался очень вкусен... Скоро стало совсем светло... Где-то там, в комнатах, послышались детские голоса.

— Смотрите, дети уж встали... Пора нам ехать...

— Погодите, я вам их сейчас покажу.

Она велела привести их. К нам вошли два мальчика — один лет шести, другой лет трех-четырех. Они нисколько не смутились и не удивились нашему присутствию. Видно было, что это им не в диковинку.

— Что ж вы не здороваетесь с дядями? Ну!..

Мальчики начали подходить к каждому из нас, кланяться и «шаркать ножкой». Потом подошли к ней и стали возле нее...

— А без тебя, как ты уехала, барон приезжал, — сказал старший..

— Знаю. Это не твое дело.

— Он нам на конфекты десять рублей подарил...

— Ну, ступайте к себе в детскую...

Она взглянула на меня, и мы встретились глазами.

— Что вы так на меня смотрите? — спросила она.

— Ничего.

— Нет, не ничего... Мы с вами когда-нибудь много поговорим...

— Когда прикажете.

Было, должно быть, уж часов десять, когда мы уехали от нее...

12

В эту же зиму, так, должно быть, в феврале, был какой-то литературно-музыкальный вечер с танцами в пользу студентов. Я ужасно люблю эти балы. Там всегда увидишь столько искреннего веселья, такую массу сил и порывов, как нигде. Правда, там очень много пьют пива и под конец напиваются им, но, я думаю, это можно извинить. Лафита, рейнвейна, шампанского они не могут ведь пить. Со временем, конечно, многие из них будут и поставщиками в казну, и концессионерами, и директорами, и шампанское с француженками будут пить наверно, но пока... пока они пьют пиво и ни о подрядах, ни об окладах не думают. Впрочем, кому что нравится, а я, повторяю, люблю эти балы и редко когда их пропускаю... Я где-то замешкался, опоздал и приехал, когда музыка и чтение уж окончились и начались танцы. В огромной зале прыгало и носилось пар пятьдесят. Я стоял и смотрел. Вдруг мимо меня мелькнуло знакомое лицо. Я стал следить глазами за этой парой и узнал Разлимонову. Она сделала еще тур и не села, а просто упала в изнеможении на стул. Ее сейчас же обступила толпа с приглашениями на дальнейшие подвиги, но я видел, как она отчаянно мотала головой. Я подошел и стал поближе. Она очень скоро заметила меня.

— Они совсем замучают меня... — говорила она и не могла надышаться. — Человек пять уж призналось мне в любви сегодня... Господи, как тут жарко!

Но скоро началась какая-то кадриль, и ее опять потащили. Она была, по обыкновению, декольтирована донельзя и хоть уж сильно располнела, но все еще была очень хороша и эффектна. Я посмотрел еще раз на танцующих и пошел бродить по комнатам. Когда немного погодя я вернулся опять в залу, ее уж не было. Я даже поискал ее глазами — нет, должно быть уехала...

На этих студенческих балах всегда есть «мертвецкие», то есть попросту комнаты, где только пьют. Собственно там-то и стоит дым коромыслом Сюда, где танцуют, пьяных стараются не пускать, а если какой попадет, то его «извлекают из обращения». Не зайти в мертвецкую нельзя. Это в своем роде быть в Риме и не видать папы. Когда теперь я попал в мертвецкую, там стон стоял, слышалось: «браво», «бис»... Узнать, в чем дело, можно было только протискавшись в самую середину... Вдруг все начали шикать: «Тише, тише, господа!..» Мало-помалу водворилась тишина.

— Варвара Михайловна! «Парадный подъезд»...

— Нет, опять «Тройку»!

— «Тройку», «Тройку», «Тройку!..»

«Господи! и сюда даже она попала», — подумал я и стал ждать, что будет дальше. Когда, наконец, водворилась тишина, я услышал ее голос. Она декламировала ту «Тройку» Некрасова, каждый куплет которой оканчивается:

Звенит, гремит и улетает,
Куда Макар телят гоняет...

Она очень хорошо декламировала, осмысленно подчеркивала слова, подмигивала, встряхивала головой. Когда она кончила, опять раздались неистовые «бис», «браво», аплодисменты... Давка и духота были невозможные. Я насилу кое-как протискался к выходу и остановился в дверях, чтобы перевести дух. Ко мне подошел один мой приятель, тоже земляк, товарищ еще с гимназии

— Ты откуда? Там был, в мертвецкой? — спросил он.

Я рассказал ему, что там происходит.

— Эх, братец, их надо предупредить... Она ведь... того...

— Ну, не может быть!

— Нет, уж, кажется, верно...

Что ж тут делать? Идти предупреждать? А какие у нас доказательства?..

Мы пробыли с ним на «балу» еще с полчаса и уехали.

— Неужели она и до этого дошла даже?

— Говорят...

— Да ведь она столько получает от своего барона... и другие тоже... помогают...

— Времена нынче, братец, такие... Всем все мало... Ничем не брезгуют...

Дня через два я столкнулся с ней на Невском. Она выходила из какого-то магазина.

— Здравствуйте. Кстати посмотрите-ка моих лошадей...

У самого тротуара стояла пара вороных, вершков пяти, маленькие санки, бурая медвежья полость. Я бегло осмотрел их:

— Хороши.

— А что сто́ят?

— Тысячи полторы-две дали?

— Мне подарили... Болтать не будете?..

— Нет.

— Дяденька ваш —ов...

Она назвала одного из моих бесчисленных дяденек. Я улыбнулся. Я никак не ожидал от него такой прыти. Дома перед женой он такой смирный, аккуратный, бережливый...

— Теперь уж вы непременно должны ко мне приехать.

— Почему же это теперь?

— Потому, что теперь я ваша тетенька...

— А барон?

— Фюить!.. жид поганый!..

— Скоро всё.

— У меня всё скоро...

Она ловко, молодцом уселась в санки, сама застегнула полость, очень мило улыбнулась мне, повторила приглашение зайти к ней и крикнула кучеру: «Домой!..»

В этом году я ее уж больше не видел. Настал пост. Начались оттепели, лужи. Запахло весной... Я прикончил свои делишки и уехал в деревню.

13

Дяденька мой, который подарил пару лошадей Разлимоновой и сделал ее себе в некотором роде второй супругой, а мне второй тетенькой, живет довольно далеко от нас — в другом даже уезде, — да и так вообще я видаюсь с ним редко. Но однажды как-то в одну из таких вот

охот-прогулок с Бердебой, о которых я столько раз говорил, я заехал к нему. Его не было дома. Меня встретила тетенька Анна Дмитриевна.

— Его, мой друг, нет, — сказала она, — но мы его поджидаем.

Дело было уж к вечеру. На террасу подали самовар. Собрались сюда же и дети с гувернантками. Пришел и семинарист Дроздов или Скворцов, «батюшкин» брат, читавший им «русские предметы»... Дяденька Михаил Васильевич женился на тетеньке несколько позже обыкновенного, так что его дети, а мои кузены и кузины, гораздо меня моложе... Тем не менее, однако ж, мы любили друг друга. Когда я бывал у них, я всегда рисовал им птичек, вырезывал лошадок и т. п... Так и теперь мы сидели на этой террасе и самым мирным, даже, можно сказать, идиллическим манером пили чай со сливками, с крендельками.

— Растут-то как, — сказала тетенька, указывая мне головой на двух моих старших кузенов.

— Да-с... это ведь всегда так...

— Осенью-то Костю хотели везти... — продолжала она. — Михаил Васильевич в правоведение хочет, а помоему в лицей.

— И там хорошо... и там недурно...

— Нет, в лицей-то все как будто поблагороднее...

— Все равно-с. И в правоведении тоже очень благородно.

— Разночинцев-то там нет?

— Что вы, господь с вами!

— Видишь, мой друг, из лицея-то всё больше по иностранному ведомству — секретарями, советниками при посланниках... все дворы европейские увидят... а из правоведения больше всё в сенат чиновниками выходят...

— Это точно. Больше, впрочем, всё в прокуроры норовят... Это, тетенька, тоже ведь хорошая карьера... Камер-юнкерами делают их...

— Вот это разве...

Так сидели и беседовали мы, когда лакей «Никишка» — заспанный, грязный лакей — на подносе полинялого накладного серебра принес и подал ей привезенные с почты газеты и письма. Она взяла их. Никишка опустил

руку с подносом, и в это время у него из рукава вывалилось письмо.

— Это что такое?

— Это-с... особенное... Это не сюда-с.

— Покажи-ка... Покажи...

Никишка, смущенный, как пойманный вор, протянул к ней руку с письмом. Письмо было в изящном цветном — сине-сером — конверте с вензелями и коронкой.

— Как же не сюда?.. Как же это ты смел?.. Это к барину... — сказала она и сверкнула на него глазами...

— Известно-с... я тут... — начал было он оправдываться.

— Пошел вон...

Никишка ушел, а она, осторожно общипав край конверта, вынула оттуда такого же цвета письмо, развернула его, начала читать и вдруг мертвенно побледнела. Но она продолжала его читать. Руки тряслись. На губах улыбка... Я сидел и соображал: от кого это письмо? От Разлимоновой, или это еще какая-нибудь новая дяденькина шалость?.. Он был, как я узнал тогда, ужасно в этом отношении легкомыслен и даже просто ветрен. Наконец она кончила, прочитала, опустила руку с письмом на колени, обвела всех глазами и остановилась на мне.

— Неприятное письмо, тетенька?

— Дети, идите гулять, — сказала она.

Дети, гувернантки и семинарист встали, утерли рты, поблагодарили за чай и все гурьбой начали спускаться с террасы в сад, вниз по ступенькам. Она протянула руку с письмом ко мне, проговорила: «прочти», откинулась на спинку кресла, и лишь только я хотел его начать читать, услыхал: «ох! ах, ах, ах!..» Я к ней, разумеется: «Тетенька, ангел, что с вами? Успокойтесь... Воды!..» Но это вышла очень длинная история... Я терпеть не могу этих сцен, почти не верю в них, а когда они еще ведутся неумело, неискусно, — это ужасно! Я назвал ее еще несколько раз ангелом, сходил за водой, за солью, показал, одним словом, все внимание, но не утерпел в то же время не пробежать и письма. Оно, было разумеется, от Разлимоновой, как я и предполагал. Оно было очень странного содержания, даже, можно сказать, загадочного.

«Вчера, отправив к вам, мой дорогой друг, своих детей, — писала она, — я осталась одна в пустой почти квартире. Всю мебель, как вы знаете, я продала, и кругом меня были одни пустые, голые стены. Я почувствовала себя совершенно одинокой, и, уверяю вас, мой дорогой друг, мне стоило больших усилий, чтоб не переменить своего решения — бросить всех и все и уехать куда глаза глядят на три года. Я почувствовала также, что меня никто и никогда так горячо и искренно не любил, как вы. Вместе мы не могли быть счастливы, расстаться было необходимо, но я вижу теперь ясно, что я найду силу перенести все мне предстоящее лишь в воспоминаниях о вас, о вашем благородном характере и ваших рыцарских чувствах ко мне...» Дальше шли вариации на ту же тему и в конце концов обещания быть ему верной во все время их разлуки... Надо знать дяденьку Михаила Васильевича, его «рыцарский» характер, его, наконец, красоту, чтобы понять, что все это была ядовитая насмешка над ним, в расчете и даже в уверенности, что по своей глупости и старческой влюбленности он все примет за чистую монету...

Когда тетенька несколько успокоилась и пришла в себя, слабым голосом и всхлипывая она выговорила:

— Каково?..

Я промолчал.

— Дяденька-то твой каков, — повторила она.

— Но, может быть, тетенька, — начал было я; она не дала и говорить мне.

— Не утешай... не утешай!.. я давно это уж замечала... — И потом вздохнула и по некотором размышлении прибавила: — А какие же эти дети?.. Его?..

— Тетенька!..

— А что ж такое? Он мужчина сильный...

Тут с ней чуть-чуть не сделался опять припадок... Мне и надоело все это, и в то же время я делал усилия, чтобы не рассмеяться. Я знал ведь и дядю, и тетю, и Разлимонову — всех действующих лиц. Я был уверен, что Разлимонова его обчистит елико возможно, но чтобы в довершение всего она еще приварила ему и детей — этого казуса я никогда не предполагал... Между тем начинало уж смеркаться, солнце село, и набегали быстрые сумерки,

которые у нас так скоро сменяют летом день... Мы сидели с ней вдвоем на террасе и обсуждали события.

— Что же, однако, он будет делать с детьми?

— Надо, тетенька, когда они подрастут, дать им воспитание...

— Помилуй, мой друг, у него своих пятеро... И с кем же это она их выслала сюда?..

— Уж не знаю...

— Нет... я их не приму... нет, — говорила она.

В это время вдали, там, за рекой, на той стороне, послышался колокольчик. Она стала прислушиваться...

— Это он... Это наш колокольчик... Вот что, — она вдруг точно ожила, — надо, чтобы Никишка ему ничего не успел рассказать про письмо... Куда бы это его послать? Никишка!..

Явился Никишка.

— Ты ступай поскорее... нет, ты ступай и садись сейчас вот в этот куст и там сиди...

Она указала рукой на огромный куст бузины, шагах в сорока от террасы. Никишка нерешительно повиновался, заговорил, что «барин едут-с», но она прикрикнула, и он отправился в куст.

— Так лучше... Теперь его никто не предупредит... Ты посмотри, какой он приедет... И в глазу ничего нет...

Колокольчик звенел все ближе, ближе... наконец уж у самого крыльца. Приехали... В зале послышался дядин голос: «Темно, где Никишка?.. Барыня на террасе?..» Горничная или нянька что-то отвечала ему. Тетенька злобно улыбалась. В дверях показался дяденька с двумя прелестными малютками, которых он вел за руки... Было, как я уже сказал, довольно темно, и выражения тетенькина лица разобрать он не мог. О том, что произошло без него, он тоже ничего не знал; поэтому он шел радостный, улыбающийся и еще шагов за двадцать начал:

— Вообрази, мой друг, еду я и вдруг вижу, по дороге бегут вот эти два мальчугана...

Больше ему врать уж не пришлось. Когда он приблизился к ней и нагнулся, чтобы запечатлеть у ней на лбу поцелуй, она с размаху запечатлела ему на щеке такую пощечину, что где-то даже эхо раздалось...

Понятно, сейчас же истерика: «ах, ах!» и т. д. С дяденькой тоже сделалось что-то вроде дурноты. Он тоже опустился на кресло, закрыл глаза и свесил руки...

«Возиться с обоими — нет уж, бог с вами», — подумал я и решил предоставить их собственной их участи... Дети между тем испуганно прижались друг к другу и смотрели на сцену.

— Подите сюда. Хотите молока? — сказал я.

Чайный стол был еще не убран. Я налил им по стакану, дал крендельков и усадил возле себя. Они, должно быть, проголодались и принялись очень усердно жевать и глотать...

Дяденька между тем тяжело вздыхал, слабо и медленно произносил: «ах!». Тетенька «ох!» и «ах!» произносила резко, учащенно, как бы залпами и потом опять стихала... Я налил детям еще по стакану молока и обратился к тетеньке и дяденьке с увещаниями. Тетенька заговорила первая:

— Нет... нет... я уеду... я не могу.

Дяденька тоже что-то произнес. Тетенька ему ответила. Он ей... Таким образом, опасность миновала довольно скоро, и началась усиленная и чрезвычайная, но все-таки обыкновенная супружеская сцена.

— Вы, милостивый государь, подлец! — вскричала тетенька. — Отойдите! Прочь! Прочь!..

Он стоял на коленях и просил прощения, ловил для поцелуя ее руки...

Так как в этих случаях самое лучшее супругов оставлять одних, то я взял за руки маленьких Разлимоновых и повел их в сад.

— Ты смотри... их туда... к детям... к моим детям не веди!.. — закричала она.

— Нет-с. Будьте, тетенька, покойны...

— Вас как же сюда доставили? — спросил я старшего.

— Мы потеряли папу и маму и бежали по дорожке... — начал было он.

Но я его, разумеется, остановил, сказав, что я все знаю и чтобы он не лгал, а говорил правду. Он, однако, сделал еще попытку в этом же роде; я опять повторил, что все знаю, и он уж тогда только передал мне истинную повесть о своем путешествии от Петербурга до Тамбова. Их привезла и сдала дяде с рук на руки какая-то жен-

щина, которая очень нехорошо обращалась с ними дорогой и которая, переговорив с дядей, когда они уехали, осталась на станции ждать обратного поезда, чтобы ехать назад в Петербург...

Сад у дяди огромный, старинный, с бесчисленным множеством всяких дорожек, кругов липовых, сосновых, кленовых, березовых, дубовых. Я шел с ними все дальше и дальше, не зная, что же, наконец, делать мне?.. Минут через двадцать, и даже, пожалуй, больше, я услыхал: «Се-ре-жа-а!..» Это кричал дядя. Я ответил. Когда мы встретились, он начал меня расспрашивать о том, как все это произошло. Я, конечно, рассказал.

— Это ужасно... Это ужасно... Ах, как это неприятно... — повторял он.

— Что же, однако, теперь вы будете делать вот с ними? — спросил я, указывая на маленьких Разлимоновых...

— Она согласилась...

— Ну и отлично. Значит, можно теперь и в дом идти. Им ведь спать пора.

— Да, да, да.

Он был уже весел, как ни в чем не бывало. Мы повернули и пошли к дому.

— Надеюсь, это все между нами...

— Ну, конечно...

Тетенька была меланхолически настроена, казалась слабой, утомленной, больной. На нее почему-то вдруг нашел припадок особенной нежности к «этим детям». Она их гладила по головам, вздыхала... Когда детей и своих и «этих» отправили спать и мы опять остались втроем, она снова хотела было затеять «острый фазис», но и покорный вид дяди и мои энергические представления о неуместности этого предприятия удержали ее. Она ограничилась меланхолией и более или менее ядовитыми шпильками, которыми время от времени и укалывала преступного мужа... Дяденька эту ночь должен был, разумеется, провести в кабинете, где и приготовили нам обоим постели. Он вздумал было продолжать обсуждение вопроса, но я сказал, что мне до смерти спать хочется, и погасил свечу. Утром после завтрака, когда я собрался уезжать, мир мне казался еще более упроченным. Тетенька также обратилась ко мне со словами уверенности,

что все это между нами. Я поспешил успокоить и ее, простился и уехал.

— Это чьи же дети-то будут? — спросил меня Бердеба. — Бариновы? благородные?..

— Благородные...

— Он кучеру-то было наказывал говорить, что они их на дороге нашли... Известно, прежде, по крепостному-то, из страха молчал бы, а теперь что... теперь никакого страха нет...

14

Прошло два года. По обыкновению, лето я жил в деревне, зиму в Петербурге. В оба эти года я только раз был у дяди и, разумеется, видел там маленьких Разлимоновых. Их содержали точно так же, как и своих детей, то есть тем же кормили, так же одевали, те же гувернантки и учителя тому же учили, но они все-таки показались мне какими-то сиротливыми.

— Преспособные, мой друг, дети, — говорила про них тетенька.

— Да-а?

— То есть, вот как, мой друг: старший даже лучше наших учится... — и, подумав немного, спросила:

— Ты мне скажешь правду?

— Скажу.

— Это не от него?

— То есть не от дяди?

— Да.

— Нет... Честное слово, нет.

— Полюбила я их, а как только вспомню, так у меня, ты не поверишь, все внутри точно перевернется...

Я, конечно, сделал все, чтобы ее разуверить в этом, успокоить. Рассказал, что я давно, чуть не ребенком знал Разлимонову, что знаю ее мужа, был у них на свадьбе, что, одним словом, в данном случае никакого сомнения даже быть не может... Это ее успокоило.

— А она-то, подлая-то эта, ты знаешь, ведь в Сибирь удрала... Дяденьку на десять тысяч, кроме подарков, обчистила, да с каким-то золотопромышленником и удрала туда...

Она говорила это таким тоном, каким мог бы сказать он, то есть дяденька. Вот, дескать, меня бросила, а другого полюбила. Я рассмеялся.

— Я тебе не лгу. Это я наверно узнала.

— Да верю, верю... Ну и бог с ней.

В эту же зиму в Петербурге не помню кто мне рассказывал подробности отбытия Разлимоновой в Сибирь. Когда дяденька весной уехал в деревню, оставив ей, разумеется, условное содержание, она «замарьяжила» где-то на загородном гулянье или за ужином в ресторане богатого и молодого купчика, только что получившего в наследство прииски, пропуталась с ним около месяца, все распродала и с ним же уехала в Иркутск, отправив к дяде детей. И вот эти нежные письма, одно из которых и наделало столько хлопот...

Потом один мой знакомый инженер, ездивший в Сибирь делать какие-то изыскания, рассказывал, как там вообще хорошо и весело живут, как там моют полы шампанским и проч., словом, изображая этот рай, назвал и Разлимонову.

— Варвара Михайловна?

— А вы знаете ее? Это, батюшка, там для таких случаев первый человек. А уж пьет как! И черт ее знает что может выпить...

— С кем она там живет? — спросил я.

— Да как вам сказать? Приехала она туда с молодым — овым, потом его бросила и запуталась с — ном, потом...

Список сибирских побед был вообще очень длинный, гораздо длиннее Ермаковых побед...

Наконец, последнее известие об ее пребывании в Сибири я уж не услыхал, а прочитал. Помню, это было в вагоне, я куда-то ехал, вернее всего, домой в деревню, купил газету и от скуки принялся читать ее от доски до доски. В газете была напечатана корреспонденция из Томска или из Иркутска — не помню уж хорошо, откуда, — и в ней рассказывалось, что где-то там у них был найден удивительно сохранившийся мамонт, что об этом было дано знать исправнику, «благодаря просвещенной заботливости» которого были немедленно приняты все меры, чтобы невежественные местные жители не испортили редкой и драгоценной находки, что было донесено

об этом генерал-губернатору, а этот последний вызвал откуда-то каких-то ученых, которые не замедлили прибыть, и проч., и проч... Очень длинная и обстоятельная корреспонденция, оканчивающаяся описанием, как вырыли из мерзлой земли этого мамонта, как его привезли, как город давал «дорогим гостям», то есть ученым, по этому случаю в клубе обед и как при этом «уважаемой и всеми любимой» В. М. Разлимоновой пришла счастливая мысль попробовать изжарить несколько мамонтовых котлет, «для чего и был вырезан из мягких задних частей тысячелетнего гиганта большой и сочный кусок прекрасного мяса»...

Дальше рассказывалось, что котлеты были обязательно приготовлены самой m-me Разлимоновой, которая в русском национальном костюме, так идущем к ее стройной изящной фигуре и прекрасному, чисто русскому типу лица, очаровала дорогих гостей. В заключение восторженный корреспондент рассказывал, что обед незаметно перешел в ужин, были танцы, где опять отличалась «несравненная» Варвара Михайловна, и что гости оставили зало уже далеко за полночь, унося с собой, конечно, воспоминание о том истинно русском хлебосольстве, которое, и проч., и проч... Я спрятал этот нумер газеты...

15

Зимой этого года и дяденька и тетенька приехали в Петербург «определять» детей. Привезли с собой и обоих Разлимоновых. Своих они рассовали по правоведению, лицеям, а «этих» отдали в какую-то военную гимназию.

— Знаешь, мой друг, средств у них никаких, так им и лучше даже, если попроще...

— Все равно... Отовсюду, тетенька, люди выходят. Было бы старание да послал бы господь успехи в науках...

— Ну, карьера-то хоть и не та у них будет, а все-таки...

— Конечно. И за это вам спасибо...

Мальчики действительно вышли такие шустрые, славные. Очень они мне понравились.

— А об «ней»-то ни слуху ни духу!..

— Нет-с. Известия, тетенька, имеются. Она в Сибири... Я даже в газетах читал...

— Что ж, мой друг, она там наделала?

— Ничего не наделала. Нашли там мамонта допотопного, и она из него котлеты жарила... У меня этот нумер есть. Хотите, я вам пришлю его? — сказал я.

— Ради бога!..

Я сделал ей это удовольствие...

Дня через два ко мне приехал дядя. Когда он вошел, я уж по лицу догадался, что он прибыл ко мне, чтобы сообщить нечто важное, чрезвычайное.

— Это ты, мой друг, дал тетеньке эту газету?..

— Я. А что?

— Не понимаю я... Как же это так... В газете напечатано, что она в Иркутске котлеты жарит, а я от нее на прошлой неделе получил письмо из Парижа...

— А вы в переписке разве?

— То есть так... о детях...

— Что ж тут удивительного. Была сперва в Иркутске, а теперь в Париже...

— Так скоро?

Мы сделали приблизительный расчет, и вышло, что корреспонденция из Сибири месяцев восемь тому назад, и, следовательно, в том, что она теперь в Париже, ничего странного нет.

— Что ж она вам пишет?.. Это не секрет? — полюбопытствовал я.

— Только ты тетеньке не говори... Она пишет, что полюбила всем сердцем одного молодого кафра и на днях едет с ним на мыс Доброй Надежды, где у него бриллиантовые россыпи...

Я невольно рассмеялся.

— Серьезно... Я не шучу...

Он подумал немного и спросил:

— Скажи мне, пожалуйста, они ведь черные?.. зубы белые?..

— Черные...

— И ведь все тело у них черное?

— Все...

— Не понимаю я ее...

Он и действительно был какой-то странный. Она озадачила его этим известием...

— Что ж такое, — сказал я. — Может, и в самом деле полюбила.

— Но как же дети-то, если у них будут, — тоже черные?

— Не пегие же... Разумеется, или белые, или черные... Что это так вас интересует?..

— Так... я все понять этого не могу...

— Боитесь, как бы она вам не прислала детей на воспитание?..

— Ну, уж это...

— А что ж вы поделаете? Возьмет да и пришлет вам парочку арапчиков...

— Тебе это, конечно, смешно... А мне... да и тетеньке...

Он даже не мог сказать, что бы произошло, если бы она в самом деле удрала такую штуку... Он так и уехал от меня в каком-то странном раздумье...

Года три или четыре тому назад, одним словом, в тот год, когда окончилась последняя война, из кругосветного плавания вернулась в Кронштадт наша эскадра. У меня очень много знакомых моряков. Как-то вечером в Летнем саду — это лето я жил в Петербурге — я столкнулся с несколькими из них, то есть вот из вернувшихся с плавания. Мы очень обрадовались друг другу, сели к столику, спросили вина, и начались воспоминания и расспросы о знакомых.

— Ах, голубчик, знаешь, кого мы видели на мысе Доброй Надежды?..

— Знаю. Разлимонову, — спокойно сказал я.

— Кто тебе говорил?

— Никто не говорил. Просто сам знаю — такой случай был.

— Ты знаешь, Кортиков ведь с ней еще и тут путался, и можешь себе представить, вдруг этакая встреча... и где же?.. в самом простом... понимаешь?.. Просила взять ее с собой. Но ведь на военных кораблях, ты знаешь, этого нельзя... мы, впрочем, все сложились и дали ей столько, что она может приехать, вернуться... И потом, она ожидала от кого-то из России денег... Она говорила, что у нее тут есть какой-то покровитель, который, если она напишет, наверно пришлет ей...

— А что же этот кафр, с которым она поехала туда из Парижа... у него какие-то там бриллиантовые россыпи?..

— Это вздор. Просто влюбилась в какого-то действительно кафра и увязалась с ним. Никаких россыпей у него и не бывало никогда... Ужасно изменилась. Ты бы не узнал ее...

— Похудела, постарела?

— Ужасно!..

— Когда же она хотела ехать?

— Обещала с первым же пароходом... да не думаем; ты ведь знаешь, как попали к ней деньги, так в тот же вечер она все их и спустит...

Я не знаю, прошел ли месяц после этого разговора, как я опять сидел в Летнем саду за тем же столиком и пил чай. Мимо столиков монотонно, с обычной скукой на лицах, как похоронная процессия, двигалась взад и вперед публика. Я заметил, что какая-то довольно прилично одетая высокая худая женщина очень часто проходит мимо нас и всматривается в меня. Я тоже стал за ней следить глазами, и мне показалось, что я ее как будто где видал... Наконец один раз, проходя мимо, она остановилась и назвала меня по имени. Я встал.

— Вы меня не узнаете?..

Когда она заговорила, я сейчас же узнал ее.

— Варвара Михайловна! Вы это? Что с вами?.. — невольно воскликнул я.

Она грустно улыбнулась.

— Очень я изменилась? Урод я стала?

— Вы ужасно изменились...

— Да, батюшка, всего насмотрелась... Видала всякие виды...

Я пригласил ее присесть; спросил, чего она хочет.

— Чего?.. Старину хотите вспомнить? Велите подать шампанского... только похолодней.

Когда лакей принес бутылку и хотел разливать вино, она не дала ему, взяла бутылку и налила сама.

— Я и там... и в Сибири и в Африке тоже всегда сама наливала, — сказала она...

Она взяла было фальшивый тон, хотела бравурничать, но она так поразила меня своим видом, что я никак не

мог вызвать улыбку у себя на лице и сидел, как сидят перед умирающим...

— Что ж вы не пьете?..

— Я не пью, — сказал я.

— Вы больны?.. — Она сделала какой-то сальный намек и рассмеялась...

«И это та самая Варенька, которую я видел тогда, во время «бунта»... потом у нас в поле на зайчиной охоте... на «шабаше»...» Я молчал, смотрел на нее и припоминал все это...

— Что вы так смотрите на меня? — спросила она.

— Да вот вспоминаю вас, какая вы прежде были...

— Э! есть о чем вспоминать!.. Вам не жаль еще бутылочку?

Вот уж кто-то этой осенью говорил мне, что она в Москве, больна и едва ли встанет...

V

ОВЦА

1

Мне как-то уж приходилось говорить, что чем-нибудь другим господь, может быть, и обделил меня, но только во всяком случае не родней, — преобширнейшая. Действительно, если я начну считать дяденек и тетенек, кузин и кузенов, я, наверно, спутаюсь: невозможно их сосчитать... Я очень редко, впрочем, встречаюсь с ними теперь. Это, однако, вовсе не потому, чтобы мы были в ссоре, а так как-то... Случилось, вышло так... Это бывает... Но лет двенадцать — пятнадцать назад было не так — я видел почти всех их ежегодно, и даже раза по два в год: я видел моих очаровательных кузин летом в кисейных и барежевых платьях, в пастушьих шляпках, украшенных живыми полевыми цветами, и потом на святках катался с ними же, укутанными в шубки и капоры, на тройках, читал им повести Крестовского, Боборыкина и даже философские этюды Страхова... С дяденьками я говорил о «рациональном хозяйстве», о «справедливых нуждах стесненного земледелия и землевладения», о грамоте императрицы Екатерины и т. п. Кузены были в гвардейских полках или в департаментах министерств, и потому я встречался и разговаривал с ними чаще здесь, в Петербурге, у Бореля, у Дорота, в Буффе... В деревню они приезжали редко, как-то внезапно, на двадцать восемь дней, и так же внезапно уезжали. Их приезды всегда, я помню, сопровождались некоторой двусмысленной таинственностью, огорчением тетенек, поездками дяденек к купцу второй гильдии Подугольникову и затем, весной,

исчезновением парка, выгона, части леса и проч. Вообще пребывание их в деревне, и для них самих и для их родителей, не думаю, чтобы было особенно приятное. Я гораздо больше любил встречаться с ними вот у Бореля, у Дюссо, у Дорота: тут они были игривы, милы, но в то же время, однако ж, исполнены достоинств, присвоенных их мундирам...

В отношении меня они все были добры, внимательны, и если мне не приходилось никогда обращаться к ним за протекцией и покровительством, то это единственно потому, что на избранном мною поприще они не могли мне оказать никакой протекции и покровительства, а вовсе не по недостатку в них родственных чувств или расположения. Напротив, будучи не в состоянии сделать мне что-либо полезное на избранном мною поприще, они, лишь только узнали о моем решении, один за другим начали не оставлять меня добрыми советами и предостережениями.

— Друг мой, — говорили одни, — ты вступаешь на путь самый скользкий... Тебя ждут испытания... И это ты делаешь в то время, когда перед тобой открыта такая карьера... При твоем знакомстве, при твоих связях...

— Вот видишь, мой милый, — говорили другие, — в обществе до сих пор еще смотрят на писателя, актера, музыканта (ты не смейся)... Конечно, Пушкин... но ведь и он, наконец, согласился, понял, что должен иметь какое-нибудь общественное положение... Будешь ли ты Пушкиным? Пожалуют ли тебя камер-юнкером?..

И так все мне говорили... Присутствовавшие при этом чужие говорили то же самое.

И хотя и тогда даже я не рассчитывал быть Пушкиным и не надеялся при моем образе жизни быть пожалованным камер-юнкером, делал, однакож, им некоторые возражения. Так, я, между прочим, говорил им, что род наш, несмотря на все свои подвиги, заслуги и жертвы, принесенные на алтарь отечества, остается не прославленным, и это происходит единственно потому, что между нами нет певца. Теперь же, с избранием мною этого поприща и при некоторой удаче, через оглашение их заслуг пред отечеством все же хотя до некоторой степени я приближу их к бессмертию... Но, хотя эту мысль мою они и находили достойной одобрения, относились

к ней, однако ж, с недоверием и подозрительностью. Во-первых, вопрос о их бессмертии связывался здесь очень неразрывно с личным моим бессмертием как певца, и потом — в каком виде они будут мною приближены к бессмертию?

— Вот что, мой друг, — говорили они, — ты добрый малый, но в тебе этого родственного чувства и вообще теплоты все-таки мало... Конечно, с летами «эти» идеи проходят... но...

И я живо помню, как однажды после такого разговора дяденька Михаил Васильевич обратился ко мне с таким вопросом:

— Вот ты учился в университете и знаешь, кто был Сперанский?

— Знаю.

— Умный это был человек?

— Ну, умный...

— Он был не из дворян, а все-таки, знаешь, что он написал?

И с этими словами дяденька встал, пошел к себе в кабинет и, принеся оттуда свод законов, раскрыл его и дал мне прочитать следующее место:

«Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и добродетели начальствовавших в древности мужей, отличавших себя заслугами: чем, обращая самую службу в заслугу, приобрели потомству своему нарицание благородное. Благородными разумеются все те, кои или от предков благородных рождены, или монархами сим достоинством пожалованы» (том IX, изд. 1876 г., ст. 15).

— Значит, и рассуждать об этом нечего, — сказал он...

В другой раз, беседуя за вечерним чаем в домашнем и родственном кругу о необъятном пространстве нашего отечества и о его неисчислимых богатствах, пока еще сокрытых в недрах, дяденька делал некоторые соображения и замечания по этому поводу.

— А отчего это, дяденька, — сказал я, — на севере, где уж начинается царство морошки, нет ни помещиков, ни карасей, ни дупелей?..

— Отчего? — спросил он и, пристально посмотрев на меня, сказал: — Оттого... ну да что с тобой толковать...

И вот через такие и подобные им вопросы и суждения между нами произошло не то чтобы охлаждение в родственных чувствах, а некоторое взаимное друг от друга отдаление. Когда поэтому два года назад я начал печатать первый том моего обширного сочинения о тех бедствиях и несправедливостях, которые привели, наконец, моих родственников и моих присных от цветущего состояния к оскудению, — они и в этой эпопее, внушенной мне самыми чистыми намерениями, увидали одну лишь над ними насмешку. Когда же в этом году я приступил к изображению несчастий и страданий тетенек и кузин, они уж прямо решили, что я, может быть и не сознавая этого, оскорбляю прах предков моих, давая совсем не то объяснение фактам, какое по-настоящему, как прирожденному дворянину, мне следует давать им...

Тем не менее, однакож, в заключение я все-таки решился рассказать здесь трогательную и печальную повесть одной моей дальней родственницы, Агнии Михайловны Гутаперчевой. Ею я и закончу очерки «нашего» семейного быта и воспитания у домашнего очага.

Покончив таким образом с «интеллигенцией» — «мы», конечно, «интеллигенция», хотя бы уж потому, что «мы» главные подписчики и читатели газет и журналов, — я перейду к очеркам старого, прежнего и теперешнего нового быта и положения тех, кто стоял между «нами», «интеллигенцией» и мужиками, то есть дворней... А потом пойдем и туда, в хлева, к «святой скотине»...

2

Такую странную фамилию — Гутаперчева — она получила, как будет рассказано это ниже, совершенно, можно сказать, случайно. Происходила же она от древнего дворянского рода Совесдраловых, младшей линии князей Подмышкиных. Дедушка Михаил Петрович Совесдралов, отец «тети Агнесы», был высокий, седой, или, правильнее, черно-седой мужчина, с длинными висячими усами и красным лицом. Маленький, я, помню, все удивлялся на его ноздри: большие, глубокие, подвижные. Таких ноздрей я ни у кого не видал. Раз как-то я был

с отцом на конюшне, и когда вывели ему какого-то жеребца, который все фыркал и храпел, раздувая ноздри, я сказал: «Смотри, ноздри у него совсем как у дедушки Михаила Петровича». Отец улыбнулся и сказал: «Они и то похожи друг на друга...» С этих пор я никак не мог отделаться от представления о жеребце при виде дедушки. Я доходил до того, что мне казалось, что дедушка и ходит-то совсем так же, как этот Визапур или Горностай на выводке. Он и действительно ходил как-то особенно, с вывертом. «А что, если бы ему Визапуров хвост привязать?» — думал я. Много общего с лошадиным ржанием было у него и в смехе. Такой громкий, раскатистый, с дрожью был у него смех. Также и глаза. Большие, черные, и когда он ворочал ими, белки так и блестели, как у Горностая. Короче, и тогда, маленькому, и потом, уж взрослому, он удивительно казался мне похожим на лошадь. Бабушка же Каролина Федоровна была маленькая худенькая немочка, с голубыми глазами и какой-то застывшей, неподвижной, вечно одинаковой и вечно распущенной, приятной улыбкой. У нее был какой-то порок, вследствие которого она была постоянно больна и на который дедушка ссылался как на оправдательный документ во всех своих многочисленных донжуанствах. Детей у них было всего только двое — сын Ванечка и дочь Агнеса. Женился дедушка на бабушке где-то во время стоянки в Польше. Дедушка служил в каких-то драгунах и во время «кампании» тридцатого года где-то ее там встретил, влюбился и женился. Кто она была раньше — этого никто не знал. То есть одни говорили, что она дочь булочника, другие — аптекаря, третьи — управляющего, но доподлинно никто ничего не знал. Дедушка же, да и сама она, говорили об этом очень неопределенно. Поэтому все раз навсегда порешили, что происхождения она неважного. Дедушка, вообще словоохотливый и нрава бешеного, хотя вскоре по приезде в деревню и наказывал ее на конюшне, но никому никогда об ее низком происхождении не проговаривался. При гостях он был с нею почтителен и даже любезничал, хотя все знали, что он ни вот настолько никаких чувств к ней не питает, потому что всякая горничная, всякая кружевница, всякая коверщица в их доме, и проч., и проч.

Дети не были особенно похожи ни на отца, ни на мать. И тетю Агнесу и дядю Ваню я помню, когда им было лет по семнадцати, по восемнадцати — они ежегодки. Дядя Ваня был худенький черненький юноша, с ласковой, приятной улыбкой, часто-часто целовавший ручки у «папеньки», у «маменьки» и у бесчисленных своих «тетенек» и кузин. Агнеса была, напротив, блондинка, с голубыми глазами, с ноздрями, несколько напоминавшими дедушкины, и необыкновенно полная, вялая, с целой горой вместо груди. В шестнадцать — семнадцать лет она казалась двадцатипятилетней. Мать, то есть бабушка, относилась к ним както безразлично. Дедушка же любил больше дочь.

— Этот лисица, хитрый... — говорил он про сына.

— Ничего. Это, дядя, вы ошибаетесь, — отвечала, бывало, ему матушка, когда мы бывали у них, что случалось, впрочем, довольно редко.

— А вот она будет и хорошая мать и хозяйка, — говорил он про тетю Агнесу. — Агния, поди сюда! — кричал он.

Агния вплывала в гостиную, подходила к отцу, он брал ее за руку, поворачивал, как лошадь, то передом, то задом, шлепал ладонью по лопаткам, говорил: «какова? ведь это капитал, государственный банк!..» — издавал свой, ржанию лошадиному подобный, смех, а она томно улыбалась и лишь несколько поводила плечами, как бы от удовольствия, что почесали в том именно месте, где чешется...

Тут как-то вскоре бабушка умерла от той самой болезни, которою все время была больна и про которую все доктора давно уж говорили, что она неизлечима, сколько бы ни делать ей операций. Я помню, все очень одобряли дедушку, что он сделал ей великолепные похороны, для которых были привезены даже архиерейские певчие, а кушанье готовил повар губернского предводителя.

— Это уж там бог их суди, как и отчего они так жили...

— И то сказать: она женщина больная была, а он этакий...

Одним словом, бабушку похоронили, и хозяйкой в доме, конечно чисто номинальной, стала теперь Агния. Она наливала чай, когда приезжали гости; перед ней ставили миску с супом за обедом и т. п. Дядя Ваня пребывал в Петербурге в училище статских юнкеров, где ему оставалось

пробыть еще три года. Дедушка еще больше стал сидеть на конюшне и еще чаще уезжать подолгу на охоту. Это было все в самый разгар Крымской войны. Я помню из этого времени даже одну маленькую сцену. Я был как-то у них с матушкой; дедушку дома не застали, и мы втроем (не считая все еще живших там гувернанток) — матушка, Агния и я рассматривали получавшийся тогда всеми почти помещиками «Художественный листок» Тимма. Когда я раскрыл какую-то страницу, на которой был портрет одного из молодых героев, хорошенького прапорщика с георгиевским крестом, Агния вдруг закрыла его своей белой, пухлой, как у архиереев, ручкой и сказала: «Ах, какой!..» Матушка подняла на нее глаза. Агния слегка покраснела и положила свое лицо ей на плечо.

— Вот этакого бы, — проговорила она и потянулась.

— А может быть, тебе, сироте, бог еще и лучше мужа пошлет...

— Нет, я хочу этакого...

3

Прошло года три. Севастопольская война кончилась. Возвратившиеся ополченцы рассказывали какие-то странные вещи. Они рассказывали о невероятных злоупотреблениях интендантов, о зуавах, о штуцерах... но самое интересное в их рассказах было уверение, что мир заключен с нами только под условием освобождения крестьян... Эти рассказы их казались тем более вероятными, что нечто подобное глухо и неопределенно доносилось и из Петербурга... Потянуло в воздухе чем-то новым. Так бывает, когда кто-нибудь незаметно отворит форточку, и в душную, накуренную комнату пахнёт свежим воздухом... Все оглянутся и потянут его носом. Всегда, конечно, найдутся боящиеся простуды и будут восставать против форточки. Но свежий воздух так хорош, так хорошо дышать им... Форточку подержат открытой еще немного и закроют: в комнате все-таки стало свежей, воздух чище... На свете все так... Наступала пора смущений, ожиданий, протестов, надежд, разочарований...

Наша тогдашняя помещичья жизнь не имела ничего общего с теперешней. Эту нашу тогдашнюю жизнь лучше всего сравнивать с огородом в жаркий июльский полдень. Репа, морковь, свекла — все распустило и повесило пыльные, завялые листья. Спит спаржа, земляника, груша, спят и подсолнечники, свесив головы... Тишина... Пахнет навозом, рыхлой землей... Существование действительно было беспечальное, и забот и волнений у нас было ровно столько же, сколько у свеклы или подсолнечников... Охота, конюшня, черт знает за чем поездка в уездный свой город, через три года поездка в «губернию» на баллотировку и — один раз в жизни событие этой жизни — поездка в Москву, в опекунский совет...

Только в такой жизни, на таком огороде могла вырасти такая репа, как «тетя Агнеса». Она всему верила, всем доверяла, все любила. Она ни над чем не задумывалась, ничем не беспокоилась, ничем не интересовалась. От чая до завтрака она все ела сливки с крендельками. От завтрака до обеда ела яблоки и после пела романсы на фортепиано. От обеда до вечернего чая сидела с ногами на диване и ела мармелад. От чая до ужина — орехи, и опять романсы. От ужина до засыпания чтение... Она читала что попадется... Она слышала, что все как будто чем-то смущены, о чем-то беспокоятся, но ей какое до этого дело? На огороде так тихо-тихо, все спит, завяло... Пáрит...

Великим постом, когда солнце начинает уж пригревать, на дворе и в поле показываются уж проталинки и пахнет весной, — она обыкновенно говела. Потом, когда от этих пригревов все больше и больше стаивал снег и с бугров и пригорков в овраги бежали ручьи, ее интересовало и заботило, когда, наконец, будет полая вода. Она выходила на берег и долго, по целым часам, раза два в день смотрела на синюю весеннюю воду в реке, на льдины, куда-то медленно плывущие. На троицу любила березки... Неизвестно, до каких пор продолжалось бы это ее невинное и блаженное состояние, если бы не случилось одно печальное обстоятельство, бывшее причиной многих для нее огорчений и недоразумений.

В ту пору у всех еще помещиков (в нашей по крайней мере губернии) были конные заводы. Это было совсем не то, что теперь. Тогда конюшня была — храм; теперь — лавочка. Конский завод в ту пору—культ, теперь—торгово-

промышленное предприятие. Очень понятно, что главную и самую видную в жизни роль играли и все те, кто играл ее в жизни конюшни. Так, например, теперь, с переменой всего, исчез и тип ремонтера — этого героя конюшни. То, что теперь называется ремонтером, даже не напоминает его. Я убежден, что ни один теперешний ремонтер, между прочим, и не осмелится даже попробовать сжевать рюмку или бокал; а те жевали... И такая разница во всем. Совсем другие люди. Это были какие-то оглашенные, на которых не было ни суда, ни расправы. Становые пристава, заседатели, станционные смотрители — все это трепетало, пряталось от них. Я мог бы рассказать легенды про них. Одни подвиги знаменитого Танькова — целый эпос. А таковы они почти все были. Я не могу и представить себе тогдашнего ремонтера иначе, как в расстегнутом сюртуке, в синих клубах табачного дыма, перед целыми батареями шампанских бутылок, за грудами карт и грудами пачек казенных денег. Они были, конечно, самые дорогие и самые желанные гости... У дедушки Михаила Петровича Совесдралова — крупного заводчика — был один из любимых их притонов. Там они собирались человек по пяти, по шести; жили недели по две, приезжали, уезжали, опять приезжали. Двери в гостиную обыкновенно запирались, но зато в остальных комнатах — столовой, зале, кабинете, диванной — шел дым коромыслом. И это случалось каждый год раза три или четыре. Но в последнее время он стал прихварывать, да к тому же эти беспокойства насчет эмансипации, разные предчувствия. Он как-то вдруг осел, ходил больше в халате, стал любить лежать на диване, перестал почти ездить к соседям... Подходила весна, ему стало хуже, он почти не вставал. В самую полую воду, когда Агния отговела и все осведомлялась у горничных, скоро ли тронется река, съехались к ним ремонтеры. Съехались — и хотя по причине его болезни им нельзя, неловко было устроить безрассветную попойку, но за разливом рек жить у него им все-таки пришлось около недели. Ему было то лучше, то хуже. От нечего делать они любезничали с хозяйкой, то есть с Агнией, пели ей романсы, ходили с ней на реку смотреть, как плывут и уплывают куда-то льдины, вечером опять пели романсы, крутили усы, вздыхали, устремляли на нее томные взоры, и все это вместе — ремонтеры и весенний воз-



дух — сделали то, что она, наконец, исполнилась желаний, не имеющих ничего общего с яблоками, орехами и мармеладом... В конце концов — который именно, неизвестно, но один из них сделался «счастливцем», а она через это самое «несчастной на всю жизнь»... Дедушка ничего этого, конечно, не подозревал даже. Реки прошли, ремонтеры разъехались, а ему становилось все хуже и хуже. Наконец дали знать Ванечке в Петербург, что «папенька» опасно болен. Ванечка в это время уж кончил курс в училище статских юнкеров и числился в каком-то департаменте. Он, разумеется, сейчас же прискакал. Старик проскрипел еще месяца два и умер. На похороны собрались соседи, родственники, и тут-то, в эти печальные дни, обнаружилась и другая беда: все заметили и узнали, что Агния беременна... Родственники и родственницы приняли эту печальную новость, разумеется, очень близко к сердцу и старались узнать имя виновника ее несчастия. Но Агния ничего не могла им ответить. Она откровенно рассказала все, как было, но кто виновник, то есть как его фамилия, — она не знала.

— Который пел: «Дайте мне сиянье дня»...

— Как же его звали?

— Володя... нет, это другого звали Володей, а это, кажется, Коля...

Ванечка был возмущен, убит, скомпрометирован... Он просил дяденек и «тетенек» помочь ему перенести эти два тяжких несчастия и поддержать его добрыми советами и участием... Когда дедушку похоронили и все соседи и более дальние родственники разъехались, собрался совет самых близких. Агнию вновь подвергли допросу. Она плакала, заливалась слезами, но все-таки ничего не могла прибавить к тому, что уж рассказала. Тогда было решено выдать ее как можно скорей замуж. Но кто же возьмет ее? Ванечка был в отчаянии. Во-первых, ему необходимо в департамент. Потом, необходимо и здесь: имение «папенька» так запутал, а тут еще этот сюрприз!.. Однако ж общими усилиями, по тщательном и всестороннем обсуждении, жениха нашли, то есть в выборе остановились.

— Но, боже мой, — восклицал Ванечка. — Знаешь ли, что его отца «папенька-покойник» не пускал никогда дальше передней, — говорил он сестре. — А теперь я дол-

жен буду сделаться его родственником. Да еще и он согласится ли?

Этот излюбленный на родственном совете жених был Никифор Васильевич Гутаперчев, сын нашего стряпчего, прослужившего какое-то баснословное количество лет и получившего, наконец, Владимира четвертой степени, дававшего (а как теперь?) потомственное дворянство. Сам Никифор Васильевич служил в каком-то уездном или земском суде дворянским заседателем.

— И ты должна будешь всю жизнь быть ему благодарной за это, — говорил ей Ванечка.

Шансы, что он согласится, были. Агнию, конечно, никто не спрашивал, да она и не протестовала. Какая-то из наших родственниц взялась это дело устроить и действительно его устроила, то есть съездила в город, «спосылала» за Никифор Васильевичем, с достоинством сообщила ему об ожидающей его чести породниться с фамилией Совесдраловых, и т. д., и т. д. Никифор Васильевич с кротостью и покорностью принял сделанную ему честь и дал согласие. Свадьбу сделали тихо, чуть не тайком. Ванечка не присутствовал, он должен был поспешить в департамент... По разделу с сестрой Задралово досталось ему, а ей — ее седьмая часть — сельцо Апенки. Но так как там не было усадьбы, то молодые и поселились там во «флигеле», который был там «для приезда» — когда приезжал туда покойник дедушка Михаил Петрович. Через четыре месяца она родила сына, которого и назвали почему-то Леонидом.

Он, то есть Никифор Васильевич, был с женой не только вежлив, но даже почтителен. Он никак не мог забыть, что он Гутаперчев, а она рожденная Совесдралова. То обстоятельство, что он получил ее с изъянцем, в его глазах представлялось чем-то вроде счастливой случайности. Не будь этого изъянца, ему, конечно, никогда бы не быть мужем ее и помещиком. Он всячески угождал ей. В третьем лице про нее он говорил не иначе, как «они». Дома, в усадьбе, которую тотчас же начал строить, был неутомим. Вставал в три часа утра, сам всюду лазил, все считал, сам прибивал гвоздики и т. п. Она относилась к нему как-то безразлично, даже с оттенком презрительности.

— Никифор Васильевич, принесите мне мармеладу.

Он побежит, принесет, она начнет есть и спасибо ему не скажет.

— Никифор Васильевич, вы опять этой вонючей розовой помадой намазались?

— Это я, душа моя... — улыбнется и на этих словах замрет.

— Никифор Васильевич! Это еще что такое?..

— Что, мой друг?

— Голубой галстук... Откуда это вы достали?

— А что? — робко, заискивающе спросит он и скажет, что это он намедни, когда был в городе, купил: самый модный, из Москвы.

— Кто же это, кроме лакеев, носит? Снимите, бросьте...

Тем не менее, однако ж, через год у него родился еще сын, и на этот раз настоящий, несомненный Гутаперчев. Тот, первый, был черненький, а этот и в мать и в отца — Никифор Васильевич белокурый. Этого они назвали Евгением. Сколько бы она родила ему их еще и чем бы это их семейное счастие закончилось, сказать, конечно, трудно. Но человек предполагает, а бог располагает; на третий год их супружества Никифор Васильевич вдруг заболел, хуже, хуже, оказалось, что у него оспа (маленькому ему не прививали), и он умер как-то совершенно неожиданно, одиноко, пóшло, — точно будто вся его жизнь нужна была только для того, чтобы прикрыть чужой грех. Эта смерть вызвала у родственников ее какое-то одобряющее и оправдывающее ее движение. Теперь, «без этого подьячего», все начали находить, что ее можно извинить. Точно он сам сделался помехой этому; точно он придумал эту свою женитьбу. Конечно, на ней было теперь два пятна. Во-первых, эта скандальная история, и потом фамилия — Гутаперчева; но они, оба эти пятна, как-то побледнели, расплылись, выцвели...

— Что, если б знал все это Михаил Петрович!.. Кто его зятем был...

Одним словом, она теперь представлялась очищенной, возможной... И мало-помалу, хоть робко и скромно, но она начала пользоваться.

Теперь начали думать и соображать, как бы сделать так, чтобы совсем ее очистить, то есть оба эти пятна снять с нее.

— Тебе надо мужа с хорошей фамилией. У тебя все-таки, мой друг, недурное состояние (тысяч десять доходу)... Тебе еще только двадцать четыре года... При твоей наружности...

В этот год летом она была у нас. Я не видал ее уж года три. На мои глаза, она нисколько не изменилась от всех этих передряг. Какая была, такой и осталась. Только взгляд у нее сделался еще более сонно-задумчивый, и если она на кого уставляла его, то могла смотреть так хоть полчаса. Говорит с кем-нибудь, смеется; потом вдруг уставится, задумается, а на щеках румянец так и вспыхивает, так и вспыхивает.

— Агния, что с тобой?

Она очнется и как бы испугается.

— А? Что?.. Это я так, — и еще больше покраснеет.

4

Я совершенно профан в физиологии, но я, однако ж, глубоко убежден, что Дарвин прав, утверждая, что люди произошли от обезьян: они и до сих пор ужасные обезьяны. Что ни начни, что ни затей — обезьяны явятся непременно. В большинстве такие обезьяны наивны, добродушны и если вредны, то разве только для самих себя. Но есть обезьяны и злостные, которые обезьянничают не от души, не по убеждению, так сказать, а с заранее обдуманным умыслом. Для этих обезьянничанье — маска, уловка при преследовании целей, не имеющих решительно ничего общего с теми, которым они, по-видимому, служат, про которые они всем так навязчиво рассказывают, что они им так дороги и любезны. Обезьяны этого сорта всегда вредны, а иногда бывают и очень вредны. Иногда доброе, честное, хорошее дело или начинание надолго тормозится потому только, что к нему много уж очень пристроится таких вот обезьян...

Люди вообще недоверчивы, напуганы, подозрительны, а у нас уж особенно. Во всяком новом деле, как бы оно ни было хорошо и честно, они непременно стараются отыскать заднюю мысль, какой-нибудь подвох... В этих поисках они наталкиваются чаще всего, разумеется, на обезьян, видят, что на уме у них вовсе не то, что на языке,

судят по ним об остальных, — и доверие к делу или начинанию подрывается. Люди рутины и реакции доканчивают остальное... Всему этому и не оберешься примеров... Тот, кто будет писать историю развития русской мысли, посвятит, конечно, половину своей книги описанию семейного кладбища этой мысли. Масса склепов на нем...

На обезьян и того и другого рода я особенно уж насмотрелся в шестидесятом и следующих годах. В ту пору в университете и вокруг него их было видимо-невидимо. Теперь их там почти нет. Теперь быть причастным к университету и невыгодно, да и... неудобно даже. Но тогда было иначе. Тогда университет и студент были в моде. Тогда умышленная обезьяна могла обделывать делишки; было выгодно, одним словом, было оттого и много их. Настоящее живое-то дело они затормозили, а свои делишки почти все обделали очень удачно. Очень многие из них вышли в «люди» и считаются людьми вполне порядочными... Они теперь очень строги в своих «убеждениях»... Об одном таком барине мне придется сказать сейчас несколько слов. Он не был студентом. Он был вольнослушателем (их было около тысячи). Звали его Константин Константинович Труханов. Это был очень высокий, широкоплечий брюнет, несколько рябоватый, остриженный под гребенку. Узенькие черные глазки то тревожно бегали у него, то пристально и упорно устанавливались на ком-нибудь, когда он слушал его. Ему было лет двадцать шесть, если не больше. По лицу он напоминал что-то восточное, кавказское, но он не говорил ни по-армянски, ни по-грузински. Зато он говорил, и очень хорошо, по-польски, по-малороссийски. Сам он рассказывал про себя, что произошел «от бобра и перепелки». Это происхождение свое — он говорил, что он «незаконный» сын, — и сам он и очень многие другие ставили ему чуть ли не в заслугу. Говорил он громко, резко, отрывисто, с акцентом, но каким-то неопределенным — ни польским, ни малорусским. Зимой он ходил в высокой малорусской шапке из сизых мерлушек. Очень часто он приходил в университет в высоких сапогах, в полушубке, но и эти высокие сапоги и полушубок были щегольские, заказные. Белье на нем всегда было свежее, тонкое. У него всегда были деньги... Он очень любил угощать табаком (он сам вертел папиросы). Вокруг него сформировался целый кружок. Но они

все казались перед ним такими барашками... Никто не знал, откуда у него средства... Он, однако, очень часто собирал подписки в пользу бедных товарищей и при этом всегда сам подписывал для студента более или менее крупную сумму... По «убеждениям» он был «непримиримый»... Его, однако, нередко встречали с красивыми барынями в бархате и в соболях. Это не были кокотки. Он говорил, что это его родственницы... Его встречали также с какими-то хлыщами в бобрах. Он говорил, что он водится с ними потому, что любит глумиться над ними... Он не поступил в университет, то есть не был студентом, по его словам, потому, что это есть формальность, которая ведет к патенту, а это против его «убеждений»... В университете в то время было несколько человек с громкими аристократическими фамилиями. Он их всех ругал за глаза, называл идиотами, но при встрече всегда очень любезно раскланивался. Во всяком случае и по наружности и по положению, которое он составил себе, — он выдавался... Очень многие, впрочем, — кто понаблюдательнее, — находили его крайне антипатичным. Было что-то ходульное, вздутое во всем: казалось, что он все делает «нарочно»... Ничего по внутренней, душевной, сердечной потребности. И это ему много вредило, многих отталкивало от него. Но у женщин... Там дело другого рода. Там требуется другое, так и логика другая...

Первые ласточки, прилетевшие с известием, что одной кисеи барышням мало, что она, наконец, наскучила, надоела им, что им также хочется чего-то нового, что более занятно, оригинально, — были, конечно, те, что́ опустились в университете... Они сами не знали хорошенько, чего именно они хотят. Они сознавали только, что кисея им надоела. Они видели вокруг себя пробудившиеся, веселые лица, глаза, блестевшие радостью и надеждой на что-то еще более хорошее, веселое, желанное... Они начали вслушиваться, всматриваться... Они пошли за толпой, которая и привела их к университету... От них нельзя было и требовать ничего большего. Где это они могли бы почерпнуть знаний, выработать себе цель, приготовиться?.. Ни гимназий, ни курсов, ничего этого ведь тогда не было.

Я помню появление этих ласточек. Они прилетели и радостно и пугливо долго всё оглядывались, чего-то боялись... Я был знаком со всеми ими — и это всё были

хорошие, прекрасные девушки. Конечно, знаний там было не особенно много — любая теперешняя гимназистка третьего класса заклевала бы любую из них, но я уж говорил ведь, что этого и требовать от них нельзя было. Не институты же «благородных девиц» могли дать им эти знания... За этими первыми ласточками прилетели другие, еще, еще, и скоро набралось их порядочно таки. Очень понятно, что явился второй и третий сорт между ними. Явились обезьянки, дурочки, которые пришли потому, что ходят другие. Так как они пришли не слушать, не учиться, а совсем с другими целями, то и начались преследования этих других целей. Обезьяны мужской породы это, конечно, сейчас смекнули. Начался соблазн. Начались эпизоды, анекдоты... Собственно говоря, ничего тут нет особенного: в церквах, в садах, в скверах — везде люди встречаются и приходят туда часто вовсе не затем, чтобы молиться или гулять, а с целями другими, но к этому все давно привыкли, а тут было дело новое, людям старого порядка оно не нравилось... они заговорили... Начали указывать, предсказывать... Началось недоразумение... Произошло то, чего и надо было ожидать и опасаться. Обезьяны и реакционеры свое дело сделали...

Я, однако, несколько увлекся и забежал вперед... Но это мне было необходимо: очень уж живой и деликатный вопрос-то...

В зиму шестьдесят первого года на лекциях в университете можно было встретить уж много девушек. Посещение университета положительно входило в моду. На лекциях можно было встретить слушательниц «даже из общества». Конечно, эти являлись не иначе, как под присмотром маменек, тетенек, гувернанток, с красивыми тетрадками, в корсетах, в темных кашемировых платьях, с постными лицами... Они были вредны в том разве смысле, что студенты им уступали места, а сами ютились кое-как, стоя в проходах, даже на окнах... В этом году, в середине зимы, так, должно быть, в декабре, перед святками, я сидел на лекции профессора Стасюлевича.

Аудитория была битком набита. Он читал философию истории. Было, разумеется, много барышень. Чтó уж они там могли понять — их дело, но их было много. Когда лекция кончилась и все начали выходить, в толпе мне померещилось чье-то очень знакомое лицо. Я начал сле-

дить, всматриваться, и — о удивление! — это была тетя Агнеса. «Господи, тебя только тут не хватало!..» Из деревни мне об ней ничего не писали, что она собирается в Петербург, сам я ее тоже нигде не встречал, так что я даже и не знал, что она здесь. Я, конечно, протискался к ней. Она увидела меня и распустила свою сонно-усталую улыбку. Мы поздоровались.

— Как ты сюда попала? — спросил я.

— Ах... все... как хорошо... это теперь принято.

— Что принято? Ездить на лекции?

— Да...

— Как ездят летом на елагинскую стрелку?.. Милая моя, ведь ты же ничего тут не понимаешь... Ты не сердись на меня...

— Если чего я не пойму, мне потом Константин Константинович объясняет...

Я, конечно, не подозревал о ее знакомстве с Трухановым и спросил, какой это такой Константин Константинович? Она назвала именно его.

— Ты как же с ним знакома? Ты давно здесь?

— Второй месяц... Меня познакомил с ним мой доктор...

— Ты разве больна. Приехала лечиться?

— Да... у меня такие приливы к голове... к сердцу... Я просто не знала, куда деваться...

— Ну, а теперь?

— Теперь лучше...

Она подняла на меня глаза и почему-то, веселая, радостная, закраснелась...

— Ты здесь одна или с детьми? — спросил я.

— Нет, одна... Я их там... в деревне, с гувернанткой оставила... Она такая славная... Я за них спокойна...

Я спросил, где она стоит.

— В Демуте... Там так хорошо...

— И долго ты тут пробудешь?

— До весны... А потом за границу... И потом, тут безопасней... Говорят, теперь скоро объявят эмансипацию...

— А как же дети-то?

— Ну, кто ж детей тронет...

Она сказала, что устала и уезжает из университета. Я пошел с ней проводить ее до подъезда.

— Ты заходи ко мне... Заходи сегодня вечером чай пить... И он будет.

— Кто «он»?

— Константин Константиныч...

— Хорошо, — сказал я.

Когда я проводил ее и воротился наверх, на одном из окон того громадного коридора, что идет вдоль всех аудиторий, свесив ноги и болтая ими, сидел Труханов. Несколько студентов стояло тут же, говорили с ним и вертели из его портсигара папироски. Мы в этот день еще не видались с ним, и он поздоровался со мной. Он, должно быть, не сталкивался с Агнией и не видал, как я провожал ее.

— Ты только пришел? — спросил он.

— Нет, я уж давно здесь. Я Агнию Михайловну сейчас провожал.

Он вскинул на меня глаза.

— Ты разве знаком с ней?

— Да ведь она мне тетка... — сказал я.

Он так и остановился.

— Ты шутишь?

— Нисколько.

— Нет, серьезно?..

— Серьезно... Что ж тут удивительного? У меня много таких теток... Может, и еще приедут сюда... Да вот ужó у нее увидимся... Она сказала, что ты будешь... ужó в Демуте...

Было очевидно, что она ему ничего обо мне раньше не говорила — вероятно забыла, — и вот теперь только он узнавал об этом от меня... Он еще раз спросил, не шучу ли я, потом совершенно овладел собой и уж очень спокойно и, по-видимому, совершенно равнодушно сказал, что познакомился с ней недавно, что она, кажется, очень добрая, хорошая женщина, но мало развитая, и потому он посоветовал ей ходить в университет: «все хоть чему-нибудь научится!» — сказал он. Когда я оставил его и пошел, он крикнул мне:

— Так ты будешь там ужó?

— Непременно.

Ужó, когда я пришел к Агнии, он уж был там. Они сидели и пили чай. Она занимала большой хороший номер в три комнаты. Они, разумеется, уж переговорили обо мне,

условились, столковались, но она была глупа и то и дело сбивалась, выдавала и себя и его. Он злился, — это было очевидно, — а меня это потешало. Я смеялся, рассказывал, вспоминал про старое, как ее выдавали тогда замуж за Гутаперчева и проч.

— И вы оба это находите смешным? — ядовито улыбаясь, спрашивал он.

— Конечно, смешно...

— Вот среда-то!

Мне хотелось дразнить его.

— Отличная среда, — сказал я. — Веселая...

Но она своей глупостью злила его больше всяких моих намеков и противоречий. Так, она проболталась, что если бы не он, то ее здесь страшно бы все обсчитывали.

— А теперь не обсчитывают?

— Теперь он расплачивается... Деньги как присылают из деревни, я их ему отдаю. И мне покойней, и не обсчитывают...

— Это, однако, ужасная обуза, Агния Михайловна, и я от этого с первого числа откажусь. Теперь вы уж осмотрелись, привыкли к Петербургу... — сказал он.

Она сдуру начала его упрашивать, нежничать...

Я слушал, смотрел и улыбался.

Это продолжалось уж около часа, и мне они оба начали уж надоедать. В самом деле, какое мне до них дело? Я стал собираться уходить. В это время в номер вошел лакей и доложил, что пришел портной и принес халат. Она чуть-чуть не вскрикнула от радости:

— Ах, готов! Где же он? Вели сюда подать.

Он — я видел — вдруг вспыхнул и потом стал медленно бледнеть, даже губы побледнели.

— Кому же это халат? — спросил я.

— Это я ему, Константину Константиновичу, — улыбаясь своей сонно-усталой улыбкой, сказала она, взглянула на него и тут только по его бледности поняла, чтó она наделала. Он сидел и молчал. Мускулы на щеках подергивались. Он усиленно курил, затягивался, отдувался. Принесли халат — какой-то восточной материи, с пунцовыми отворотами и обшлагами...

Мне хотелось донять его, что называется, до точки, и я начал предлагать примерить халат...

— Это уж ты и примеривай, — выговорил он и сухо кашлянул.

— Как же я буду примеривать его. Ты выше меня, — сказал я.

— А я с какой стати буду примерять. Мало ли что Агнии Михайловне придет в голову... Я подарков не принимаю.

Но портной окончательно зарезал его, сказав, что беспокоиться нечего — сделан верно, по мерке, и примеривать не стоит... Сцена вышла уж крайне глупая. Все молчали. Портной вынул счет и молча положил его на стол.

— Теперь изволите отдать или завтра прикажете прийти? — спросил он.

— Завтра, — сказал он.

Портной ушел Когда мы остались одни, она начала его упрашивать принять халат... на память... от нее...

Я встал и начал прощаться.

— Ты куда же? Пойдем вместе, — сказал он.

— А халат вы возьмете? — приставала она.

— Нет-с. Я уж сказал вам...

Он тоже простился и пошел в переднюю надевать пальто. Она позвала его:

— На минутку!

Я слышал, что он ей глухо, полушепотом и скоро-скоро что-то выговаривал. Потом, должно быть, они говорили уж совсем шепотом, потому что я уж ничего не слыхал.

— Это ужасная вещь, эти женщины, — начал он, когда мы спускались по лестнице. — Особенно провинциалки... Они могут положительно скомпрометировать человека. Могут подумать бог знает что...

Я молчал. Мы вышли и повернули к Невскому.

— Ты что ж молчишь? — спросил он.

— Да что ж говорить?

— Гм!.. Ты, кажется, думаешь, что я у нее на содержании? Обираю ее?

— Ничего я не думаю. Мне какое дело!

— Нет, ты должен высказаться.

Я взглянул на него и усмехнулся.

— Почему же это я должен?

— Потому, что мы товарищи. Между нами не должно быть недоразумений... Эта история может разойтись по университету...

— О! Нет... об этом не беспокойся...

— Ты должен меня выслушать... Иначе как же мы будем подавать друг другу руку?

— А если хочешь — сделай одолжение и не подавай: плакать не буду... У тебя своя дорога, у меня — своя.

На Невском мы с ним распростились.

— Ты завтра когда будешь свободен? — спросил он.

— Не знаю... Целый день свободен.

— Я к тебе завтра зайду... Я тебе все расскажу...

— Заходи.

Он повернул в одну сторону — я в другую.

На другой день в университете мы с ним встретились. Он был очень серьезен, сух. Поздоровался со мной и сказал:

— Пойдем куда-нибудь вместе обедать сегодня... Там и поговорим...

— Брось. Ну, о чем мы будем говорить?..

— Значит, ты отказываешься меня выслушать. Обвиняешь и не хочешь знать моих оправданий? Да?..

— Хорошо. Только не обедать, а лучше приходи ко мне вечером...

Мне не хотелось с ним пить, чтобы не сказать лишнего, чтобы не увлечься в ту или другую сторону, чтобы (может быть) не поверить ему, если очень хорошо станет говорить и доказывать...

Он пришел ко мне часов в восемь.

— Чаю хочешь?

— А можно послать за вином? Или хоть пива.

— Ты пей — я не буду.

— Один и я не буду.

Минут десять прошло в том глупом разговоре, который всегда предшествует настоящему разговору об интересующем деле. Наконец он начал:

— Вот видишь. Я встретился с ней случайно... Я буду коротко говорить... Она рассказала мне свою жизнь... Ведь это ужас, что с ней там делали!.. Я захотел помочь ей... раскрыть ей глаза, хоть немножко развить ее... Натура у нее богатая...

Он посмотрел на меня. Я улыбнулся.

— А не знаешь, одна она уехала туда или с этим вот барином, что ходил все к ней?

— Нет, с ним-с...

Я уехал в деревню. Там уж была весна, все зелено, в цвету... До тети ли Агнесы тут?.. Но как-то через неделю или через две кто-то вспомнил про нее и спросил меня, правда ли, что она всю зиму в университет на лекции ходила?

— Да; я встречал ее.

— Что ж она там делала?

— Слушала.

— Чудная... Детей здесь бросила, а сама там. Наверно, опять какая-нибудь история выйдет.

Мне не хотелось говорить, что «история» уж вышла. Я не сказал даже, что знаю, что она уехала за границу. Промолчал и заговорил о чем-то другом.

Жизнь в деревне в то время кипела ключом. От страха перед мужиками не осталось и тени. Эмансипацию объявили, и они всё такие же, как и были... Что-то радостное ощущалось всеми. Все верили в будущее, все забывали прошлое, все мирились с необходимой в таких случаях неурядицей настоящего... Молодежь, приехавшая в деревню на лето из гимназий и университетов, привезла еще больше одушевления и светлого, веселого настроения. Я такого веселого времени не помню в деревне, да и не увижу, конечно, никогда опять... В августе этого года я первый раз пошел, не зная когда вернусь, на охоту, с тем чтобы встретить не одних только бекасов и дупелей — не ими одними только заняться. Я собрался идти вдвоем с Бердебой.

— Куда же вы пойдете? — спрашивал отец.

— А вот так... туда, сюда...

— Для первого раза ты повертись в своем уезде... Здесь все-таки народ знакомый...

Мы действительно так и сделали. Проходили недели три и кружились не дальше ста — двухсот верст от дому. Походим денька три-четыре по деревням и зайдем к кому-нибудь из помещиков. Разумеется, всегда рады, расспрашивают, как это так мы зашли пешком за двести верст от дому?.. Поживем денек, и — дальше. Скитания наши были самые настоящие; мы положительно не знали, где именно мы, откуда и куда идем. Так вот, случайно,

— Потому, что мы товарищи. Между нами не должно быть недоразумений... Эта история может разойтись по университету...

— О! Нет... об этом не беспокойся...

— Ты должен меня выслушать... Иначе как же мы будем подавать друг другу руку?

— А если хочешь — сделай одолжение и не подавай: плакать не буду... У тебя своя дорога, у меня — своя.

На Невском мы с ним распростились.

— Ты завтра когда будешь свободен? — спросил он.

— Не знаю... Целый день свободен.

— Я к тебе завтра зайду... Я тебе все расскажу...

— Заходи.

Он повернул в одну сторону — я в другую.

На другой день в университете мы с ним встретились. Он был очень серьезен, сух. Поздоровался со мной и сказал:

— Пойдем куда-нибудь вместе обедать сегодня... Там и поговорим...

— Брось. Ну, о чем мы будем говорить?..

— Значит, ты отказываешься меня выслушать. Обвиняешь и не хочешь знать моих оправданий? Да?..

— Хорошо. Только не обедать, а лучше приходи ко мне вечером...

Мне не хотелось с ним пить, чтобы не сказать лишнего, чтобы не увлечься в ту или другую сторону, чтобы (может быть) не поверить ему, если очень хорошо станет говорить и доказывать...

Он пришел ко мне часов в восемь.

— Чаю хочешь?

— А можно послать за вином? Или хоть пива.

— Ты пей — я не буду.

— Один и я не буду.

Минут десять прошло в том глупом разговоре, который всегда предшествует настоящему разговору об интересующем деле. Наконец он начал:

— Вот видишь. Я встретился с ней случайно... Я буду коротко говорить... Она рассказала мне свою жизнь... Ведь это ужас, что с ней там делали!.. Я захотел помочь ей... раскрыть ей глаза, хоть немножко развить ее... Натура у нее богатая...

Он посмотрел на меня. Я улыбнулся.

— Ты не веришь?

— Конечно, нет. Разве я ее не знаю?

— О, не говори! — с притворной мягкостью и как бы упреком мне воскликнул он. Потом он начал все скорей и скорей говорить о том, что она может при своих средствах много добра сделать. Что таких людей надо оберегать, что это долг каждого из нас. Если ее не беречь, не предупреждать, ее непременно оберут... Что он принял на себя щекотливую действительно роль, что она бестактна в своей доброте, как, например, было вчера, но что он сумеет стать выше сплетен, если бы они и явились...

Я опять повторил, что об их отношениях я никому не говорил и говорить не буду. Это их дело.

— Знаешь что? — вдруг сказал я.

— Что?

— Она тебе нравится?

— То есть?..

— Женись на ней...

Он посмотрел мне в глаза, улыбнулся, немного подумал и вновь с улыбкой уставился на меня:

— Ну, об этом надо еще подумать... Я вообще идеи брака не понимаю...

— А так-то за что же ее, бедную? То ремонтеры, то по тетенькиному приказу Гутаперчев, то вот ты теперь...

Подобные разговоры никогда ничем не кончаются, никого ни в чем не разубеждают, ничего не изменяют. То же, разумеется, случилось и тут. Я очень хорошо понял, в чем дело, и он меня нисколько ни в чем не разуверил. Но он ушел успокоенный насчет того, что я ничего не разболтаю про их отношения.

— Нет, придет время, и ты скажешь, что ошибался, когда сомневался, что я честный человек, — сказал он, когда уходил и надевал уж пальто.

— Ну, и отлично.

Я заметил, что после этого он как-то реже стал мне попадаться на глаза. Ее я встречал тоже очень редко на лекциях: в неделю раз, много два. В университете (конечно, по его приказу) они держали себя как шапочные только знакомые. Они никогда почти не ходили и не разговаривали. Никогда не уезжали вместе. И догадаться

нельзя было... Раз я заметил, что она стоит внизу, в швейцарской, и как будто кого-то поджидает. Немного погодя он мне попался, и я ему сказал об этом.

— Во всяком случае не меня. Чтобы не было сплетен, я ее просил со мной здесь не говорить. Я берегу ее репутацию.

— А кстати и свою...

Я бы этого не сказал может быть, но он уж как-то очень успокоился, что все шито и крыто, и мне стало досадно на него за это... Он ничего не ответил, ухмыльнулся, пожал плечами и заговорил с кем-то из товарищей.

Так уж великим постом, должно быть, «тетя Агния» попалась мне в университете остриженною. Я невольно остановился, как увидал ее.

— Это для чего же?

— Остриглась-то я? — спросила она и взялась рукой за волосы.

— Да.

— А знаешь, так ловчей... голове легче...

«Ну, совсем «овца». Даже стриженая», — невольно подумал я...

И на вид она как будто изменилась, как-то осунулась, побледнела. Я поговорил с ней немного и отошел.

— А ведь она беременна, кажется? — сказал мне кто-то из товарищей, указывая на нее глазами. — Ты посмотри-ка.

Я посмотрел. В самом деле, что-то подозрительное.

— А господь ее знает. Это ее дело.

— Конечно, ее.

После этого я ее не видал в университете. Он бывал каждый день, но ее я не видал.

Наступила, наконец, весна; по улицам — лужи, грязь. Нева посинела и «надулась». Экзаменов не приходилось сдавать. Мы начали собираться по домам на лето. Дня за три до отъезда мне надо было к кому-то из приезжих земляков зайти в Демут. Я вспомнил про «тетю Агнесу» и спросил швейцара.

— Они уехали.

— Давно?

— Дней пять.

— Не знаешь, куда?

— За границу...

— А не знаешь, одна она уехала туда или с этим вот барином, что ходил все к ней?

— Нет, с ним-с...

Я уехал в деревню. Там уж была весна, все зелено, в цвету... До тети ли Агнесы тут?.. Но как-то через неделю или через две кто-то вспомнил про нее и спросил меня, правда ли, что она всю зиму в университет на лекции ходила?

— Да; я встречал ее.

— Что ж она там делала?

— Слушала.

— Чудная... Детей здесь бросила, а сама там. Наверно, опять какая-нибудь история выйдет.

Мне не хотелось говорить, что «история» уж вышла. Я не сказал даже, что знаю, что она уехала за границу. Промолчал и заговорил о чем-то другом.

Жизнь в деревне в то время кипела ключом. От страха перед мужиками не осталось и тени. Эмансипацию объявили, и они всё такие же, как и были... Что-то радостное ощущалось всеми. Все верили в будущее, все забывали прошлое, все мирились с необходимой в таких случаях неурядицей настоящего... Молодежь, приехавшая в деревню на лето из гимназий и университетов, привезла еще больше одушевления и светлого, веселого настроения. Я такого веселого времени не помню в деревне, да и не увижу, конечно, никогда опять... В августе этого года я первый раз пошел, не зная когда вернусь, на охоту, с тем чтобы встретить не одних только бекасов и дупелей — не ими одними только заняться. Я собрался идти вдвоем с Бердебой.

— Куда же вы пойдете? — спрашивал отец.

— А вот так... туда, сюда...

— Для первого раза ты повертись в своем уезде... Здесь все-таки народ знакомый...

Мы действительно так и сделали. Проходили недели три и кружились не дальше ста — двухсот верст от дому. Походим денька три-четыре по деревням и зайдем к кому-нибудь из помещиков. Разумеется, всегда рады, расспрашивают, как это так мы зашли пешком за двести верст от дому?.. Поживем денек, и — дальше. Скитания наши были самые настоящие; мы положительно не знали, где именно мы, откуда и куда идем. Так вот, случайно,

наткнулись мы и на усадьбу «тети Агнесы». Дело было уж под вечер. В деревне мы спросили какую-то бабу, чья это усадьба.

— Была Совесдраловская, а теперь Гутаперчевой.

— Барыни-то вашей дома нет? — спросил я.

— Нет, кажись дома. Они уж недели три как вернулись.

— Да?.. — удивился я. — Одна вернулась-то?

— Нет, привезли какого-то... управляющий, надо быть, что ли...

Идти к ним мне не хотелось, а глупая баба ничего не могла толком рассказать.

— У вас тут есть постоялый двор? — спросил я ее.

— Как же. В таком селе да чтобы не было постоялого двора. Два даже есть.

Она нам указала где, и мы пошли туда. Тот, в который мы попали, содержал чей-то соседний отпущенник, бывший когда-то буфетчиком, поваром, музыкантом и еще чем-то. Старик оказался исполненным достоинств, необыкновенно серьезным, но вместе и разговорчивым, как это, впрочем, всегда бывало у старых дворовых.

— Конечно, сударь, это дело не наше... А все-таки удивительно... После такого наказания, какое они вынесли от родственников, и опять за то же дело принимаются...

Он намекал на замужество ее с Гутаперчевым.

— А может, он женится на ней.

— Не похоже-с...

— Что ж, он за управляющего идет?

— И опять невозможно-с... Почивать изволят в одной комнате... Распоряжения по хозяйству никакого... всё на старосте... И потом, бог знает для чего, рощу продали на днях купцу...

— Деньги, значит, нужны...

— Видел я его намедни... И что они в нем нашли? При их телосложении, и этакая, можно сказать, пичужка...

— Кто это пичужка-то?

— А я про барона-с докладываю.

— Про какого барона?

— Которого привезли-то они с собой.

Я ничего не понимал.

— Маленький, черненький, жиденький, ножки как жердочки... — продолжал он.

«Господи, это опять уж, значит, новый», — подумал я. И в самом деле, оказался «новый»... В таком случае, надо пойти посмотреть, что это такое.

— А ведь я тебе неправду сказал, что не знаю ее: я ее знаю...

— Что же я буду теперь делать? — испугался старик. — За мои речи притеснения ведь мне будут теперь.

Я, конечно, успокоил его и пошел.

Было уж темно. В доме зажгли свечи. Я застал их в столовой... Агния, конечно, не ожидала меня, удивилась и несколько даже смутилась. Она была в белом пеньюаре, с розовым бантом; он в каком-то сереньком летнем костюмчике, в пестром галстуке.

— Как это ты? Вот уж...

Мы поздоровались. Я сказал, как я попал сюда. Она представила нас друг другу.

— Барон Татаки... Барон был так добр... — начала она, — что положительно спас меня из когтей... Если бы не барон, я не знаю, что бы со мной было.

Я смотрел и слушал. Барон — действительно, и на вид ничтожная личность — с сознанием своего достоинства, любовно и скромно взглядывал на нее и тоже молчал.

— Ты ведь, кажется, за границей была? — спросил я.

— В Германии, в Швейцарии мы были... Мы хотели было в Париж, но отложили поездку до будущего лета. Барон находит, что надо сперва здесь устроиться...

Когда барон куда-то ушел и мы остались одни с ней, она начала мне рассказывать свои похождения.

— Ты только, тетя, не лги, говори правду, — сказал я. — Я ведь все знаю.

— Я тебе правду говорю. «Он» со мною ведь ужасную вещь сделал. Мне даже совестно говорить тебе...

— Ничего, говори... ведь мы свои...

— Ты знаешь, ведь он меня высек...

— Как высек?!.

— Завез меня в Швейцарию... Я родила в Германии и только оправилась, он повез в Швейцарию... Там и высек...

— Да за что высек-то?

— А вот за барона... Мы познакомились с ним, то есть я познакомилась и стала больше доверять барону... Ну, он с товарищами... ночью... и высек...

— И с тех пор он тебя бросил, а ты с этим... бароном?

— Да... Ты знаешь, ведь он от Палеологов происходит... у него все документы есть...

— Да тебе-то что за дело... Обещает он разве жениться на тебе?

— О, непременно... Вот как только устроимся в Петербурге... Наймем квартиру, отделаем, и — он и женится...

— И ты думаешь, что он не надует тебя?

— Кто, барон? Он так любит меня.

— Да ведь и тот любил, а чем кончилось-то?..

— Ну, тот был такой... Совсем мужик...

За ужином барон мне сам подробно рассказывал о своем происхождении от Палеологов, о том, как он безумно полюбил ее и как устроятся в Петербурге...

Наутро, чуть свет, я уехал от них.

Само собой разумеется, что и барон одурачил ее. Потом был еще какой-то. Наконец имение удалось взять в опеку. Детей отдали в корпус, то есть военную гимназию. Теперь, то есть вот это последнее время, она угомонилась, живет в деревне, расплылась. Кроме попадьи, становихи и еще каких-то чиновниц из уездного города, никто у нее не бывает, и сама никуда не ездит... Но я иногда заезжаю к ней. Я смотрю всякий раз на нее и ищу у ней на лице следов всего пережитого ею.

Никаких...

ПРИМЕЧАНИЯ



«Оскудение» при жизни С. Н. Терпигорева выходило в следующих изданиях: 1) «Оскудение (Очерки, заметки и размышления тамбовского помещика)». — «Отечественные записки», 1880, №№ 1—12, за подписью: «Сергей Атава», в последнем очерке — «Сергей Терпигорев (С. Атава)»; данные очерки затем составили первую часть произведения. 2) С. Н. Терпигорев (Сергей Атава). Оскудение. Очерки помещичьего разорения. Часть первая. Издание Ф. Н. Плотникова, СПб., 1881; в это издание вошли очерки, опубликованные в «Отечественных записках». 3) «Пять глупых дев. Очерки, заметки и размышления тамбовского помещика». — «Новое время», 1881, №№ 1880, 1885, 1887, 1914, 1921, 1928, 1931, 1935, 1942, 1949, 1956, 1963, 1967, 1977, 1984, 1991, 1998, 2005, 2012, 2019, 2026, 2033, 2040, 2049, 2054, 2086, 2093 и 2098, за подписью: «Сергей Атава»; печатание очерков было начато 24 мая и закончено 31 декабря; эти очерки затем составили вторую часть «Оскудения». 4) Сергей Атава (С. Н. Терпигорев). Оскудение. «Благородные». Том первый. Отцы. Издание второе. Изд. М. О. Вольфа. СПб. — М., 1882; Оскудение. «Благородные». Том второй. Матери. Издание М. О. Вольфа, СПб. — М., 1882; это двухтомное издание «Оскудения», впервые объединившее обе части произведения, было и последним, осуществленным при жизни автора.

В 1899 году «Оскудение» составило тома I и II шеститомного собрания сочинений С. Н. Терпигорева, которое осуществил издатель А. Ф. Маркс (под редакцией С. Н. Шубинского). По свидетельству редактора, некоторую работу по подготовке издания успел перед своей кончиной проделать сам автор, но так как доли работы редактора и писателя трудно определимы (см. об этом далее) и издание осуществлялось уже без контроля писателя, то

данное издание не может быть признано бесспорным в текстологическом отношении.

В настоящем издании за основу взят текст издания 1882 года с исправлением вкравшихся ошибок (опечатки, пропуски, искажения отдельных слов и т. п.) по первоизданиям и отчасти по тексту Собрания сочинений.

О времени возникновения замысла и начала работы писателя над очерками «Оскудение» точных сведений не имеется. В воспоминаниях о Терпигореве по-разному освещается этот вопрос. Так, в некрологической статье А. Фаресова замысел произведения связывается с именем Некрасова: «Он был однажды на охоте с Некрасовым и на привале рассказывал поэту сцены начинающегося оскудения помещиков, своих родных и соседей... Некрасова заинтересовали его рассказы, и он спросил, почему тот не напишет историю оскудения.

— Мне уж поздно начинать писать, Николай Алексеевич, перевалило за тридцать лет, сил много потрачено.

— А что ж, и по скошенному лугу иногда атава хорошо растет, — отвечал Некрасов. — Попробуйте-ка.

С. Н. Терпигорев попробовал и в память этого разговора назвал себя Атавой».[1]

Если учесть, что данный разговор мог состояться лишь до последней болезни Некрасова, а также то, что псевдоним «Сергей Атава» появился уже в 1869—1870 годах под очерками «В степи» и затем под комедией «Слияние», то станет очевидной неточность рассказчика: видимо, разговор с Некрасовым имел место в связи с названными ранними произведениями Терпигорева, хотя не исключена возможность, что уже тогда перед писателем возникали контуры его эпопеи дворянского пореформенного оскудения: очерки «В степи» дают все основания для такого заключения. Другой рассказ, своими деталями поразительно напоминающий свидетельство из статьи Фаресова, замысел «Оскудения» связывает с именем Салтыкова-Щедрина: «Как-то раз в Тамбовскую губернию приехал на охоту Салтыков. Терпигорев, принимавший участие в охоте, стал, со свойственным ему талантом и юмором, рассказывать разные эпизоды из жизни дворян после освобождения крестьян, рассказывал о том, как дворяне спускали в столицах полученные деньги и пр.

---

[1] А. Фаресов. С. Н. Терпигорев (Атава). (Вместо некролога). — «Новое слово», 1895, № 9, стр. 103.

— Вы бы всё это описали, — предложил Салтыков, — вышли бы интересные очерки.

— Какой я писатель! — произнес любимую свою фразу Атава, но все-таки исполнил желание Салтыкова и вскоре прислал ему первый свой очерк, потом второй, а затем, переселившись в Петербург, принялся и за остальные».[1]

Хотя мемуарист уверяет, что эту историю «рассказал сам Сергей Атава», она сомнительна. По свидетельству самого Терпигорева, он очерки первый и второй не присылал, а сам принес в октябре 1879 года в редакцию «Отечественных записок» (см. об этом ниже); не говорит ничего писатель в своих воспоминаниях и об истории своей работы. Нет свидетельств об этом и в биографии Салтыкова-Щедрина. Очевидно, что оба первые очерка были созданы в том же 1879 году до октября месяца; в практике творческой работы Терпигорева неизвестны случаи, чтобы его произведения создавались задолго до их опубликования. О работе над дальнейшими очерками писатель свидетельствует: «Я писал каждый очерк к книжке, не заготовляя их вперед».[2] О том, что очерки писались непосредственно перед их опубликованием, говорит и другое признание писателя, содержащееся в его очерке «На родине» (1882). «Два года назад, чувствуя себя уже на склоне лет, я решил исполнить в отношении ее (родины, — имеется в виду родная писателю Тамбовская губерния. — *Н. С.*) мою последнюю обязанность — воспеть ее страдания и лишения, которых я был свидетелем за все то время, как стал себя помнить. С этой целью я предпринял написание обширного сочинения, под заглавием «Оскудение»...[3]

Таким образом, все приведенные данные говорят о том, что замысел произведения у писателя возник, видимо, еще в 60-е годы, но созрел и оформился лишь к концу 70-х годов. Во время самой работы, как увидим далее, этот замысел непрерывно обогащался и развивался.

В связи с тем, что рукописи «Оскудения» не сохранились, трудно сказать, появились ли очерки в «Отечественных записках» в том виде, в каком их представил Терпигорев, или они были изменены. По сообщению С. Ф. Либровича, «очерки эти подверглись со стороны Салтыкова огромной корректуре: он изменял их, сокращал, дополнял, так что трудно было решить, что, соб-

---

[1] С. Ф. Либрович. На книжном посту, Пг. — М., 1916, стр. 105.

[2] С. Н. Терпигорев (С. Атава). Собрание сочинений, т. VI, СПб., 1899, стр. 638.

[3] «Новое время», 1882, № 2163, 7 марта.

ственно, принадлежит Терпигореву, а что Салтыкову. Я лично видел не раз эти корректуры у Терпигорева (который добродушно говорил: «Пусть правит, если ему нравится; у меня нет писательского самолюбия») и даже выпросил одну из таких корректур для моего маленького литературного архива».[1] Это сообщение соответствует легенде, согласно которой очерки первоначально приписывались Салтыкову-Щедрину (см. об этом во вступительной статье). Против этой легенды решительно восстал, вопреки утверждению мемуариста, сам писатель, посвятив данному вопросу несколько страниц в заметке «Умерший писатель» (1895). Само утверждение о вмешательстве Щедрина он называет «сплетней»: «Я... не знаю, кто первый пустил в ход эту сплетню, но месяца через три до меня уж стало доходить, что «Оскудение» хотя писано действительно мною, но по нем так ходила и прохаживалась рука Салтыкова, что действительно, пожалуй, что и не наполовину ли принадлежит ему».[2] Далее Терпигорев приводит свой разговор с сотрудником редакции «Отечественных записок» С. Н. Кривенко, которому жаловался: «Говорят, он (Салтыков-Щедрин. — *Н. С.*) правил меня будто бы до неузнаваемости... а кто же, вместо его, правил меня, когда его три летних месяца и не было здесь совсем, он по заграницам разъезжал?.. Да, наконец, вот письма ко мне Салтыкова, вот корректуры четырех очерков с этими пресловутыми салтыковскими правками!..»[3] К сожалению, упоминаемые здесь письма и корректуры не сохранились, однако нет оснований не доверять Терпигореву, еще при жизни Щедрина доказавшему свою творческую самостоятельность. Очевидно, что показание Либровича, неточное и во многих других деталях, является преувеличенным.

Однако есть основание думать, что редактор «Отечественных записок» все же помог автору «Оскудения». Вот что Салтыков-Щедрин писал П. В. Анненкову 18 октября 1880 года в связи с предстоящим изданием газеты «Порядок»: «Вы, конечно, знаете, что Стасюлевич издает с будущего года газету «Порядок». Заглавие неуклюжее, как и сам Стасюлевич, и газета, вероятно, будет тягучая. Но я все-таки желаю ему всякого успеха, хотя ввиду того, что это может остепенить Суворина. В этих соображениях

---

[1] С. Ф. Либрович. На книжном посту, Пг. — М., 1916, стр. 105.

[2] С. Н. Терпигорев (С. Атава). Собрание сочинений, т. VI, стр. 639.

[3] Там же, стр. 640

я подыскал Стасюлевичу даже фельетониста, Терпигорева, автора «Оскудения». Не знаю, вытанцуется ли у него что-нибудь занимательное, но во всяком случае на первое время буду сам просматривать и руководить».[1] Это письмо свидетельствует об определенной степени близости Салтыкова-Щедрина к Терпигореву; можно предположить, что и при печатании «Оскудения» ему, как редактору журнала, приходилось «просматривать и руководить». О характере редакторской работы Салтыкова-Щедрина можно судить по сохранившимся рукописям другого писателя. В том же 1880 году, когда печаталось «Оскудение», в «Отечественных записках» появились очерки Г. И. Успенского «Крестьянин и крестьянский труд». По рукописям этого произведения видно, как Щедрин умел авторитетно и вместе с тем чутко помогать даже таким видным сотрудникам журнала, как Глеб Успенский. Не затрагивая творческой манеры писателя, редактор тактично указывал ему на те идейные противоречия, которые могли повредить произведению. Известно, что Успенский без всяких возражений и с благодарностью принимал замечания Салтыкова-Щедрина.[2] Очевидно, что и при печатании «Оскудения» имело место подобное «вмешательство» редактора «Отечественных записок». Такое вмешательство могло быть лишь только плодотворным. Насколько с внесенными изменениями был согласен автор «Оскудения», видно из того, что во всех последующих изданиях очерков их содержание осталось в основном неизменным.

В той же заметке «Умерший писатель» сам Терпигорев об отношении Салтыкова-Щедрина к «Оскудению» говорит следующее: «В октябре 1879 года, в один из понедельников... я принес первый мой очерк из «Оскудения» и, так как Салтыкова в редакции в это время не было, передал его С. Н. Кривенко... Через неделю я пришел за ответом и уже беседовал с самим Салтыковым.

— Хорошо. Только вы дайте еще хоть один очерк. Я хочу видеть размах. Тема преобширная, — сказал Салтыков.

Второй очерк у меня был уже написан и с собой, и я его тут же ему передал, а он тут же его пробежал.

— Хорошо... Хорошо... Сколько у вас их всех будет?..

---

[1] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XIX, М., 1939, стр. 176.

[2] См. об этом в статье: Н. И. Мордовченко. М. Е. Салтыков-Щедрин — редактор Г. И. Успенского. — «Глеб Успенский. Материалы и исследования». I. Изд. АН СССР, М. — Л., 1938, стр. 395—427.

Я сказал, что не могу еще теперь сказать наверное.

— Ну, все равно. Пишите. И потом вот что: я зачеркнул слово *наше,* оставил просто «Оскудение». Зачеркнул также и второе заглавие: «Очерки помещичьего разорения». Здесь не об одном разорении идет речь.

— А не будет голо, если оставить одно только слово «Оскудение»? Если бы прибавить: «очерки, заметки и размышления тамбовского помещика»? — сказал я.

— Это ничего. Это хорошо, — согласился Салтыков. Так было утверждено и заглавие.

Провожая меня, когда я уходил, добрейший С. Н. Кривенко в передней сказал мне, что первый очерк Салтыкову очень понравился, что он это несколько раз ему повторил».[1]

В 1881 году очерки, напечатанные в «Отечественных записках», появляются отдельным изданием. Состав очерков, порядок их расположения, основной текст остались без изменения. Однако Терпигорев все же проделал значительную работу при подготовке книги к печатанию. Основные перемены следующие.

Было снято посвящение очерков писателю-очеркисту, близкому знакомому Терпигорева, С. В. Максимову, имевшееся в «Отечественных записках». Изменен подзаголовок произведения: вместо «очерки, заметки и размышления тамбовского помещика» появилось «очерки помещичьего разорения» — подзаголовок, по свидетельству самого писателя, не удовлетворивший Салтыкова-Щедрина. Первый очерк, печатавшийся в «Отечественных записках» без заглавия, получает название «Увертюра».

В самом тексте появляется несколько значительных вставок. Первой существенной вставкой является отрывок, посвященный описанию тревог помещиков, боявшихся крестьянского возмущения в связи с предстоявшей реформой (см. в данном издании стр. 13—15 от слов «Но шпаги, пистолеты и фальконеты, если и приносились...» до «А между тем все это произошло»). Можно предполагать, что редакция «Отечественных записок» не решилась дать этот текст из-за возможного вмешательства цензуры. Вторая вставка посвящена рассуждениям по поводу «рационального хозяйства» помещиков (стр. 36—39, от слов «Странно несколько мы понимали этот термин» до «Легкомысленные» погибли оттого, что...»). Возможно, что эти рассуждения, являвшиеся развитием уже высказанных мыслей, относятся к числу сокращений, сделан-

---

[1] С. Н. Терпигорев (С. Атава). Собрание сочинений, т. VI, стр. 636—637.

ных редактором «Отечественных записок». Третьей значительной вставкой является целый рассказ о помещике Чирухине, занимавшемся ловлей зайцев на «племя» (см. стр. 68—76). Этот рассказ первоначально появился как отдельное произведение в том же 1880 году в журнале «Русское богатство» (август, стр. 67—89) под заглавием: «Стриженые зайцы. (Из воспоминаний тамбовского помещика)» и за подписью «Сергей Атава». Очевидно, основатели нового журнала обратились к Терпигореву с просьбой о сотрудничестве, и тот, поглощенный работой над «Оскудением», дал один из готовых уже отрывков. Связь же его с основным циклом не подлежит сомнению. В журнальной публикации рассказа эта связь была подчеркнута в публицистическом вступлении, где конспективно излагаются мысли, развитые в «Оскудении», на которое автор прямо и ссылается.

Все другие изменения в тексте не вносят чего-либо существенного в содержание очерков, являются частными словесными заменами, имеют в основном стилистический характер. Приведем несколько примеров изменений: «тамбовского помещика» — «нашего помещика», «с метрессой» — «с бесстыдницей», «мало» — «немного», «после блинов» — «после разговенья», «белыми купидонами» — «белыми девами», «департаментов и министров» — «департаментов и эскадронов», «какой-нибудь» — «какой-то», «прогоревшая» — «прогорелая», «имение» — «поместье», «Ореховка» — «Орехово», «приобретать» — «приобрести» и др.

Публикация «Оскудения» в «Отечественных записках» не была снабжена каким-либо сообщением, что очерки будут продолжены. Однако успех произведения, видимо, скоро привел писателя к мысли о расширении замысла. Отдельное издание очерков в 1881 году имеет обозначение «Часть первая»; этим самым было заявлено, что произведение будет продолжено. Продолжение появилось в том же году на страницах газеты «Новое время» (до сих пор в имеющихся библиографиях эта публикация второй части «Оскудения» не отмечалась). Хотя новые очерки первоначально имели другое общее заглавие («Пять глупых дев»), но с прошлыми очерками «Оскудения» их объединял, во-первых, подзаголовок: «Очерки, заметки и размышления тамбовского помещика», а во-вторых, следующее примечание от автора: «В прошлом году я напечатал в «Отечественных записках» ряд очерков под общим заглавием «Оскудение». Я рассказал в них внешнюю, так сказать, историю «нашего» разорения, историю попытки выпутаться из беды при помощи «рационального» хозяйства, «отхожих промыслов» и проч. Теперь мне хочется предложить

читателям такие же точно *очерки — исследования* самых корней вопроса — «нашего» воспитания и домашнего быта. В прошлогодних очерках я рассказал только то, что мы наделали, когда очутились после 19 февраля «на своих ногах». Теперь я буду рассказывать, почему «мы» оказались такими... странными.

Если бы «мы», дойдя до теперешнего своего состояния, поняли наконец, в чем дело, то есть в чем «наша беда», и образумились, такое *исследование* было бы, пожалуй, анахронизмом. К сожалению, однако, дело стоит совершенно иначе. Оскудение, раз начавшись, с каждым годом «валит» все сильнее и сильнее.

«Мы», как известно, существуем не самостоятельно. «Мы», между прочим, прикреплены в известном смысле к земле. Сами же «мы» не пашем, не сеем, не жнем. Все это делают за нас мужики. «Мы» и после попытки обойтиться без них помощью «рационального хозяйства», то есть заведения английских и американских машин, тонкорунных овец и египетской пшеницы, остались так же точно крепко-накрепко связанными с ними. Их, этих мужиков, с которыми «мы» в таких отношениях, очень много. Таким образом, если бы для кого-нибудь сами по себе «мы» и не представляли особенного интереса, как раса вымирающая, то во всяком случае «мы» для всех интересны по отношению к мужикам, влияние на которых у нас до сих пор, конечно, громадное.

Исходя из этих соображений, я нахожу, что очерки, посвященные *исследованию* всего этого, могут быть в известной степени достойны внимания.

Очень понятно, что теперь почти все время мне придется иметь дело с «нашими» матерями, тетками, сестрами — словом, с женщинами, отсюда и такое заглавие».[1]

Таким образом, уже в газетной публикации разъяснена непосредственная и органическая связь новых очерков с циклом «Оскудение». В той же газетной публикации (в очерке «Кукушка») появляется важное сообщение писателя: «...буду писать второй том оскуденья — мужичье оскуденье». Как указывалось во вступительной статье, проблематика этого замысла была намечена в статье «Двадцать лет», появившейся несколько ранее на страницах газеты «Порядок» в том же году. Так очерки, публиковавшиеся в «Новом времени», присоединялись к первой части или первому тому «Оскудения».

В 1882 году издатель М. О. Вольф предпринял новое издание «Оскудения»: для первой части это издание было вторым, для

---

[1] «Новое время», 1881, № 1880, 24 мая.

второй — первым отдельным изданием. По поводу издания «Оскудения» Вольфом имеется весьма образный рассказ С. Ф. Либровича. Вот что он пишет в своих воспоминаниях:

«Когда Вольф хотел приступить к печатанию нового издания очерков Атавы без всяких изменений против первого, Терпигорев запротестовал:

— Нет, великий Маврикий, вы простите, но этого нельзя. Невесте, которая второй раз идет к венцу, шьют новое подвенечное платье и новую шелковую рубашку. А книжка, которую отдают издателю, это — та же невеста: позвольте же мне сшить моей книжке новую рубашку да новое платье и кстати немножко ее кое-где подрумянить, подкрасить, припомадить...

И он настоял на том, что и само заглавие книги, и распределение, и внешность были изменены, к прежним очеркам были добавлены новые и т. д. И вместо одного тома очерки вышли в двух томах...» [1]

Если в отношении общего оформления нового издания сказанное в основном верно, то утверждение о «подрумянивании», «подкрашивании» и проч. совершенно не соответствует действительности. Это лишний раз убеждает, насколько критически нужно подходить и к другим страницам данного мемуариста.

К чему сводятся изменения, внесенные Терпигоревым в новое издание «Оскудения»? Во-первых, в связи с наметившимся расширением замысла он дал всем очеркам, опубликованным и в «Отечественных записках» и в «Новом времени», один общий подзаголовок — «Благородные»; во-вторых, все опубликованные очерки он разделил на две части («Отцы» и «Матери»), составившие в издании два тома; в-третьих, снабдил произведение предисловием «От автора», из которого выяснилось, что писатель намерен создать еще два тома: один, посвященный дворне, второй — мужичьему оскудению. Об этом замысле упоминается в уже цитированном нами очерке «На родине». Здесь говорится, что в «Оскудении» «должны быть представлены рядом очерков» лишения и страдания как «благородных» отцов и матерей, так равно и «святой скотины» — составляющих все население губернии. Первые две части моего труда написаны... Две другие пока еще пишутся и готовятся к печати». Хотя замысел «двух других частей» остался неосуществленным, однако очерки из «Нового времени» получают в соответствии с замыслом другое общее

---

[1] С. Ф. Либрович. На книжном посту, Пг. — М., 1916, стр. 106.

заглавие («Матери»); изменено заглавие и первого очерка («Бабушка» вместо «Маменька»); было отброшено также примечание, имевшееся в газете, а также посвящение отдельных очерков ряду либеральных дворянских деятелей, знакомых Терпигорева: С. А. Кирееву, В. И. Аристову, П. Ю. Юрасову, А. Д. Сатину.

Таковы самые общие изменения, сделанные писателем при новом издании «Оскудения». Что касается самого текста, то изменения свелись — и в первой и во второй частях — в основном лишь к незначительным заменам отдельных слов, выражений, исправлению вкравшихся ранее ошибок и т. п. Никакого изменения в содержании, его смягчения, «подкрашивания» не было — наоборот, как это очевидно, установление связи помещичьего оскудения с положением народа, «мужика», углубляло произведение, делало его еще более емким в идейном отношении.

Собрание сочинений, осуществленное в 1899 году, по свидетельству редактора издания С. Н. Шубинского, готовилось еще самим писателем. «За три месяца до смерти, — пишет Шубинский в предисловии к изданию, — он тщательно собрал все статьи, которые, по его мнению, должны войти в отдельное издание его сочинений, многие из них пересмотрел и сделал кое-какие изменения, дополнения и сокращения».[1] Однако очевидно, что указанные изменения не касаются его больших произведений, а действительно, речь идет о «статьях», «оттисках», как говорится далее у Шубинского. Договор с издателем, как это видно из переписки Терпигорева с Шубинским,[2] был заключен лишь в мае 1895 года, а 13 июня того же года писателя не стало. Но что успел он, несомненно, сделать до кончины — это определить состав Собрания сочинений. Оно открывалось «Оскудением», хотя хронологически, как известно, это не первое произведение писателя. Писатель подчеркнул этим самым, какое большое значение он придавал «Оскудению». Текст «Оскудения» в Собрании сочинений, как отмечалось выше, почти не имеет изменений, имеющиеся разночтения носят настолько незначительный характер, что они скорее всего относятся к правке корректора или редактора.

Таковы основные факты, относящиеся к творческой истории «Оскудения». Эти факты имеют существенное значение как для

---

[1] С. Н. Терпигорев (С. Атава). Собрание сочинений, т. I, стр. III.

[2] Хранится в Рукописном отделе Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (письма Терпигорева) и в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (письма Шубинского).

уяснения смысла произведения, так и для пополнения сведений о характере творческой работы писателя.

Очерки «Оскудение», с интересом встреченные широким читателем (о чем свидетельствуют их переиздания вскоре после первой публикации), неоднократно были предметом внимания литературной критики. Из ознакомления с критическими отзывами об «Оскудении» (они еще далеко не все выявлены) видно, что эти отзывы распадаются по времени на три группы: первая группа отзывов относится к 1880—1883 годам, то есть к периоду публикации и последующих переизданий очерков; вторая группа связана с усилением внимания к творчеству Терпигорева, вызванным кончиной писателя (1895), и, наконец, третья значительная группа относится к 1899—1900 годам — ко времени выхода Собрания сочинений.

Публикация очерков в «Отечественных записках» вызвала ряд газетных откликов преимущественно хвалебного характера. Обозреватель «Русских ведомостей» о первых двух очерках писал: «Они очень заинтересовали публику, написаны даровито, манерой, напоминающей щедринскую».[1] Сравнение со Щедриным приводится обозревателем при оценке и дальнейших очерков: «То, что Щедрин в сатирической форме рассказал нам в своем «Убежище Монрепо», то в этих очерках, более делового характера, но написанных очень бойко, изображается в более объективном тоне».[2] Регулярно, во все время печатания «Оскудения» в «Отечественных записках», сообщала читателю об очерках газета «С.-Петербургские ведомости», причем оценка произведения в целом дается положительная. Так, в связи с очерком «Отхожие промыслы» критик в газете писал: «Автор с замечательной наблюдательностью рисует грустные и комические опыты наших землевладельцев при новых условиях хозяйства... Картины его печальны, но, к сожалению, верны».[3] Он же отмечал типичность картин и образов «Оскудения», хотя в некоторых случаях упрекал автора в сгущении красок и в карикатурности. Газета «Неделя» первоначально с похвалой отозвалась об очерках: «Простота и безыскусственность рассказа, смиренность тона и принадлежность автора к тому самому классу — классу помещиков, об оскудении которого он

---

[1] Б. «Журнальная жизнь». — «Русские ведомости», 1880, № 69, 16 марта.

[2] «Русские ведомости», 1880, № 106, 26 апреля.

[3] А. М—в. Литературное обозрение. — «С.-Петербургские ведомости», 1880, № 209, 31 июля; см. также №№ 181, 327, 341.

пишет, дают этому очерку право на внимание»;[1] позднее критик несколько снизил оценку «Оскудения»: «Начавшись очень живо, талантливо и типично, оно потом раздробилось на мелочи и теперь получило совершенно анекдотический характер».[2]

После выхода в 1882 году двухтомного издания «Оскудения» положительный отзыв был дан на страницах журнала «Русская мысль». Автор рецензии Е. Н. Некрасова отмечала типичность картин, представленных в «Оскудении»: «Перед нами, словно в панораме, проходят картины старой и новой деревни, где на место крепостника-помещика явился новый хозяин — Подугольников или Сладкопевцев». Касаясь особо второй части («Матери»), критик считает, что она «не имеет в историческом отношении такого же значения». Художественное мастерство писателя критиком ценится невысоко: «...автор силен только уменьем фотографировать отдельные сцены, — более глубокий анализ лиц ему плохо удается».[3]

Отрицательную оценку «Оскудению» дал журнал «Дело». Критика не удовлетворяет идейная позиция писателя: «К сожалению, г. Терпигорев «стоит вне партий»... на манер гг. Лейкина и Горбунова...» По мнению критика, писатель объективистски изображает действительность, «равно глядит на правых и виновных». Не высоко им ценится и талант автора «Оскудения»: «На анекдот его хватит, но на повесть, а тем более на роман — ни в коем случае».[4] Автором этого отзыва был, видимо, М. Протопопов (тогда сотрудник «Дела»), впоследствии — автор статьи о Терпигореве — «Сатирик-анекдотист». В своей позднейшей статье критик более объективно оценил творчество автора «Оскудения». Хотя и здесь М. Протопопов помещает писателя где-то поблизости от Лейкина и ему по-прежнему совершенно не импонирует творческая манера Терпигорева, однако он все-таки вынужден признать, что «наблюдения Терпигорева... относились к самым недрам или основам русской жизни».[5]

В 1895 году в статьях и откликах на смерть писателя дается сочувственная и высокая оценка «Оскудению», хотя часто с совершенно противоположным его истолкованием. Так, К. Медведский на страницах «Нового времени» писал об авторе «Оскудения»

---

[1] «Неделя», 1880, № 15, 13 апреля, стлб. 483.
[2] «Неделя», 1880, № 48, 30 ноября, стлб. 1585.
[3] «Русская мысль», 1882, т. X, отд. II, стр. 127, 128, 129.
[4] «Дело», 1883, 1, отд. II, стр. 39, 41, 40.
[5] «Русская мысль», 1899, XI, 200.

как о «печальнике русского дворянства»: «...врагом дворянства он никогда не был... Он пытался помочь дворянству исправиться...»[1] С резкой критикой подобных утверждений выступил И. Ясинский:

«Странно было бы утверждать, что Гоголь — печальник русских Держиморд, что Глеб Успенский — печальник русских кулаков, а Салтыков — русского чиновничества и тайный друг Удавов и Дыб. ...Терпигорев, рисуя мрачные картины крепостного быта и неспособности дворянства того времени к какому-нибудь труду, на самом деле являлся не сторонником рабовладельцев, а их обличителем и гонителем...»[2]

В этой же заметке критик дает чрезвычайно высокую оценку таланту Терпигорева: «Герои Терпигорева могли бы смело фигурировать в «Мертвых душах». Чувствуется какая-то духовная связь между бессмертной поэмой Гоголя и «Оскудением».[3]

Большое количество отзывов на «Оскудение» последовало в связи с выходом первых двух томов Собрания сочинений. Обширную статью вышедшим томам посвятил А. М. Скабичевский. Заслуживает внимания высказывание критика о воздействии Щедрина на автора «Оскудения»: Салтыков-Щедрин «дал могучий толчок творчеству Терпигорева... возбудил его к деятельности».[4] Вместе с тем критик устанавливает существенное отличие творческих манер Терпигорева и великого сатирика. Критик отмечает правдивость художника, его умение ярко изобразить виденное.

Критик «С.-Петербургских ведомостей» при видимой объективности отношения к писателю стремится приуменьшить его заслуги как художника, взять под подозрение правдивость его очерков, но все же вынужден признать большую силу воздействия картин «Оскудения»: «...излагаемое — жестоко и беспощадно...»[5] Антидворянская направленность очерков «Оскудения» не нравится критику из «Московских ведомостей», Терпигорев для него особенно неприемлем за близость к Щедрину. «Обличение обличению рознь, — заявляет критик верноподданнической газеты. — Есть обличение во имя идеала, с любовным указанием лучших путей. Но бывает обличение злое, немилостивое, беспощадное... Верный

---

[1] К. Медведский. Печальник русского дворянства. — «Новое время», 1895, № 6935, 21 июня.

[2] И. Ясинский. Несколько слов о С. Н. Терпигореве. — «Исторический вестник», 1895, VIII, стр. 444—445.

[3] Там же, стр. 444.

[4] «Сын отечества», 1899, № 237.

[5] «С.-Петербургские ведомости», 1899, № 182.

Щедрину, Терпигорев является перед нами именно таким обличителем».[1]

Положительный отзыв «Оскудение» получило на страницах «Русского богатства». О познавательной ценности произведения здесь, в частности, говорится: «По этим очеркам читатель может последовательно проследить все формы регрессивной эволюции поместного дворянства, начиная с первых слухов о манифесте... кончая разореньем...»[2]

Таково содержание наиболее существенных отзывов об «Оскудении». Эти отзывы говорят о различном и противоречивом отношении критики, но в целом они свидетельствуют об активном интересе и внимании литературной общественности к творчеству Терпигорева.

До сих пор советский читатель был мало знаком с произведениями Терпигорева. Очерки «Оскудение» в полном и вновь выверенном виде после 1899 года ныне появляются впервые.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Стр. 5. Эпиграф *(Плакала Саша, как лес вырубали)* — цитата из поэмы Некрасова «Саша».

Стр. 6. *...граф Орлов-Давыдов пожертвовал десять тысяч рублей на конкурс...* — В 1879 году в газетах было опубликовано объявление «О премии графа В. П. Орлова-Давыдова за лучшее сочинение «О фермерской системе пользования землею и о возможности ее применения к сельскому хозяйству в России» («Новое время», 1879, № 1155, 18 мая).

Братья Бланк, Григорий Борисович (1811—1889) и Петр Борисович (1821—1866) — реакционные публицисты, проповедники крепостнических взглядов, сотрудничали в «Вести», «Московских ведомостях» и других реакционных органах.

Скарятин, Владимир Дмитриевич — реакционный публицист, издатель-редактор газеты «Весть» (1863—1870).

...известной грамоты Екатерины II. — Имеется в виду жалованная грамота дворянству (1785), закрепившая и расширившая экономические и политические права дворян-помещиков.

«Московские ведомости» — газета, издававшаяся с 1756 г.;

---

[1] А. Басаргин. Писатель-протоколист. — «Московские ведомости», 1899, № 250.

[2] «Русское богатство», 1900, II, стр. 45—46.

с 1850 г. редактором стал М. Н. Катков, превративший ее в орган воинствующей реакции.

Стр. 8. *Общество взаимного поземельного кредита* — возникло в 1866 г. и просуществовало до 1891 г.

Наполеон. — Имеется в виду Наполеон III (1808—1873).

Пальмерстон, Генри Джон Темпль (1784—1865) — английский государственный деятель, министр иностранных дел, а затем премьер-министр.

Стр. 9. *...проедание у Дюссо и Бореля...* — Имеются в виду известные петербургские рестораторы.

Цезарь, Юлий Гай (100—44 до н. э.) — знаменитый римский полководец, политический деятель и писатель.

Военная реформа — произведена в 1862—1874 гг. под руководством военного министра Д. А. Милютина; в результате реформы рекрутская система была заменена всеобщей личной воинской повинностью.

Стр. 10. *Опекунский совет* — орган дворянской опеки, осуществлявшейся под председательством уездного предводителя дворянства.

Ополченцы-помещики. — Речь идет об ополчении, сформированном во время Крымской войны, в 1855 г.

Стр. 11. *Генерал Рамзай,* Эдуард Андреевич (1799—1877) — в войне 1853—1855 гг. командовал русскими войсками, расположенными на побережье Финляндии.

Стр. 12. *Пелисье,* Жан-Жак (1794—1864) — французский маршал, в Крымскую войну командовал французскими силами под Севастополем.

Стр. 13. *Фальконет* — старинное артиллерийское орудие небольшого калибра; здесь — ружье устаревшей конструкции.

Стр. 15. *Манифест об улучшении быта помещичьих крестьян,* а также и *«Положение»* о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, были подписаны Александром II 19 февраля 1861 г., но опубликованы лишь 5 марта, так как царское правительство опасалось крестьянских возмущений.

Губернские комитеты — дворянские организации, созданные в 1858 г. для подготовки проектов крестьянской реформы.

Стр. 20. *...в зобу дыхание спиралось...* — измененная цитата из басни Крылова «Ворона и Лисица» (в басне: «От радости в зобу дыханье сперло»).

Стр. 26. *Тедески* — модный петербургский портной.

Стр. 36. Эпиграф *(Беда, коль пироги начнет печь сапожник...)* — цитата из басни Крылова «Щука и Кот».

Стр. 40. *Братья Бутеноп* Николай и Иоганн — выходцы из Голштинии, владельцы завода сельскохозяйственных машин в Москве; занимались также перепродажей заграничных сельскохозяйственных машин и орудий; фирма их существовала до 1874 г.

Стр. 43. *Дюмон-Дюрвиль* (1790—1873) — французский мореплаватель и натуралист.

Стр. 56. *Иродиада* — по библейскому преданию, отличалась безнравственным поведением и жестокостью; с ее именем связывается смерть Иоанна Крестителя.

«Journal Amusant» — французский иллюстрированный журнал, выходил в Париже под разными названиями с 1848 г.

Стр. 63. *...как один мужик прокормил двух генералов...* — Имеется в виду известная сказка Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (1869).

Стр. 78. *Ремонтеры* — в царской армии офицеры, занимавшиеся закупкой лошадей.

Стр. 92. *Уставные грамоты* — акты, определявшие поземельные отношения временнообязанных крестьян с помещиком после отмены крепостного права; на составление уставных грамот было отведено два года.

Вольно-Экономическое общество — первое в России экономическое общество; основано в 1765 г. с целью «распространения в государстве полезных для земледелия и промышленности сведений».

Стр. 99. Эпиграф — начальные строки стихотворения Пушкина «Цветы последние милей...» (1825).

Стр. 100. *Земство* — земские учреждения, установленные в результате земской реформы 1864 г.; решающее влияние в земских учреждениях имели дворяне.

Стр. 105. *«Хуторок»* — песня на слова стихотворения Кольцова под тем же названием.

Стр. 112. *Потомок Палеологов.* — Палеологи — последняя династия византийских императоров (1261—1453); из русских царей породнился с Палеологами Иван III, женившийся на Софье Палеолог (ум. 1503).

Стр. 143. *Леопольд Бернар* — парижский оружейный мастер.

Стр. 150. Эпиграф *(Скинь мантилью, ангел милый...)* — цитата из стихотворения Пушкина «Ночной зефир струит эфир...» (1824).

Стр. 161. *...мысль о «дворянских банках»...* — Местные дворянские банки для выдачи ссуд под залог недвижимого имущества впервые появились в Тифлисе (1874) и в Кутаисе (1876).

«Весть» — реакционная газета, издававшаяся в Петербурге в 1863—1870 гг.

Стр. 184. Эпиграф *(Не бездарна та природа...)* — цитата из стихотворения Некрасова «Школьник» (1856).

Стр. 185. *...два старца... смотрят на прелести Сусанны* — очевидно, имеется в виду картина великого голландского художника Петера Пауля Рубенса (1577—1640) «Сусанна и старцы».

Стр. 194. *Мессалина,* Валерия (I в.) — жена римского императора Клавдия, известная своей жестокостью и развращенностью; имя ее стало нарицательным.

Стр. 208. *...прочитал в «Инвалиде»...* — Имеется в виду газета «Русский инвалид», издававшаяся в Петербурге с 1813 до 1917 г.

Стр. 219. *Кокорев, Губонин, Поляков, Варшавский* — крупные дельцы-капиталисты в пореформенной России; обладатели огромных состояний, нажитых ловкими торгово-промышленными и финансовыми операциями.

Стр. 222. *Катух* — хлев для мелкого скота.

Стр. 224. *Юрьев день* — в XIV—XV вв. двухнедельный срок (до и после 26 ноября ст. ст.), во время которого крестьяне могли уходить от феодала-помещика; отменен в конце XVI в.

Стр. 227. *...депутатов в крестьянский комитет.*— Имеются в виду губернские комитеты по подготовке проектов крестьянской реформы.

Стр. 240. *Гамбетта,* Леон-Мишель (1838—1882) — французский политический деятель, один из лидеров республиканцев; был министром внутренних дел, затем премьер-министром.

Стр. 253. *...поехал к Дон-Карлосу...* — Очевидно, речь идет о Дон-Карлосе (1848—1909) — претенденте на испанский престол; в 1869, 1870, 1872 гг. произошли три неудачных восстания с целью привести его к власти.

Стр. 269. *Откупщик* — лицо, получившее на откуп сбор каких-либо налогов, платежей.

Стр. 275. *Мировой посредник* — правительственная должность, учрежденная по Положению 19 февраля 1861 г. для содействия размежеванию земли между крестьянами и помещиками; на эту должность назначались местные помещики.

Стр. 281. *...я посылал корреспонденции в одну большую петербургскую газету...* — очевидно, в газету «Голос» (см. вступительную статью).

Стр. 285. *Мировой судья* — должность, учрежденная судебной реформой 1864 г.; им рассматривались мелкие гражданские и уголовные дела.

Стр. 295. *Калхас* — в греческом эпосе прорицатель и жрец, сопровождавший греков в их походе на Трою.

Известное обращение... гр. Толстого... — Очевидно, имеется в виду циркуляр от 24 мая 1875 г. министра народного просвещения Д. А. Толстого (1823—1889) попечителям учебных округов; в циркуляре требовалось усилить полицейскую слежку за учениками, причем особая роль по наблюдению за школой отводилась дворянству.

Стр. 305. *...из нового дворянства...* — т. е. не из родового дворянства, а из дворян, приобретших свое звание чиновничьей, военной и т. д. службой или другими заслугами.

Стр. 326. «Du hast Diamanten und Perlen» («У тебя бриллианты и жемчуга») — начальная строка стихотворения Г. Гейне.

Стр. 333. *«Жизнь Магомета»* — книга известного американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783—1859) «История Магомета и его последователей»; вышла в свет в 1849—1850 гг., русский перевод появился в 1857 г.

Стр. 334. *...воспоминания... Голицына...* — Имеются в виду записки Ю. Н. Голицына «Прошедшее и настоящее», опубликованные в «Отечественных записках» 1869, №№ 10 и 11 (у Терпигорева ошибочно указывается 1870 г.).

Стр. 340. *Скуратовы, Воротынские, Курбские* и дальше *Шуйские* — именитые русские князья.

Стр. 341. *История Карамзина.* — Имеется в виду «История государства Российского» Н. М. Карамзина (1766—1826), вышедшая в свет в 1816—1829 гг.

Стр. 361. *Людовик XV* (1710—1774) — французский король (1715—1774).

Стр. 369. *Совестный суд* — учрежден Екатериной II; по положению, судил не только по законам, но и принимал во внимание различного рода смягчающие вину обстоятельства.

Стр. 385. *...новые юридические организмы...* — т. е. юридические учреждения и судебные органы, введенные судебной реформой 1864 г.

Стр. 422. *Костанжогло* — образ помещика-предпринимателя из II тома «Мертвых душ» Гоголя.

ПРИМЕЧАНИЯ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

Стр. 5. *...«под Данцигом».* — Очевидно, имеется в виду военная кампания русской армии по подавлению польского восстания в 1831 году.

Стр. 6. *...нашелся бы Иосиф...* — По библейскому преданию,

Иосиф, предвидя бедствия предстоящего голода в Египте, своими мудрыми советами и мероприятиями спас страну.

Стр. 43. *Мочежина,* мочажина — болотистая, мокрая местность, не топкая.

Стр. 54. *Кир* — древнеперсидский царь (558—529 до н. э.), крупный полководец.

Стр. 73. *Расин,* Жан (1639—1699) — выдающийся французский поэт и драматург, представитель классицизма.

Корнель, Пьер (1606—1684) — выдающийся французский драматург, основатель драматургии классицизма.

Стр. 74. *Ермолов,* Алексей Петрович (1772—1861) — русский генерал, прославился как участник войн с Наполеоном.

Граф Чернышев. — Очевидно, имеется в виду князь Чернышев Александр Иванович (1785—1857) — реакционный политический деятель при Николае I.

Князь Меншиков, Александр Сергеевич (1787—1869) — русский государственный и военный деятель, в 1853—1855 гг. командовал русскими войсками в Крыму.

Стр. 97. *Горячим словом убежденья...* — цитата из стихотворения Некрасова «Когда из мрака заблужденья...» (1845).

Стр. 102. *«Полярная звезда»* — периодические сборники, издававшиеся А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в 1855—1862 и в 1869 гг. в Лондоне и Женеве.

«Колокол» — газета, издававшаяся Герценом и Огаревым за границей, в 1857—1867 гг. в Лондоне (до 1865 года) и Женеве.

Стр. 107. *...лицей...* — Имеется в виду Царскосельский лицей, открытый в 1811 г. в Царском Селе; в 1844 г. переименован в Александровский и переведен в Петербург.

Стр. 124. *«Петух»* — Петр Петрович Петух, помещик, изображенный во II томе «Мертвых душ» Гоголя.

Стр. 126. *Соловьев,* Сергей Михайлович (1820—1879) — известный русский историк, профессор Московского университета.

Стр. 127. *Костомаров,* Николай Иванович (1817—1885) — русский историк, писатель; в 1859—1862 гг. профессор Петербургского университета; Терпигорев был лично знаком с Костомаровым и посвятил ему ряд страниц в своих «Воспоминаниях».

Стр. 128. *И университет этот их закрыли...* — Имеется в виду так называемый «Вольный университет», возникший в 1862 г. по почину передовой общественности в Петербурге; вскоре был закрыт правительством; лекции в этом университете были публичными, в чтении их принимал участие Костомаров.

Стр. 201. *Опера «Вражья сила»* — опера композитора А. Н. Серова (1820—1871) по либретто А. Н. Островского, впервые поставлена в 1871 г.

Стр. 239. *...только что вышли «Отцы и дети»...* — Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» был впервые напечатан в «Русском вестнике», 1862, № 2.

Август (63 до н. э. — 14 н. э.) — римский император.

Стр. 241. *«Не нагнать тебе бешеной тройки...»* — цитата из стихотворения Некрасова «Тройка» (1846); далее цитируется неточно.

Стр. 247. *...когда печатал «Оскудение»...* — Имеется в виду первая часть, печатавшаяся в «Отечественных записках».

Стр. 248. *...ведомство, заведующее Бисмарками, Гамбеттами и проч.* — т. е. министерство иностранных дел.

Стр. 263. *«Звенит, гремит и улетает...»* — из стихотворения Некрасова «Еще тройка» (1867).

Стр. 278. *Крестовский,* Всеволод Владимирович (1840—1895) — поэт и беллетрист, автор известного романа «Петербургские трущобы».

Боборыкин, Петр Дмитриевич (1836—1921) — писатель, журналист буржуазно-либерального направления.

Страхов, Николай Николаевич (1828—1896) — философ-идеалист, критик и публицист, сотрудник «Русского вестника», «Времени», «Эпохи» и др.

Стр. 280. *Сперанский,* Михаил Михайлович (1772—1839) — известный русский государственный и политический деятель.

Стр. 284. *...«Художественный листок» Тимма.* — Имеется в виду «Русский художественный листок», издававшийся В. Ф. Тиммом в Петербурге в 1852—1862 гг.

Стр. 288. *«Дайте мне сиянье дня»* — строка из стихотворения Лермонтова «Узник» (1837).

Стр. 294. *Стасюлевич,* Михаил Матвеевич (1826—1911) — буржуазно-либеральный публицист, историк, профессор Петербургского университета; издатель-редактор журнала «Вестник Европы».

ОГЛАВЛЕНИЕ

«БЛАГОРОДНЫЕ»

С. Н. ТЕРПИГОРЕВ
(С. АТАВА)

Оскудение

В двух томах, т. II

Редактор Р. Софронова

Художественный редактор Л. Чалова

Технический редактор Л. Крючкина

Корректор О. Семенова-Тян-Шанская

Подписано к печати 26/VIII 1958 г
Бумага 84 × 108 1/32 10,37 печ. л.=
17,02 усл.печ. л. Уч.-изд. л. 17,38.
Тираж 75 000 экз. Заказ № 1706.
Цена 5 р. 85 к.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 „Печатный Двор" им. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.

Отпечатано с готовых матриц в типографии им. Володарского Лениздата. Заказ № 1380.

5 р. 85 к.